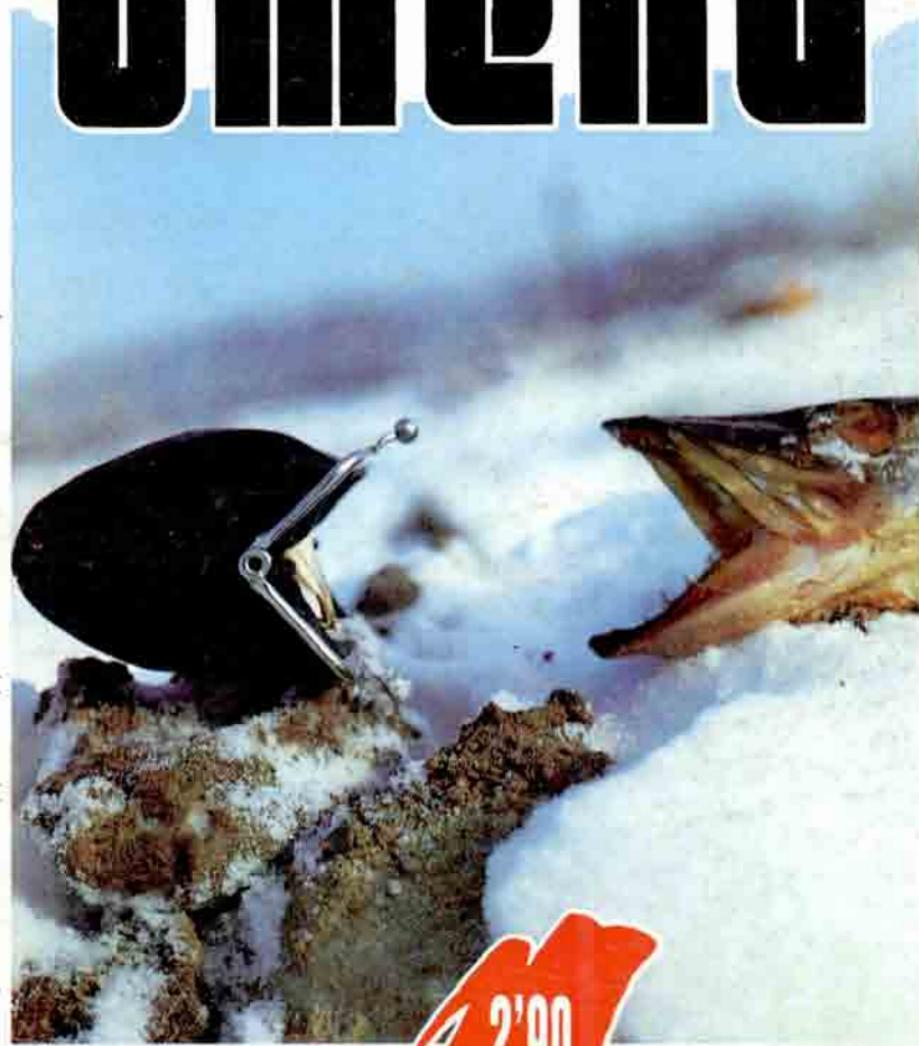


ISSN 0131-6656

# СЛОНО

ДЕНД ОЧАЛИ — МЕЛДЭ НАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ



ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ.

4'90

ЖЕНЩИНА ДО ВЕСНЫ

МАРК АЛДАНОВ. УВИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II ДЭВИД ЗЕЛЬЦЕР. ЗНАМЕНИЕ

ФОТО ВЛАДИМИРА САФРОНОВА



ТАКАЯ  
РАЗНАЯ  
**ЛЮБАЧ**  
(ЧИТАЙТЕ СТР. 266)

# 2'90 Смена

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года.

Главный редактор  
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

**Редколлегия:**

БОРИС ДАНЮШЕВСКИЙ  
(зам. главного редактора)  
АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ  
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ  
ИОСИФ ОРДЖОНИКИДЗЕ  
СЕРГЕЙ ПОПОВ  
(зам. главного редактора)  
ЮРИЙ РАГОЗИН  
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
ЕВГЕНИЙ РЯБЧИКОВ  
ВАДИМ САЮШЕВ  
ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ  
ВЛАДИСЛАВ СЕРИКОВ  
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ  
(главный художник)  
ТАМАРА ЧИЧИНА

**Оформление**

АЛЕКСАНДРА КЛИЩЕНКО  
АРШАКА ОГАНЕСЯНА

**Технический редактор**

АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 02.02.90.

Подписано к печати 19.02.90.

А 00238. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$ .

Бумага газетная «Тампресс».

Печать офсетная.

Усл. п. л. 13,86. Усл. кр.-отт. 15,96.

Уч.-изд. л. 23,10.

Отпечатано 1 699 989 экз.

(из общего тиража 3 300 000 экз.)

Заказ № 1878.

Цена 70 коп.

101457, ГСП, Москва,

Бумажный проезд, 14.

212-15-07 — для справок

212-11-27 — отдел писем

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»: 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Рукописи, фото и рисунки не возвращаются. Рукописи объемом более 1 авторского листа (24 машинописные страницы) редакцией не рассматриваются.

2 (1504) ФЕВРАЛЬ

© Издательство ЦК КПСС «Правда». «Смена», 1990

# ВНОМЕРЕ

2

**ПРОЗА**

142

**ДЭВИД ЗЕЛЬЦЕР.** ЗНАМЕНИЕ

Роман

54

**ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ.** ЖЕНЩИНА ДО ВЕСНЫ

Рассказ

104

**МАРК АЛДАНОВ.** УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II

26

**СЕРГЕЙ ТЮТЮННИК.** СУВЕНИР. ЗАРАЗА. ГРЕЧКА

Рассказы

**ПОЭЗИЯ**

50

**АЛЕКСАНДР КАЛУЖСКИЙ, СЕРГЕЙ МИЛЯЕВ**

97

**ИГОРЬ ЛЯПИН, НИНА ЛОКШИНА****МОРАЛЬ И ПРАВО**

123

**ЕВГЕНИЙ СТЕЦКО.** ПОЗДНИЕ ПОМИНКИ

8

**ВИКТОР МАЛАХОВ.** ГОЛЫМИ РУКАМИ**ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО**

4

**СЕРГЕЙ КАЛЕННИКИН.** ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!

114

**ПОИМЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Говорят народные депутаты СССР.

20

**НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ.** БЕЗ ПОДСКАЗКИ

34

**СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ.** КАБИНЕТНАЯ ПРОРЕХА

44

**ИСХАК МАШБАШ.** ДРУГ БЕЗ ДРУГА

89

**НИКОЛАЙ КОРЕМЮК.** ПЛЕННЫЕ НАМ НЕ НУЖНЫ

На первой  
странице  
обложки:  
Самоедская  
экономика.  
Фотоэтюд  
ВИКТОРА  
БРЕЛЯ



## СПОРТ

266

АНДРЕЙ БАТАШЕВ. ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛОБАЧ

271

МАРК РАФАЛОВ. НАМЕСНИКИ И СУДЬИ

## КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, ИСКУССТВО

256

ЕЛЕНА ФИНЬКО. «ЖЕНСОВЕТ»

257

КИРИЛЛ ИОРДАНСКИЙ. «БУТИКИ» ОТ «НИНЫ»

260

«На втором дыхании». Беседа с Юрием Антоновым

288

АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ. МУДРОСТЬ НАИВНОСТИ

24, 100, 252

ВАШИ ПИСЬМА

280–287

Шахматы, юмор, кроссворд

3•90

- Дональд Уэстлейк — один из лучших представителей сатирического детективного жанра.
- Родился он в 1933 году в Бруклине (США). Служил в BBC, работал в литературном агентстве и... играл в театре.
- В 1960 году Уэстлейк опубликовал свой первый роман под весьма интригующим названием «Шпион в масле». За ним последовал целый сериал, главный герой которого — Дортмундер — попадает в трагикомические ситуации, вызывая у читателя сочувствие и симпатию.
- В США Уэстлейк печатался под псевдонимами Курт Кларк, Такер Коу, Тимоти Кальвер и Ричард Старк. В нашей стране его знают еще очень мало, в основном по фантастическим рассказам, эпизодически появлявшимся в периодической печати.
- В прошлом году советский читатель познакомился с романом «Полицейские и воры», теперь же мы предлагаем вашему вниманию один из ранних романов Дональда Уэстлейка «Проклятый изумруд».

АНОНС



# ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ !

22 апреля 1990 года стартует Международная  
экологическая акция  
**«ДЕНЬ ЗЕМЛИ»**

5

Экология...

Это слово сегодня звучит везде, оно — на устах ненца и якута, эстонца и молдаванина, русского и узбека, француза и американца, венгра и поляка... И хоть не все знаем, далеко не во всех тонкостях экокризиса разобрались, видим, чувствуем и ощущаем — пришла беда и угрозы ее все множатся...

Пришла беда, но она, увы, нас не сплачивает, не отрезвляет, а земля по-прежнему стонет от пестицидов, гибнут малые и хиреют большие реки, трещат леса, в городах все труднее дышать, продукты питания и те небезопасны для нашего здоровья, матерям запрещается грудью кормить младенцев, люди бросают жилища, умножая горькую армию экологических беженцев, исчезают этнические группы народов, а вместо них возникают резервации ведомств — санитарно-защитные зоны... Неужто этого недостаточно, чтобы остановиться, оглядеться и призадуматься всерьез:

«Что же с нами случилось?

К чему идем?

Какие ценности и интересы берут верх?»

Неужто этого недостаточно, чтобы понять суровую правду, что мы — на краю пропасти, и наступит ли для нас и наших детей завтра — это уже отнюдь не праздный вопрос!

Пришла беда. Но, право, еще есть время, есть шанс не допустить катастрофы, остановить деградацию человека и среды его обитания. Этот шанс и дает нам Международная экологическая акция, которая стартует 22 апреля 1990 года.

Она дает нам шанс преодолеть комплекс социального отчаяния и обреченности,  
шанс объединить разрозненные силы общественности и всем миром начать борьбу за выживание.

А начать надо с себя!

Вспомните житейскую мудрость Маленьского принца: «...привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». Тут нет перехлеста: «Мысли глобально, а действуй локально!»

Так давайте же разобъем на пустырях скверы и парки, аллеи, благоустроим свой двор, приведем в порядок дороги, очистим от хлама реки и водоемы, восстановим памятники культуры...

Давайте организуем экологические ярмарки товаров, новаций, идей...

Давайте проведем митинги, конференции, встречи, концерты, праздничные шествия, экскурсии, выставки — все, что способно вызвать чувство общности и единства устремлений, что будет способствовать объединению и просвещению.

Словом, успех Дня Земли во многом зависит от таланта активистов, их изобретательности, энергии и преданности идеи, их усердия организовать этот День так, чтобы он оставил неизгладимый след и желание начатое дело продолжить и после 22 апреля: ведь акция рассчитана на все девяностые годы. И такие активисты, бесспорно, отыщутся на местах, они сумеют занять и зажечь людей —

зажечь страстным словом,  
занять конкретным делом!

Пожалуй, именно на это и рассчитана Международная акция — на пробуждение мысли и побуждение к конкретным делам. Будем помнить, что сколько бы мы ни кляли мрачную действительность, сколько бы ни охали и ни ахали у берегов умирающего озера, а жизнь одними митингами и разговорами не исправить и не улучшить. Пришло время сообща делать дело — в стране и на планете наводить порядок. С этим и обращаемся мы к металлургам и дорожным строителям, мелиораторам и медикам, аграрникам и нефтяникам, ученым и студентам, профсоюзным и советским работникам, к представителям духовенства и творческой интеллигенции.

Давайте наконец от разговоров переходить к конкретной работе! При желании каждый может найти время и форму своего участия в Дне Земли: например, если каждый из нас посадит хотя бы одно дерево, присмотрит за ним, пока оно сможет расти самостоятельно, то уже это будет причастностью к делу, конкретным вкладом, откликом на общую беду.

Давайте поможем школьникам, учащимся техникумов, интернатов посадить деревья в каждом школьном дворе, в каждом учебном заведении. Но для этих и прочих мероприятий, акций Дня Земли требуются не только конкретная помощь, но и деньги.

Те организации, трудовые коллективы, которые изъявят или уже изъявили желание выступить в качестве спонсоров экологической акции, свои благотворительные намерения могут реализовать, воспользовавшись счетами Фонда социальных

изобретений — члена престижного международного Совета спонсоров Дня Земли — № 708 в ОПЕРУ при ЖСБ СССР или валютным № 70800003 во Внешэкономбанке СССР. Но нам необходим свой национальный Фонд, свой национальный Совет спонсоров. С его участием и будут рассматриваться, а затем финансироваться программы, мероприятия, акции Дня Земли.

Внутренняя структура Дня Земли представляет собой свободный союз автономных групп, каждая из которых будет действовать по своему усмотрению — независимо, но, конечно же, в интересах общих целей и задач. Цепь самых разнообразных акций, мероприятий и программ в конечном счете выльется в согласованное движение, если в городах, областях, республиках будут действовать координационные штабы или комитеты, которые помогут инициативным группам на местах, наладят связь с центральным координационным советом. К сведению сообщаем: штаб-квартира Общественного совета по проведению Дня Земли в СССР находится в редакции журнала «Смена». Наш адрес: 101457, Москва, Бумажный проезд, 14, телефон для деловых контактов: 212-10-53. Мы готовы рассмотреть любые предложения, идеи, каждую заявку на участие, готовы помочь найти партнера, имеем возможность — она предоставлена Фондом социальных изобретений СССР — при помощи электронной почты отправить информацию в любую точку планеты, связаться с любым абонентом, получить от него необходимые сведения.

Что и говорить, время для проведения Дня Земли назрело, его утверждает сама жизнь — проблемы, вставшие перед нами, необычайно остры и для своего разрешения требуют от нас более активных действий.

Да, мы столкнулись с экологическим кризисом. Но, несмотря на его глобальность, он не выходит, к счастью, за пределы нашего понимания и контроля. И наш долг не упустить этот момент, не потерять шанс изменить ситуацию к лучшему.

Время не ждёт!

**СЕРГЕЙ КАЛЕННИКИН,**  
координатор Общественного совета  
по проведению Дня Земли в СССР

# ГОЛЫМИ РУКАМИ

БОРЮТСЯ С ПРЕСТУПНЫМ МИРОМ СОТРУДНИКИ УВД  
НЕ ТОЛЬКО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВИКТОР  
МАЛАХОВ

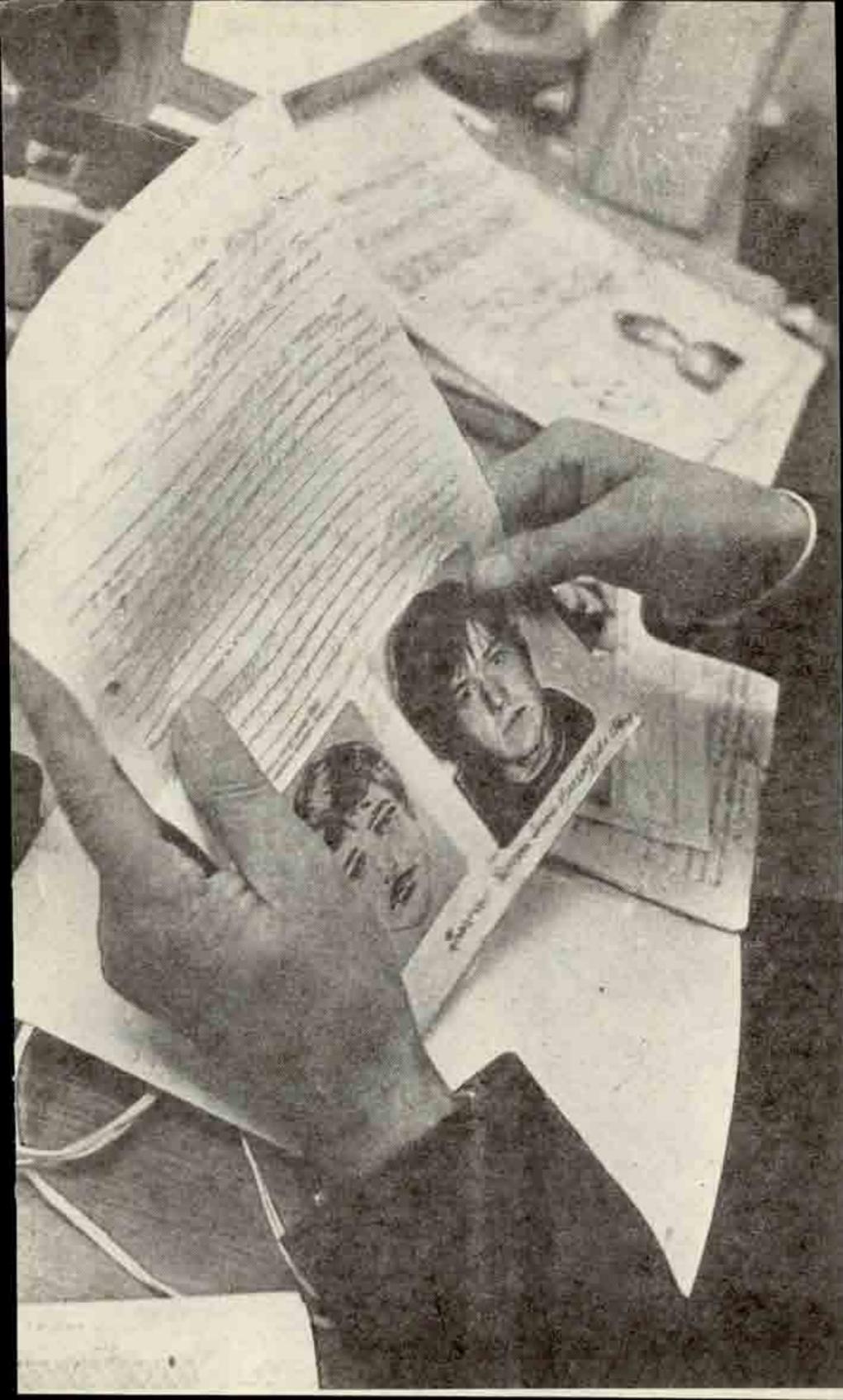
Фото

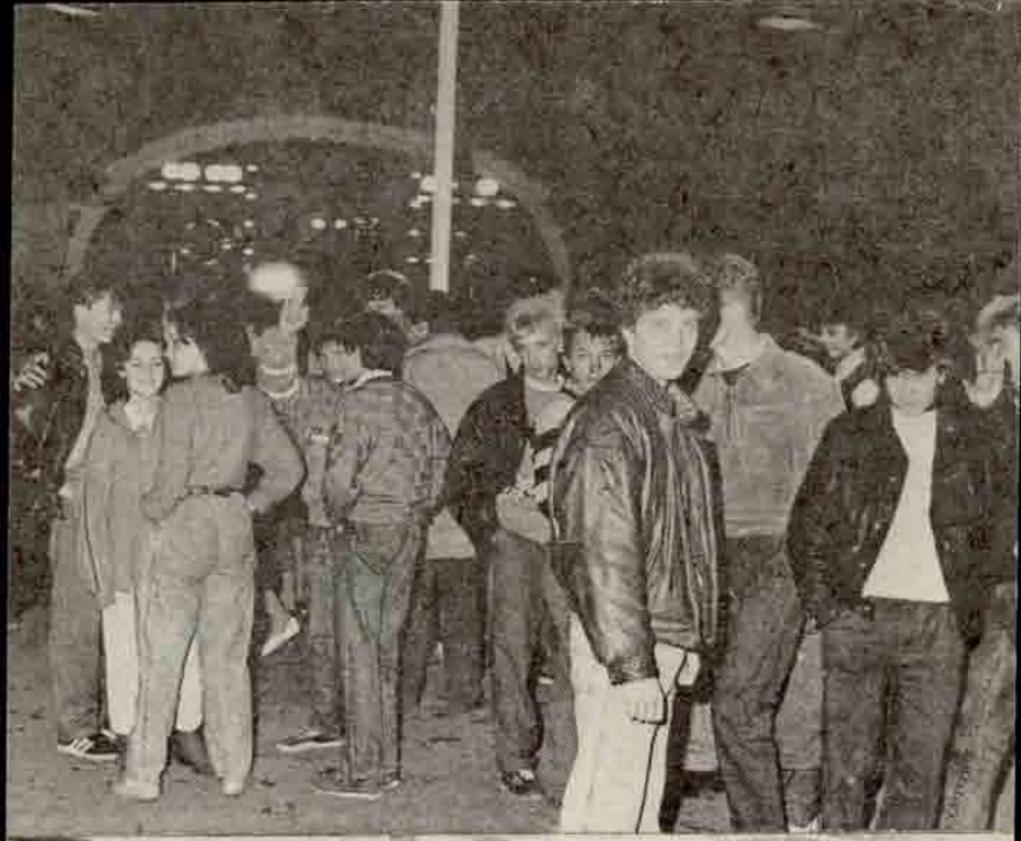
ВЛАДИМИРА  
ЧЕЙШВИЛИ

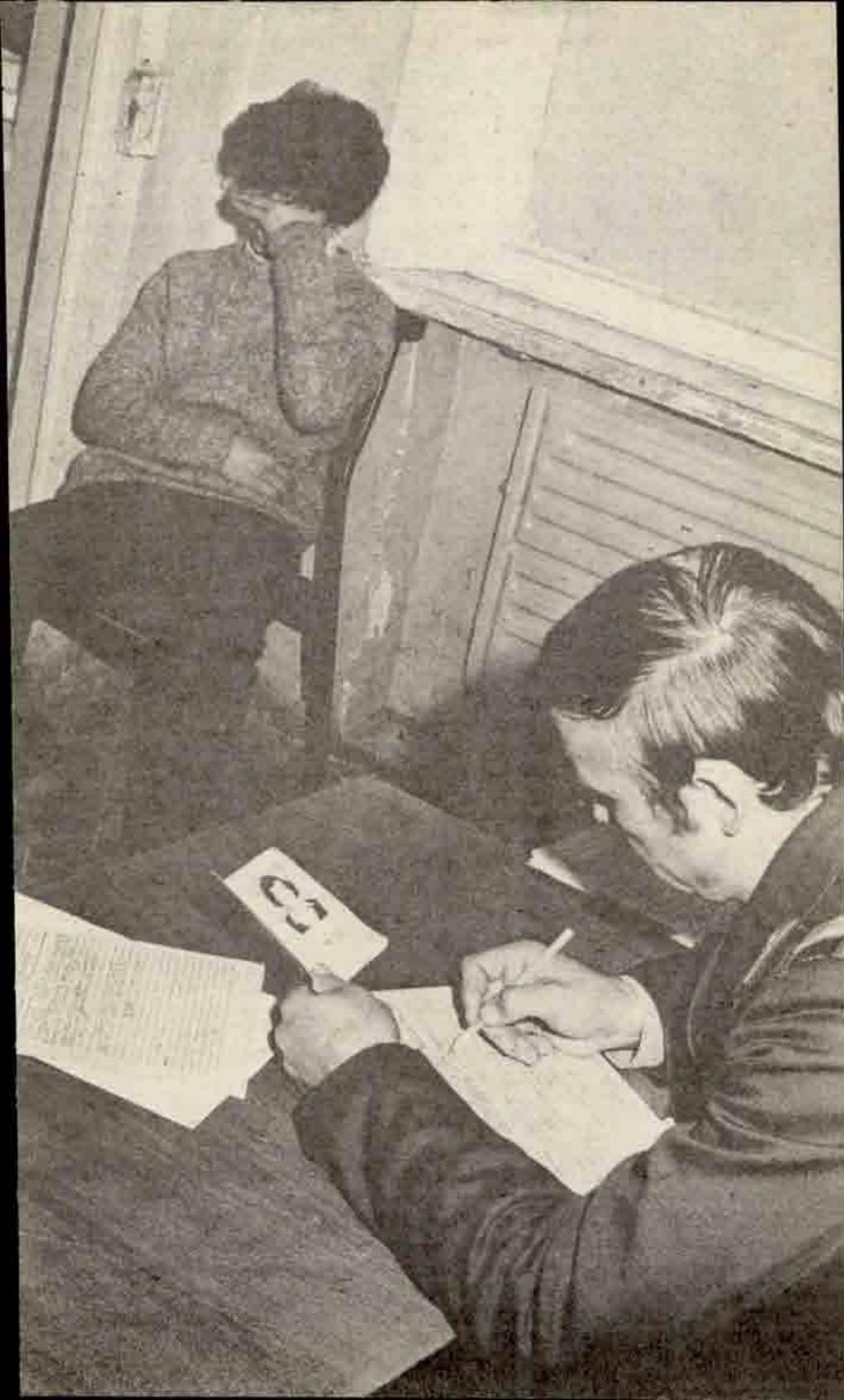
Едем во Владимир, держа в памяти читанное: звон цепей по «владимирке» да вечно переполненный владимирский централ... По приезде узнаем в политотделе УВД, что криминогенная обстановка в области довольно-таки сносная, даже благополучная (по сравнению с соседними областями): о рэкете не слышно, организованной преступности нет и в помине... Как же обстоят дела в «благополучной» Владимирской области? Сводки почитать, так не сразу и заснешь.

«За минувшие субботу и воскресенье в органы УВД поступило 42 сообщения о преступлениях, из них по Владимиру — 7. В том числе об убийствах и покушениях на убийство — 2, тяжких телесных повреждениях — 2, грабежах — 2, кражах государственного имущества — 7, кражах личного имущества — 23, пожарах — 1».

Много это или мало? В прошлые, «молчальные», годы такая официальная справка, пожалуй, могла бы стать «бомбой», а ныне этими сообщениями в газетах никого не удивишь. Привыкаем к гласности? Да, и все познаем в сравнении. И то сказать: в ночь с пятницы на субботу, когда нам довелось дежурить в Ленинском РОВД, поступившие туда сообщения с лихвой перекрыли всю городскую статистику вы-







ходных дней. Одних только грабежей — 4. Вот вам и благополучие. Да, день на день не приходится, и пятница, бесспорно, самый «урожайный» из всех...

Телефон.

— Да, слушаю, дежурный майор Лаврешин... Понял, квартирная драка. Продиктуйте адрес... Хорошо, ждите.

Точно сквозь морской шум прорезался клекот радиции (право же, «Кайра» — очень подходящее название для нее):

— «Львов», ответьте 157-му. 157-му ответьте...

— Слушаю — «Львов». Что у вас?

— Грабеж на Балакирева, с полчаса назад. Трое, лет тридцати, отняли куртку, деньги. Потерпевший здесь.

— Понял, 157-й, выезжаем, будьте на связи.

— Патрульным машинам в районе Тихонравова, в доме 9 муж избивает жену, бьет стекла. Разберитесь, доставьте в отдел. Как поняли?

— Четвертый понял. Мы рядом, сейчас заедем.

— Группа со следователем на выезд, в район Балакирева. Грабеж, преступников трое...

Хотелось бы начать с лихого эпизода (как в кино) — с погоней, поимкой матерых преступников, с перестрелкой, может быть, по четкому сценарию и чтоб исполнен как по нотам — есть такие примеры и во Владимире, ведь обезвредили же здесь две «залетные» вооруженные группы... Но как подумаешь, чего стоит эта кажущаяся легкость, скольких требует сил и затрат — при нашей-то бедности — то, право же, пропадает всякая охота. Другое сейчас важнее: как помочь «моей милиции» обрести прежний авторитет в народе, как саму ее защитить от устаревших инструкций.

Как раз в ту пятницу: «В 17.30 неустановленное лицо около магазина «Автомобилист» подвергло ограблению М., 1973 года рождения, учащегося Владимирского авиамеханического техникума, у которого отобрали деньги в сумме 50 рублей» — бесстрастно констатировала местная хроника.

— Эх, Владик, Владик, неужели же это он? — сомневался участковый инспектор ИДН (инспекции по делам несовершеннолетних) Юрий Соловьев. — Значит, сорвался. Уж больно приметы сходятся!

Но все еще не хотел верить, пока мы на выделенном шефами автобусе объезжали вместе с ним и с потерпевшим М. известные инспектору адреса и просто «злачные» места города, где можно было истратить добытый «полтинник». Но ни на танцплощадке, ни в парке, ни в барах Владика Мельникова мы так и не встретили. И дома — в полпервого ночи — его еще не было. Заявился он лишь под утро, а через три часа за ним уже «пришли» (так что вся «операция» заняла чуть больше полусятка). Да, вчера у магазина был именно он — в чем сразу и сознался. Инспектор поощрен 30 рублями «за оперативное обнаружение и задержание...». И хоть премия, понятно, дело всегда не лишнее, но куда было бы приятнее, если бы Владик не сорвался и чтобы никто из подопечных инспектора никогда не «срывался».

Вот за это и надо бы платить, по большому счету...

Преступность заметно омолодилась в последние годы — бывает тревогу статистика. Пятнадцатишестнадцатилетние подростки — наши дети — мощно «заявляют» о себе. Процент их участия в грабежах, кражах из автомобилей и угонах очень велик. Например, в Коврове подростки угояют ма-

шины — просто покататься — и после... сжигают их, уничтожая следы. На сегодняшний день в городе выявлено уже 8 групп угонщиков, в них почти половина (!) несовершеннолетние. Начальник городской инспекции по делам несовершеннолетних Александр Юрьевич Забегалов вместе со своими немногочисленными помощниками бьется как рыба об лед, но что они могут? Это по приказу (№ 180 от 1988 г.) на каждые четыре тысячи подростков положено иметь своего инспектора, а в жизни — их всего 9 на город и район (190 тысяч населения, и только несовершеннолетних 51 тысяча).

— Но если б только эта причина... Нет, сам подход к делу не с той стороны, — сетует Забегалов. — Вместо того чтобы предотвращать правонарушения, мы в основном бьем по хвостам. Когда все уже свершилось и меры поздно принимать. А почему так? Не найдена еще золотая середина между гуманностью и твердостью. В начале 80-х отменили административный арест подростков от 16 до 18 лет. А теперь им только штраф — и гуляй дальше. Вот вам и неотвратимость наказания: отпускай их и жди нового преступления, чтобы потом можно было взять под стражу. И общественность бросается в другую крайность, требуя ужесточения наказаний. Но все эти поздние меры — колонии, тюрьмы — уже не исправляют нарушителя, лишь куют преступника. Пацан же все впитывает: на воле в компании понял одно, в КПЗ другое схватил, в колонии еще кое-что усвоил. И все — он уже готов для тюрьмы. Да еще наше попустительство: нет бы сразу изолировать его от этих влияний. Но кто нас слушает или нашего мнения спрашивает? Направить в то же СПТУ — целая

проблема. Скажем, у парня порок сердца или кожное заболевание какое — все, говорят медики, в спецПТУ направить не можем. А в колонию — пожалуйста. Отчего так? Когда дело доходит до суда, медицинские противопоказания уже не будут иметь значения.

Вот сейчас у нас в СИЗО такой Олег Столбов. Ему шестнадцати не исполнилось, а за ним чего только нет? Пил, уж не знаю, с каких лет, обирал сверстников, задирал прохожих, машины угонял — с девочками кататься... Старший брат, нормальный парень, и уверевал его, и лупил — все без толку. А в СПТУ никак не брали — врожденный порок сердца. И теперь вот последний грабеж: избил парня, отнял деньги. Будет суд, ну реально получит он года два. А каким из колоний выйдет, уже сейчас ясно...

Из камеры следственного изолятора его привели в комнату для допросов. Лицо на удивление детское. Трудно представить такого, в пьяном угаре избивающим свою жертву... Говорить с нами Олег отказался наотрез.

На вопросы Забегалова цедил нехотя, не поднимая головы.

— Ну и что ты думаешь делать дальше?

— А мне это не надо, думать. Приду вот, буду ментам вредить.

— Что так?

— А так. Тут каждый норовит дать пенделя... По другому-то и не бывает.

— Ну я-то тебя хоть пальцем тронул когда? Или, скажешь, не толковали мы с тобой по душам?

— Ну и что, все равно ты такой же мент, как и все. Тут вас три этажа...

Конвойный уводит его в камеру, откуда раздаются крики и гогот.

— Он что, со взрослыми в одной камере? — спрашиваю у сержанта в дверях.

— А это все у начальства спрашивай, — отрезает тот. И захлопывает дверь.

О скольких случаях групповых изнасилований, совершенных 15—16-летними, довелось нам услышать и в Коврове, и в Гусь-Хрустальном, и в самом Владимире! Что может уберечь наших дочерей от беды, какие слова остановят насильников, если ни слезы, ни мольбы жертв не способны тронуть их сердца?

Нет, не просто душеспасительные беседы ведут в Ковровской ИДН и не только проводят ежемесячные рейды по выявлению «мест обитания» подростков и ставят их на учет. При инспекции успешно действует институт общественных воспитателей: например, суды родительской чести... Работает школа юного юриста, где даются основы правовых знаний. Каждое лето немало «трудных» подростков выезжают в летний

лагерь «Спутник». Словом, работа идет, но... (Разве что-нибудь у нас обходится без этого непременного разделительного союза?) Но в прошлом году лагеря не было. Не набрали желающих? Или, может быть, родители неохотно отпускают детей в этот лагерь? Да нет, и от желающих нет отбоя, и с родителями хороший контакт. Надоело выклянчивать, признается Забегалов, жутко надоело: ведь все, от спортивного инвентаря и транспорта до средств на проведение мероприятий, приходится просить Христа ради... А тут еще хозрасчет на производстве...

Опять экономим на профилактике правонарушений и кидаем огромные средства в перманентные кампании «по усилению борьбы с преступностью». То есть опять же «бьем по хвостам». Экономим на детстве, а потом разводим руками: откуда же у нас такая молодежь? Здание нового обкома







партии «влетело» Владимирщине в копеечку. Ничего, стоит железобетонно. Кому-то глаз радует, сердце греет. А что садиков детских не хватает — о том ли думать, те ли «масштабы»?..

Во Владимирском детском приемнике-распределителе как раз жертвы этой нашей показной любви: «Все лучшее — детям!». Вот они, 11—13-летние с изломанной судьбой. Беспризорные, даже при живых родителях, они бегут из дома, приворовывают на вокзалах; их снимают с поездов и направляют в приемники-распределители.

С любезного разрешения Олега Григорьевича Куксова (на его две-ри табличка всего в одно слово: «Начальник») мы познакомились с некоторыми из них, живших когда-то в разных концах страны, а теперь встретившихся вот здесь.

— Ерофеев Алексей Владимирович, 12 лет.

— Борисов Евгений Павлович, 14 лет...

Они представляются по-заученному, как на поверке, по-другому не могут. У них уже есть судьба, биография. Что им с нашей жалости?

...Шпоковский Александр Михайлович, Выскорецкий Владимир Николаевич, Молочкин Михаил Валерьевич...

Двое из них, по просьбе старших ребят, бросили гранату в кабинет директора школы. К счастью, чеку выдернули вместе с запалом — так что никто не пострадал, кроме них самих...

— Ну, а ты, Алексей Владимирович, какими подвигами славен?

— Я-то? — Он щурится хитро, чешет стриженную голову. — Грабеж, два изнасилования...

Ребята вокруг смеются: он, говорят, еще маленький.

— А ничего и не маленький, — обижается Ерофеев.

Пока за ним только мелкие кражи, но это — пока.

(...О дефиците в любом УВД знают не понаслышке — на собственном опыте, увы. Всюду, где доводилось мне толковать о нуждах милиции, транспорт — проблема номер один. Везде.

Как горько пошутили в Гусь-Хрустальном ГОВД: «Стараемся выезжать в основном по ночам, чтобы преступники не очень видели, какая у нас техника». Когда слышу, как министр внутренних дел, заботясь о подъеме престижа милиционера, толкует о введении нового обмундирования, я вспоминаю изъездивший все мыслимые ресурсы оперативный «Жигуль» Октябрьского РОВД, с «катапультирующимся» сиденьем. Так что не до формы — о содержании в пору подумать.

Уходят люди из милиции... Причем далеко не худшие... Нет, конечно, мундир — дело совсем не последнее, лишь бы не в ущерб стути.

А то вдруг станет передовым и повсеместным «владимирский вариант» решения задачи технической оснащенности наших защитников: когда на три городских райотдела выделили аж две дюжины (!) транспортных единиц, но велосипедов (?!). Тут и гадай, в шутку ли это, в насмешку? Или ради «галочки» в отчете... «Теперь, значит, одной рукой преступника держи, — комментируют владимирские пинкertonы, — а другой — велосипед, чтобы не увел кто, потом ведь не расплатишься...»

Пошутить тут любят, вот только юмор все какой-то грустный, заметили?.. Могли бы райотделы сами приобрести, купить по номиналу лишний автомобиль, так не могут же. Жди, когда выделят. О каком усилении борьбы можно говорить нынче, если милиция зачастую оснащена куда хуже, чем преступники. У тех не только машины бы-

строходней и с бензином нет проблем, но и на все технические новации они реагируют моментально (чего не скажешь о разворотливости их противников). Такая уж, видно, судьба у милиции — вечно догонять...

А ведь в том же Октябрьском районе работа отделения БХСС оценивается **только** по возмещенному ущербу и **только** за шесть месяцев в 33 тысячи 600 рублей. А сколько еще спекулянтов поймано, сколько хищений предотвращено? Вот вам реальная экономика. А переведите-ка хоть треть этой суммы на баланс РОВД — есть пара машин. Элементарный хозрасчет...

Вспоминаются заверения еще одного из бывших министров, что скоро в органы МВД можно будет объявлять конкурс — от желающих отбоя не будет. Эх, сколько лет тем заверениям. Какой там конкурс, уходят люди из милиции, и понятно, почему. Ответственность вон как высока, а материальная заинтересованность минимальная. Старший лейтенант милиции — 240 раз зарплата, без всяких квартальных премиальных, семья, двое детей и пять лет в очереди на получение жилья — случай самый что ни на есть типичный. А по службе? Вспомним двойную подчиненность: приказам и инструкциям МВД, с одной стороны, и постановлениям местных исполнительных органов — с другой, и все станет ясно. Не редкость вовсе, когда оперативник, долго маскировавшийся под штатского служащего — с целью выявить некие финансовые махинации, — вдруг надевает форму и идет в оцепление — на всеобщее обозрение. Людей не хватает. Какая уж тут конспирация? Добавьте к этому техническую оснащенность на уровне 70-х.

Может ли всерьез противостоять хорошо экипированной орга-

низованной преступности наша доблестная милиция с ее лимитами на технику и на бензин? Опять надежда на энтузиазм и сознательность? Или, может, на свежеиспеченные рабочие формирования, о которых еще недавно было столько разговоров? А, кстати, что же говорят о них сами профессионалы?

— Ну, обучат их наскоро, это все так, но разве же с них спросишь так, как со штатного сотрудника? И разве кто-нибудь из них, хоть и за свои 300 рублей, прыгнет на нож? Вряд ли... Пучше бы предприятия отчисляли средства в наш бюджет, а мы бы набрали уж, сколько нужно. Оно и дешевле вышло бы. И эффективней.

В том, что на профессионалов можно положиться в этой войне с наступающей преступностью, мы лишний раз убедились, побывав в учебном центре УВД — они-то свое дело сделают, — только не мешай им. Увидели мы и владение приемами рукопашного боя, и умение пользоваться методами криминалистики. А после видели лабораторию с новой техникой и компьютерный зал — так что есть, есть у нас достижения в этой области!..

В Гусь мы в тот день попали по вполне конкретному поводу: вечером тут ожидали «молодежных волнений».

— Ребята решили малость пощипаться, — сказал замполит ГОВД Николай Алексеевич Серегин. — Зоны влияния, они как были всегда, так и будут...

Говорят, здесь, в мещерской стороне, крутые нравы: много не разговаривают, а чуть что не так — выходят, как в былье времена, стенка на стенку выяснять отношения. На этот раз, по слухам, припасли даже взрыв-пакеты. Вот шороху бы навели! Да в милиции прознали о готовящейся «ак-

ции» и подняли-таки на ноги всю общественность. Это была, верно, самая представительная дружина за все время существования ДНД, собранная не по разнорядке и не за отгулы. Представители горисполкома, директора школ, преподаватели ПТУ — вот уж поистине всем миром... Майор Серегин на разводе, точно главнокомандующий перед боем, отдавал краткие команды: «Район проходной перекрыть двумя группами; четыре группы за переезд, с капитаном; в район Дзержинки — шесть мужчин...»

Особенно плотно патрулировали площадь перед ДК, а также выход с танцплощадки — наиболее вероятные места для массовых «разборок».

...И все-таки они собрались. Где-то в пол-одиннадцатого, после танцев, человек двести—триста. Сила! Чего-то все ждали, на что-то еще надеялись. Но патрульные машины вдоль улицы и пикеты дружинников, в которых ребята узнавали своих знакомых и учителей, не оставляли им шансов «пощипаться». Так и не довелось нам, слава богу, увидеть милицию, орудующую резиновыми палками.

— Нет уж, дубинки — это последнее дело,— говорит майор Серегин.— Мы стараемся без них...

На прощание довелось побывать в местном музее религии и атеизма, в бывшей церкви. Там и узнал, сколько же православных церквей разрушили за семьдесят лет на одной только Владимирщине! «Так чего ж мы удивляемся нынешнему всплеску преступности?» — подумалось вдруг...

Видел золотым шитьем украшенные ризы священнослужителей, слушал пластинку с хоровым духовным пением. Казалось, забыл все на свете и всем-то готов все простить...

Но нет — не все и не всем. Вспомнился патлатый девятнадцатилетний подонок, прыщавый, с расцарапанным носом. Этого вот простить не смогу. У него была уже одна попытка изнасилования. Но то ли тогда ему дали условно, то ли до суда отпустили? Словом, вчера его поймали за вторую попытку.

Что ж, как и в спорте, дадим ему третью?..

# БЕЗ ПОДСКАЗКИ



**НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ,**  
секретарь ЦК ВЛКСМ

...Старое кладбище постепенно оказалось чуть ли не в центре разрастающегося города. Кое-кто из руководителей стал поговаривать, что пора его снести, переделать в парк, понастроить там для молодежи аттракционы, открыть дискотеку... Но неожиданно стали возражать именно те, для кого готовились все преобразования. Молодежь взялась благоустроить старое кладбище. Убрали хлам, мусор, подправили забытые могилы. Собственно, начали восстанавливать историю своего города, восстанавливать не на словах, а на деле само понятие милосердия.

В городе и отношение к молодым изменилось, а самих молодых — к своему горокому ВЛКСМ. Ведь именно он, Тутаевский горком комсомола Ярославской области, выступил в защиту старого кладбища, что и стало одним из пунктов в разработанной им программе «Молодежь».

Инициатор программы — первый секретарь горкома ВЛКСМ Анатолий Никольский.

Бытует мнение, говорит Анатолий, что в сохранении комсомола заинтересованы только функционеры, а рядовому человеку членство в ВЛКСМ ничего не дает. Ведь и в самом деле комитеты комсомола частенько озабочены не потребностями человека, а тем, как бы запустить машину мероприятий, чтобы понравиться начальству. Через первичные организации мы опросили всех комсомольцев: что их волнует сегодня? И тут выяснилось, что молодежь почти не верит в помощь комсомола. Но мы же объявили себя организацией политической! Значит, должны пользоваться реальной властью! И наша программа — первый шаг к этому.

Программа «Молодежь» вобрала в себя самые насущные, самые обыденные проблемы, требующие решения не в далекой перспективе, а сегодня, сейчас. Особое внимание — молодой семье. «Открыть первый кооперативный детский сад в доме по улице Комсомольской, организовать комиссионную продажу детской и молодежной одежды на площадях города, отвести землю молодым семьям для садовых участков (это все в 1989 году), добиться увеличения лимита для выдачи денежных ссуд молодежи на 1990 год; открыть специализированную молочную кухню в правобережной части города в 1990—1991 гг., создать систему сбора донорского молока...» Не забыты и подростки, учащиеся — запланировано увеличить торговые площади магазина «Умелые руки» и расширить ассортимент товаров в нем, открыть павильон «Мороженое» в левобережной части города, открыть совместное предприятие по пошиву молодежной одежды...

Но разве все это сможет сделать один комсомол? — напрашивается вопрос. Нет, конечно. Программу то создавали всем городом — инициатором был комсомол, — и выполнять ее сообща. Идеологической комиссии ГК КПСС и комиссии по социально-экономическому развитию города и района было поручено доработать программу «Молодежь» и вынести на обсуждение всех жителей. Потом ее утвердили на сессии городского Совета народных депутатов. Были, конечно, и такие голоса: «Что это нам комсомол наряды стал давать?» Но уже не они определяли общую атмосферу в городе.

Пример тулаевских комсомольцев показывает, что проблема молодежи существует в двух измерениях: как проблема всего общества, которое должно постоянно заботиться о подрастающем поколении, и как проблема самой молодежи, которая в своем желании самореализоваться настойчиво ищет поле деятельности.

Командно-административная система была заинтересована в том, чтобы молодежь даже не приближалась к власти. Тулаевскому горкому ВЛКСМ просто перекрыли бы кислород: в стране, кроме партии, никаких других политических организаций не должно было быть. Сейчас наступило другое время. Комсомол стремится обрести тот облик, который устроит и саму молодежь, и общество. Характер отношений между партией и комсомолом меняется — это уже не отношения безоговорочного подчинения и диктата, а взаимодействие и сотрудничество.

Я так подробно остановился на программе «Молодежь» потому, что в этом примере хорошо виден процесс обновления комсомола, его перспективный путь — выход

на политическую арену со своими идеями и платформами. Учитывая неотложные потребности, интересы различных слоев молодежи, вовремя аккумулируя их, реализовывать свою позицию.

Это путь к возрождению первички. Уже давно возникло противоречие между личностью комсомольца и первичной организацией. Вызвано оно тем, что первичка практически не предоставляла молодому человеку возможностей для самореализации. Он ведь вступал в комсомол как в объединение, где сумеет раскрыться как личность, разовьет свои способности, а в результате — чаще всего глубокое разочарование. И либо он становится равнодушным ко всему, либо потребность в самовыражении приводит его в стан хиппи, металлистов, рокеров, либо он с юношеским максимализмом бросается искать врага, мешающего жить. А таким врагом нередко становятся представители иной возрастной, социальной или этнической, национальной группы. Чаще всего врагом номер один выступает бюрократ-аппаратчик.

Проблема первичной организации самая больная. В последние два года наметился отрыв обкомов, горкомов, райкомов от первичных организаций. Причины? Их немало. Но вот одна из заметных. Самостоятельное хозяйствование в ряде случаев повлекло за собой появление сугубо коммерческих интересов комсомольских работников. Особенно заметна коммерциализация молодежной культуры. А интересы первичных организаций отходят на задний план. Это уже явный перегиб, нельзя уповать только на финансовую сторону дела.

Тутаевский ГК ВЛКСМ тоже решает сейчас вопрос о передаче кирпичного завода на баланс горкома, но это только один из пун-

ктов обширной программы «Молодежь», а не ее приоритет и тем более не основная цель. Хозяйственная деятельность в комсомоле нужна, ее надо развивать, но нельзя допускать такого положения, когда хозрасчет будет давать деньги, аппарат их потреблять, а комсомол останется где-то в стороне. Убежден, что комсомольские организации прежде всего стремиться к государственным, политическим рычагам воздействия на общественную и социальную жизнь. И деньги тогда сами приложатся.

Первички возродятся только тогда, когда они станут центром интересного нравственного и делового общения.

Какие формы общения мы предлагали долгие годы? Комсомольские собрания. Они не столько притягивали и объединяли, сколько отталкивали. Нам необходимо буквально собрать, соединить комсомольцев в коллективы, ибо только коллектив может оказать товарищеское влияние на личность. А это возможно будет в том случае, если предложим молодым неформальное общение, обмен мнениями, дискуссии, в том числе и на наших классических мероприятиях — собраниях, конференциях и т. д. Главное, чтобы там не было диктата, начетничества, а было раскрепощенное общение равных. И первичную организацию при этом нужно сделать главным катализатором социальной инициативы, повернуть к интересам конкретного человека.

У молодых всегда была сильна тяга к объединению. Перестройка разбудила активность самодеятельного движения, выявила новый, «неформальный» поток молодежной инициативы. Мы будем сотрудничать с конструктивно настроенными силами различных объединений.

Когда обсуждался проект закона «О молодежи и государственной молодежной политике в СССР», одни первичные организации высказывались за то, чтобы не уступать неформалам в обозначенных в проекте правовых основах и гарантиях деятельности молодежных организаций, другие, наоборот, критиковали любое конкретное упоминание о правовых нормах комсомола, полагая, что это антидемократично по отношению к другим молодежным организациям.

Изолировать себя от добровольных обществ и самодеятельных объединений мы не собираемся, готовы сотрудничать с ними, не опускаясь, правда, до зияния и одновременно не прибегая к тону команды и окрика. Для нас очень важно освоить культуру согласия и несогласия. Эта норма поведения позволит до конца избавиться от психологии конфронтации. Разве можно отказаться от сотрудничества, например, с ленинградским клубом «Россия молодая»! Молодые учителя, инженеры, архитекторы, военнослужащие, пионервожатые, художники, юристы, школьники и студенты — всего более шестисот человек — взялись за возрождение русской деревни. Побольше бы таких добровольных обществ и самодеятельных объединений! И никакой заорганизованности. Иначе рождается иной тип мышления — паразитический. Только самодеятельные начала способны раскрепостить разум, возродить оригинальность комсомольской работы, вернуть комсомол в неформальный фарватер. Тогда никто не будет тревожиться, что комсомол «растащат по интересам».

# ЧИТАТЕЛЬ-«СМЕНА»-ЧИТАТЕЛЬ

В церковь с комсомольским значком?  
«Не хочу быть похожей на мать»

Одним из самых тяжелых пороков застойного времени считается двойная мораль. И если по законам двойной морали жило общество, государство, то, значит, по этим же законам жили многие люди. Я тоже. И хотя нет на моей совести преступлений или тяжких проступков ради личного блага или корысти, сердце мое неспокойно. Не могу считать себя честным человеком и от этого страдаю, мучаюсь. Может, с вашей помощью, уважаемая редакция, я найду успокоение совести своей? Дело в том, что я верующий комсомолец. Я понимаю, кто-то сразу решительно заклеймит меня, скажет, что это несовместимо, нечестно и так далее. Я много думал об этом. Когда я, как и все, в четырнадцать лет вступил в комсомол, я не думал о боге. Впрочем, я не очень-то задумывался и о смысле написанного в Уставе ВЛКСМ. На собраниях привычно бубнили активисты, по радио звучали бодрые комсомольские песни, призывы на стройки, бурные аплодисменты старшим партийным товарищам — все так жили. Еще учась в техникуме, стал я обращать внимание на то, что никакие решения собраний, никакие обещания практически не выполняются. Разговоры ведутся ради разговоров. Лозунги так и остаются лозун-

гами, а люди кругом, в том числе и мои сверстники, какие-то озлобленные, скорые на оскорблени-  
я и драки, неуважительные к старшим. Насмотрелся я на жестокость, особенно в армии, и задумался. Надо сказать, что я очень много и внимательно читал, и в основном книги по истории России. Одним словом, я самостоятельно пришел к выводу, что понятия честности, совестливости, доброты, милосердия растеряли мы вместе с утратой бога в душе своей. От этого и стали злыми, жестокими, нищими духом, нечистыми совестью. Стал я в церковь ходить. Библию прочитал, другие писания и стал внимательнее, добре относиться к людям, стараясь понять и злы, и лживых, и жадных. Понять и пожалеть, простить их. Теперь я уверен вполне, что заповеди господни для человечества, для каждого из нас — самое главное, нужное в жизни. Но я по-прежнему комсомолец, и это мучает меня. Ведь всю жизнь нам внушали, что комсомолец должен быть атеистом, что бога нет, а я уверовал. Когда я на работе говорил о душе, о том, как жить следовало бы, от меня отмахивались, надо мной смеялись. Правда, серьезных споров не было, возразить мне, опровергнуть мои слова убедительно ни-

кто не мог. Все знали, что я хожу в церковь, но, видимо, оттого, что всем на всех наплевать, меня ни разу не укорили, не проработали на комсомольском собрании.

Сейчас многие поняли, что религия утверждает потерянные нами общечеловеческие гуманистические ценности. Вот я и думаю: а может, и перед комсомолом я не виноват, и перед богом не грешен, и могу остаться комсомольцем и нести товарищам своим слово любви, милосердия, братства? Есть ли в этом противоречие?

Кто разрешит мои сомнения? Кто избавит от душевных мук?

**Владимир ЮЖАНИН,  
Москва**

**С** кем мне поделиться? Меня никто не любит, и я никого не люблю. Я ненавижу себя, ненавижу мать. К отцу отношусь равнодушно, так же, как и он ко мне. Скандалы не люблю и стараюсь не ввязываться, но часто терпления не хватает. Правда, с отцом стычки бывают редко. С матерью — чуть ли не каждый день. Сколько помню себя, она меня воспитывает. Ее метод — «капать на мозги». Она сама как-то сказала: «Я капаю тебе на мозги, может, что-нибудь усвоится». Я же не тупая и не идиотка, а мне с детства читают потаски по поводу беспорядка, неубранной кровати, недочитанной книги, угрюмого вида. Все, что она скажет, я знаю наизусть. Причем уже давно мать начала ругаться матом и только на меня.

Может сунуть под нос список, на сколько рублей в месяц я съела, что мне купили, какой от меня убыток. С детства мне говорила мать: «Что ты, как дурочка, разговариваешь, люди подумают, что ты глупая. Что

ты букву «л» или «г» произносишь, как гусак?» Говорилось это в такой форме, что я плачала от стыда и обиды. Причем повторялось это постоянно: «Кто тебя просил встречать в разговор?.. Почему привела подруг да еще чаем напоила?..» «Почему при соседях сказала, что у нас грибы жарятся, у нас и так мало, а еще соседку уговаривать придется...» И так всегда. В результате я боялась ляпнуть что-нибудь не так и всегда молчала. Дичилась сверстников. У меня нет подруг и друзей. Я одна. Потому что не умею общаться.

У меня есть брат, он моложе меня на три года. Так вот я с детства слышу: «Дура здоровая, не смей его пальцем тронуть, иначе узнаешь...» Он всегда прав. У меня отбирали игрушку, если играть хотел он. Меня ругали за неубранную постель: «Он с тебя пример берет». Я его ненавидела. Только страх перед матерью удерживал меня ударить его. Теперь мы большие. Я люблю его, он меня. Пишу и плачу. Мне недавно исполнилось двадцать лет, но я чувствую себя старухой. А бывают такие муки, что, кажется, лучше умереть. Всю жизнь мои родители посвятили выискиванию во мне недостатков и указывали мне на них. Я перешительная, бесхарактерная, не имею своего мнения, не уверена в себе, все, что я делаю, кажется мне смешным. Что у меня впереди? Пустота! Все время готовилась к жизни, а оказалось, уже живу, живу! И так, что все хочется переделать.

Больше всего на свете не хочу быть похожей на мать. В жизни буду одинока. Это понятно, почему. Думаю лет в тридцать усыновить мальчика и девочку, чтобы не быть совсем одной. Буду жить для них.

**ЛЕНЯ**

Сергей ТЮТЮННИК  
родился на Волыни в 1960 году.

Окончил Львовское высшее  
военно-политическое училище.

Служил в Прибалтике,  
Афганистане, Узбекистане,  
Туркмении,

Западной группе войск.

Награжден медалью «За отвагу».

Работал в военных многотиражных газетах.

Сейчас — корреспондент газеты  
Западной группы войск  
«Советская Армия».

Участник VIII Всероссийского  
семинара молодых писателей  
армии и флота.

В центральной печати выступает  
впервые.

# СУВЕНИР

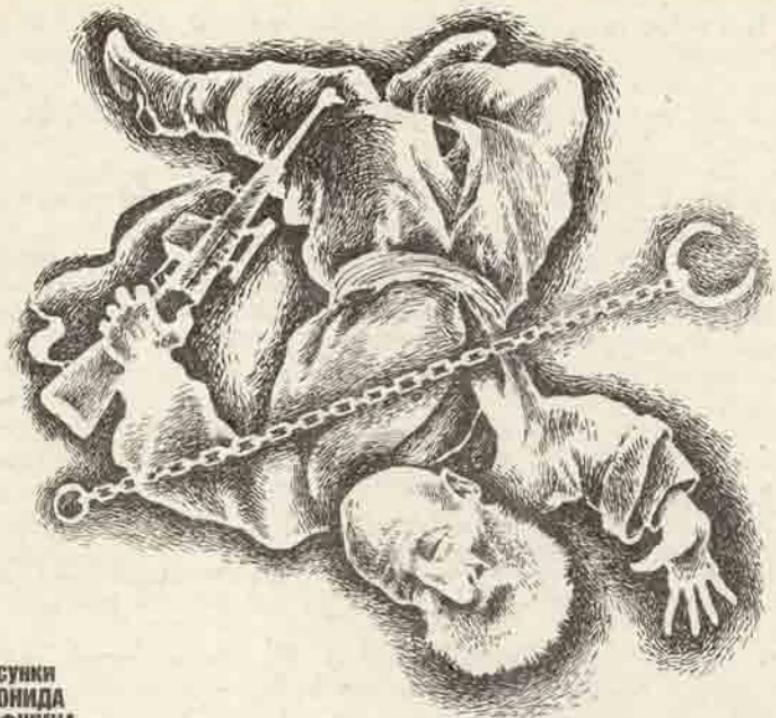
Пальба длилась еще добрых полчаса. Потом, нестройно, стрелять перестали; вслушивались в наступившую тишину, оглохшие от грохота. Не поднимая голов, высматривали в сожженной солнцем долине признаки жизни.

— Все. Ушли, гады.— Старший поднялся на полусогнутых ногах, готовый в любую секунду снова рухнуть на землю. Но выстрелов не было.— Пошли, посмотрим!

Люди медленно поднялись, хлопая ладонями по животам и ляжкам — выбивали пыль.

Убитых было четверо. Один из них — старик с роскошной бородой. Он, видимо, замешкался и не успел задечь. Пули пробили ему грудь, остальные были убиты в голову.

Солдаты собирали оружие, вытряхивали из карманов патроны. Старик держал в руке карабин. Замполит с трудом разогнул его пальцы, окаменело скрюченные на винтовке. Кроме ремня, на оружии была еще тонкая цепь из легированной стали. Цепь



Рисунки  
ЛЕОНИДА  
ЛИФШИЦА

шла от приклада куда-то к поясу. Замполит сильно дернул карабин, но цепь не оторвалась. Он разгреб дедовы азиатские одежды и крикнул:

— Эй, корреспондент! Иди сюда, что-то покажу!

Корреспондент подошел к нему и вытаращил глаза. Цепь от карабина уходила старику прямо в тело, в худой и дряблый бок. Корреспондент смотрел долго, завороженно, не двигаясь. Подошли и остальные.

Замполит достал нож и стал проворненько ковырять деду бок. У корреспондента потемнело в глазах, его вырвало. Остальные смотрели молча.

Цепь заканчивалась кольцом, надетым на ребро. Замполит оттянул ребро указательным пальцем и со скрежетом разогнул кольцо.

Отхаркавшись, корреспондент подошел к замполиту, вытиравшему окровавленную цепь носовым платком.

— Слушай, подари цепь на память.

— Подарю. Если не будешь писать про меня в своей газете «Стой! Кто идет?!» Я как-то читал: «Огоны!» — прозвучала команда, и мищени, истекая кровью, уползли в горы... — сказал замполит тем идиотским тоном, которого заслуживали произнесенные фразы. Солдаты вокруг заулыбались.

...Вернувшись в редакцию многотиражки, корреспондент показал цепь своему рыжему суетливому редактору и рассказал, как она ему досталась. «Да ты что?! Серьезно?!. Да ты что?!» — тараторил редактор.

Через три дня приехал писатель из Москвы. В редакции пили теплый технический спирт и закусывали «красной рыбой» — килькой в томате. Раскрасневшийся редактор, предварительно пошептавшись с корреспондентом в коридоре, говорил:

— Хочу подарить вам на память уникальную вещь... Это цепь, которой душман приковал к себе карабин. А вот это кольцо было на ребре...

— Просто ужас, какие они все фанатики,— качал головой писатель.— Покажу друзьям в Москве — ахнут от зависти.— Он разглядывал кольцо, щупал звенья, пробовал цепь на разрыв мягкими ладонями.— ...Просто умрут от зависти.

Писателя провожали, долго и усердно договариваясь встретиться в Москве.

— Ты видел, как он?.. Да ты что?! Он обалдел от этой цепи! — говорил редактор, тряся рыжим хохолком.— Слушай, может, съездишь к ремонтникам, договоришься?..

Через две недели приехал журналист из центральной газеты. Раскрасневшийся редактор строчил:

— Хочу подарить вам на память уникальную вещь... Цепь, которой душман приковал к себе карабин. Вот это кольцо было на ребре...

В шкафу у редактора лежало еще семь таких цепей, сделанных прaporщиком-умельцем из ремзвода. Цепи, тщательно отполированные, сияли, а на кольце — для пущей достоверности — было вырезано нечто похожее на арабскую вязь.

— ...Ну, друзья в Москве умрут от зависти,— говорил журналист.

Через три дня ждали группу маститых артистов...

# ЗАРАЗА

Стонали роты от поноса. По палаткам тихо бродила дизентерия, хватая солдат за истончившиеся кишечки и высасывая из них кровь.

В госпитале штопали дыры в колючей проволоке вокруг инфекционных отделений. Падая от усталости, медики дезинфицировали все, что могли. Залитые чернильным раствором и запыпанные хлоркой туалеты обозначали мужественный путь медиков. После них оставались мертвые муши. Но с бесчисленных помоек слетались новые стаи, и дизентерия хохотала гнилым ртом в спину усталым санитарам. Выздоравливающие солдаты, как пауки, плели колючую ограду, строили фанерные бараки, рыли выгребные ямы и возводили новые туалеты. Стойка стучала молотками, звенела гвоздями и трещала досками.

В госпитале было тесно. Еще дрожали на ветру вылинчившими боками палатки. Прокуренные медсестры спали на матрасах без простыней и спиртом убивали в себе нарождавшийся тиф. В палатах и коридорах лечебных модулей, на полу и двухъярусных кроватях помещался болящий народ, склоненный эпидемией.

Солдат Сергей Панин лежал в коридоре на матрасе и урчал животом. Он тихо радовался, что лежит в госпитале, а не воюет далеко в горах со своей ротой, стыдился этой радости и стрелял «чинарики» у богатых на сигареты курсов. Богатых было очень мало. Бедных — очень много. В тени, под узким козырьком курилки, они были неравны, но сравнивались в туалете — длинном дощатом сарае, принадлежавшем одновременно двум отделениям, дизентерийному и гепатитному, и разделенном на две половины дырявой перегородкой.

Панину невыносимо хотелось курить. Но его рота воевала в горах уже неделю, к Панину никто не заходил и сигарет не приносил. От недостатка дыма он грыз ногти. Приходилось унижительно выклянчивать «чинарики» у солдат-«стариков». Многие с высокомерием кладовщиков оставляли ему бычки и долгим взглядом наблюдали лихорадочные затяжки Панина.

Панин был гордым человеком, но курить хотелось смертельно. И он терпел, обдирая легкие бракованным табаком Ереванской фабрики, думая, что в конце концов отравит и усыпят им смятенную душу. Но душа не спала, раненная дизентерией, которую Панин получил сознательно. Он знал, что его сослуживец болен, видел частые забеги в туалет и специально пару раз попил из его кружки и доел кусок хлеба, чтобы влететь наверняка. Он действительно влетел и теперь мучился животом и молодым захлебывающимся сердцем.

Раньше Панин гордился тем, что служит в Афганистане. Ему везло в боевых рейдах, и он смотрел на войну с любопытством. Пули баражали в песке вокруг его худого тела, вызывая в Панине лишь интерес кинозрителя. Он смотрел на войну, как на непрерывный фильм, не догадываясь, что играет в нем роль мишени. Панин не сразу понял, что боится смерти, но, поняв, почувствовал, что скоро умрет.

В тот раз ему опять повезло. Не повезло его роте. Три месяца фортуна петляла с ротой меж минных полей и духовских засад. Через три месяца рота налетела на банду и, оставив душманам одну подбитую БМП, еле унесла ноги. Вызвали вертолеты, разогнали духов и стали искать своих. Под скалой аккуратно лежали пять человек без голов.

Они были еще молоды, сослуживцы Панина, они были «везунчиками» и не знали, где искать головы своих товарищей. Обшарив все вокруг, они нашли лишь внутренности. И тогда командир догадался. Он расстегнул куртки на телах убитых и нашел головы своих солдат, спрятанные в выпотрошенные животы.

Панин долго смотрел на обезглавленные трупы, а затем, придавленный ужасом, блевал, выворачивая свою молодую душу, выкидывая из себя любопытство к войне и щенячий азарт.

В этот час он стал трусом, начал бояться смерти и по ночам видел свою отрезанную голову в своем пустом животе...

Теперь Панин лежал в бараке, худея от кровавого поноса и стрелки бычки у «стариков».

Лежать ему определили еще неделю. И Панин знал, что после госпиталя пойдет обратно на войну, рискуя из-за каких-то бесконечно далеких афганцев — безграмотных, упрямых и чужезыких. С тихой завистью смотрел он за колючую проволоку, разделявшую дизентерийное и гепатитное отделения. Три раза в неделю на той стороне перед длинным бараком выстраивали желтоглазых больных в военной форме, сажали в кузов автомобиля и везли на аэродром для отправки в Союз. Оттуда слышались резкие команды офицеров и хотят уезжающих домой солдат. Панину хотелось к ним, но он не сразу решился идти к гепатитчикам.

Идея крутилась вокруг него, как ядро вокруг Наполеона. Он не оттолкнул идею, и она взорвалась, опалив раненые страхи мозги солдата. Забухтев сердцем, Панин прокрался за дырявую перегородку в туалет гепатитчиков и тихим, охрипшим голосом оглушил молоденького, завядшего от болезни желтушника:

— Дай мочи полбанки, очень тебя прошу...

Гепатитчик обнажил желтые белки глаз и задрожал подбородком. Он понял, зачем Панину его бурая моча, знал про этот вариант дезертирства: желающий заболеть желтухой и уехать в Союз на лечение выпивал мочу больного гепатитом — заражение тяжелой формой гарантировано.

Панин стоял перед желтушником на ватных ногах и тараторил:

— То-ка не говори никому, не говори...

Желтушник, держа в руках стеклянную банку с мочой, собранной для анализа, понемногу приходил в себя.

— На! Сука! — взвизгнул он, задыхаясь, и брызнул мочой в окаменевшее лицо Панина. — Задушу, гад, задушу! — раздавалось в спину убегающему Панину.

Панина трясло весь вечер, ночь он проплакал, уснув лишь под утро. Стыд, происходивший от остатков гордости, бурно тек по его жилам, смешавшись с адреналином. Два дня Панин ждал, что за ним придут. Два дня вспоминал свою посеревшую от работы одинокую мать. Два дня чувствовал на лице теплую солдатскую мочу и горел душой. Его мучила мысль, что мать не переживет суда над сыном-дезертиром.

После выписки Панин вернулся в роту отупевшим и молчаливым. Через неделю вместе со всеми пошел в рейд. После долгого марша по горам и пустыне возле кишлака он отпросился у командира на пару минут.

— Что-то опять живот прихватило, — пряча глаза, сказал Панин.

Он пошел за ближайший дувал, вынул из гранаты предохранительную чеку, старательно затолкал себе за бронежилет разогретый на жаре ребристый корпус ожившей «лимонки» и присел от ужаса. Граната вырвала измученное болезнью и душой па-



Языкем  
Был язык  
Наша смерть

нинское нутро, а командир роты вечерком после рейда написал осиротевшей матери, что ее сын пал смертью храбрых в неравном бою, и что «вечная память», и «Родина не забудет», и прощее, и прочее — все, как полагается.

# ГРЕЧКА

На двадцать четвертом месяце солдатской службы Сашка Егоров твердо решил, что, если через три недели не уедет в Союз, пусть умрет с голоду, но гречку есть больше не будет.

Через три недели Сашку Егорова вместе с другими увольняемыми в запас должны были отправить самолетом прямо в Ростов. Об этом донесла глубинная разведка в лице писаря из штаба части. «Гадом буду, мужики! Своими ушами слышал», — хлопнул себя по груди писарь, выбив при этом легкую пыль из куртки.

Сашка Егоров представил себе, как перед отъездом даст по морде начпроду, которого Сашка считал виновным в засилье гречки.

Еще три недели, бесконечных и утомительных, Егорову пришлось запихивать в себя осточертевшую кашу, которую его организм, переполненный презрением к гречке и начпроду, никак не желал пропускать в себя беспредметно. Даже в рейдах, в отрыве от своей части, с ее раскаленной от жары и загаженной наглыми мухами столовой, ничего другого, кроме консервов Семипалатинского мясоконсервного комбината опять же с гречневой кашей, есть не приходилось. Однажды у костра Сашка сказал, что из жестяных банок с гречкой, которые выела их часть за два года службы, можно выплавить крейсер.

— Небольшой торпедный катерок вышел бы, — поддержал его старшина.

Писарь — великая сила. Писарь оказался прав.

Партия увольняемых, в которую попал Егоров, уехала вовремя. Сашка не умер с голоду. Перед самым отъездом он отыскал в недрах столовой начпрода, молодого бестолкового лейтенанта, и сильно хлопнул его по плечу, вложив в удар всю свою злобу и радость момента. Затем, неожиданно для себя, он резко обнял начпрада и чмокнул его в мягкую щеку...

Когда Егоров приехал домой, мать долго плакала, уткнувшись ему в грудь, а Сашка долго дрожал голосом. Когда мать перестала плакать, а Сашка перестал дрожать голосом, они посмотрели простенькие афганские гостиные, и мать захотела покормить Сашку. Хитро глядя на него, она полезла на стул, чтобы достать с антресолей давно приготовленный сюрприз.

Мать достала целлофановый мешочек с гречкой, триумфально



покрутила им над Сашкиной головой и стала слезать со стула, задыхаясь и рассказывая: «У нас в Ростове — как всегда-а тут одна женщина прибегает — говорит — девочки — гречку в магазине видела — ну и я пока доползла — ничего не досталось — я давай реветь — говорю сын приезжает из Афганистана — одна женщина — дай ей бог здоровья — со мной поделилась — есть еще добрые люди на свете».

Сашка зажег глаза восторгом и отстучал ладонями на молодом животе соответствующий такой минуте ритм.

Пока гречка разбухала в кастрюле, он долго мыл в ванной руки и разговаривал оттуда, чтоб не слышать запаха каши. Мать пару раз беспокойно заглядывала в ванную и видела, что Сашка слишком усердно моет руки и не хочет выходить. Она задумала подсмотреть за ним, когда он будет мыться или заснет, чтобы узнать, был ли сын ранен.

Сидя за столом, Сашка глядел в тарелку, но видел в ней постаревшую за сто лет одиночества мать. Он запихивал в себя горячую, как песок, кашу, видел в тарелке нищенскую материнскую зарплату и не смог одолеть гречку. Сашка икнул, вылетел из-за стола, и каша пошла у него ртом и носом. Он рычал над кухонной раковиной, а мать с почерневшим лицом смотрела в его сухую спину. Опорожнив себя, Сашка бросился к сидящей без звука матери, уткнулся в ее распухшие колени и заплакал. Мать гладила его по стриженым волосам и, чувствуя раздутыми коленями мокрый нос сына, думала: «Наверное, контуженный...»



**СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ**

**ФОТО  
ЭДУАРДА КУДРЯВИЦКОГО  
и АЛЬБЕРТА ЛЕХМУСА**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МИНЕСТРОИ		С ИНЧИМ. ПЕСОМ		%
МЕДИОЛОР Т.КБ-Л	11820	5784	4558	79,9
РОЗОВЫЕ Т.КБ-Л	12645	6822	5224	79,4
ПРИЧА Т.КБ-Л	12271	6416	4944	76,4
Ч.КР Т.КБ-Л	9964	5163	4111	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	3171,8	1644	1372	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	762,9	396,4	322,6	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	674,9	335,5	277,9	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	191469	102291	85444	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	422720	233277	19211	79,9
Л. Т.КБ-Л	47254	25018	203882	79,9
Л.Ч.П. Т.КБ-Л	314402	203882	167000	79,9
ТОН Т.КБ-Л	248823	139186	112000	79,9
2.ТОН Т.КБ-Л	279235	158993	139999	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	278,3	121,9	88,6	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	1846,6	474,3	344,9	79,9
Ч.БЮ Т.КБ-Л	1048,6	474,1	344,9	79,9

**ко****бунт**



БИОЛІГІЯ ПРОДОВЖУЄ

**Нет мебели. Не хватает бумаги. Не достать обоев и тетрадок. Купить доски — проблема... Зато у нас есть Минлеспром СССР — Министерство лесной промышленности.**

Огромное здание — квартал в центре Москвы. Бесконечно длинные коридоры. В кабинетах трещат телефоны; обсуждают формулировки, цифры, стучат на машинках... В коридорах ждут совещания, жмут руки, что-то решают...

Позвонил секретарю парткома Минлеспрома Вильдану Гайнановичу Заединову: дескать, хочу рассказать о работе министерского аппарата; попросил поспешствовать в моем деле. Тот попросил время подумать. Через четверо суток ответил по телефону многозначительно:

— Мы не рекомендуем вам заниматься этой темой...

И все же я, не вняв совету, занялся. Потому что знал многое о могучем моем «контрагенте». В Министерстве лесной промышленности 16 главных управлений, 8 управлений, 163 отдела, 1270 работающих\*. Новый министр, Владимир Иванович Мельников, назначен первой сессией Верховного Совета СССР в 1989 году. Ему 54 года, русский, окончил Московский лесотехнический институт. Работал инженером, начальником лесопункта, отдела леспромхоза. Был директором завода. Затем — на партийной работе...

В фойе первого этажа министерства — «японский садик», а над ним (как бы уравновешивая вечное и сиюминутно-насущное) —

\* Пока готовилась статья, в министерстве прошла реорганизация. Прежние управления стали называться отделами, прежние отделы — подотделами, численность сократилась до 950 человек. В статье названия должностей даются «по старому стилю».

электронное табло, на котором указано, сколько много произвела отрасль продукции с начала месяца, сколько — за минувшие сутки. Сотни, а может, и тысячи людей коротали время за телетайпами и дисплеями мощных ЭВМ, чтобы передать информацию с мест, собрать ее, обработать, свести в таблицу...

Я побывал на заседании коллегии министерства. Как и положено, к заседанию этому были подготовлены материалы. Одна справка меня заинтересовала. Речь в ней шла о загранкомандировках министерских работников. Число поездок, разумеется (мы становимся более открытой страной), выросло: в капитаны их в 1989 году было в три раза больше по сравнению с 1987 годом. Однако, говорилось в справке, часто выезжают за границу делегации, не подготовленные для серьезной работы, а то и занимающиеся туризмом за государственный счет. Много безрезультатных поездок, которые дублируют одна другую. Сплошь и рядом завышается уровень, численный состав и сроки пребывания делегаций.

**Из той же справки:** немалая группа минлеспромцев ездила в Японию в прошлом июне (10 человек на 11 дней). Почему так много людей, почему так надолго?.. Ни один из руководителей 8 делегаций министерства, побывавших в Великобритании, не удосужился хотя бы проинформировать наше посольство о своей работе в командировке. (Советский посол в Швеции отметил, что работа делегации, которую возглавлял заместитель министра Константин Матвеевич Продайвода, оказалась малоэффективной из-за ее неподготовленности...)

Началась коллегия. Ее вел министр. Я записал некоторые реплики Владимира Ивановича:

— Надо всех давить планом производства!..

— Мы вас будем снимать с работы, так и передайте своему обкому...

— Мы предприятиям можем многое простить, лишь бы план давали...

Строгое решение приняли по загранкомандировкам. А заодно постановили, что ни одно совместное предприятие не может быть создано без разрешения коллегии. «А не то,— сказал кто-то из присутствующих,— они все разбегутся. Мы и здание потеряем, и численность в Москве...»

...«Все расскажу, только фамилии моей не называйте, договорились?..» Кто это — ракетир, взяточник? Нет. Работник министерства.

Собирая материал для этого очерка, мне не раз приходилось слышать подобную просьбу, довольно странную в «эпоху гласности и демократизации». Но, как говорится, у министерских свои привычки и причуды...

Вспомнилось мне, как однажды в прежние годы приехал я, молодой корреспондент, на бумажную фабрику и прямо с поезда попал за пиршественный стол, организованный в честь комиссии из министерства местным директором. Огромный, грузный украинец, он сидел в голове стола, подливал гостям и откровенничал:

«Треба мэни фонды — в Москву еду. Приглашу до гостиницы министерских та проиграю им в преферанс карбованцов пятьсот...»

Всевластие министерства и теперь еще велико. На коллегии, где я присутствовал, кто-то из замов министра предложил: лишить одно из всесоюзных объединений права поставлять продукцию за границу. Почему? Оно прогневало центральный аппарат, послав в адрес сессии Верховного Совета

телеграмму, в которой местные хозяйственники возмущались диктатом министерства... Аппарат — барин, чистый барин: хочу — даю, хочу — отнимаю...

Сколько «ходоков» в министерстве! Люди все хорошо одетые, с папочками — только наметанный глаз разглядит в них нечто провинциальное.

Взять план (поменьше), выбрать финансирование и фонды (побольше) — вот чего ради стекаются в центр тысячи людей из всех градов и весей. А еще — согласовать, увязать, утрясти... В кабинетах они ведут «переговоры на высшем уровне», основные же дела, показалось мне, вершатся в коридорах. Счастье, если повстречал земляка, однокурсника, бывшего коллегу! Взял его под локоток, увлек курить, пожаловался, плачился, вместе посмеялись над новым анекдотом — глядишь, вот оно и пошло, пошло твое дело!

Прочитал мнение Юрия Дмитриевича Маслюкова, председателя Госплана СССР: «Необходимо пересмотреть функции отраслевых министерств: им надлежит взять в свои руки решение проблем научно-технического прогресса и перспектив развития отрасли».

Беседовал с заместителем начальника одного из управлений министерства товарищем «только-фамилии-моей-не-называйте»:

— Какой там технический прогресс!.. Пятеро занимаются НТП на лесозаготовках, пятеро — в мебельной и деревообрабатывающей промышленности, пятеро — в бумажной и лесохимической... Всего — около пятидесяти работников. А за выполнением плана следит в аппарате едва ли не полтысячи человек! И реорганизация соотношение это не переменит...

Вот два сюжета на тему «техническая политика Минлеспрома».

Сюжет первый. Для мощных бу-

магаделательных машин нужны средства автоматизации. Решили — довольно их покупать за кордоном, пора самим делать. Поручили киевскому институту. Тековырялись целую пятилетку: опыта нет, спецов нет, производственной базы нет... Сотни тысяч истратили, сделали образец, пошедший в металломолом... Ладно, организовали в Киеве же конструкторско-технологическое бюро. Намечали за двенадцатую пятилетку сделать четырнадцать автоматизированных систем — довели до ума пока только две. Теперь за дело берется совместная (как же, такое время на дворе!) советско-американская фирма...

Сюжет второй.

Древесная кора, коли ее приготовить, причем очень просто, — отличное удобрение. Чистая органика, никаких нитратов!.. А бросовой коры только на предприятиях Минлеспрома образуется ежегод-

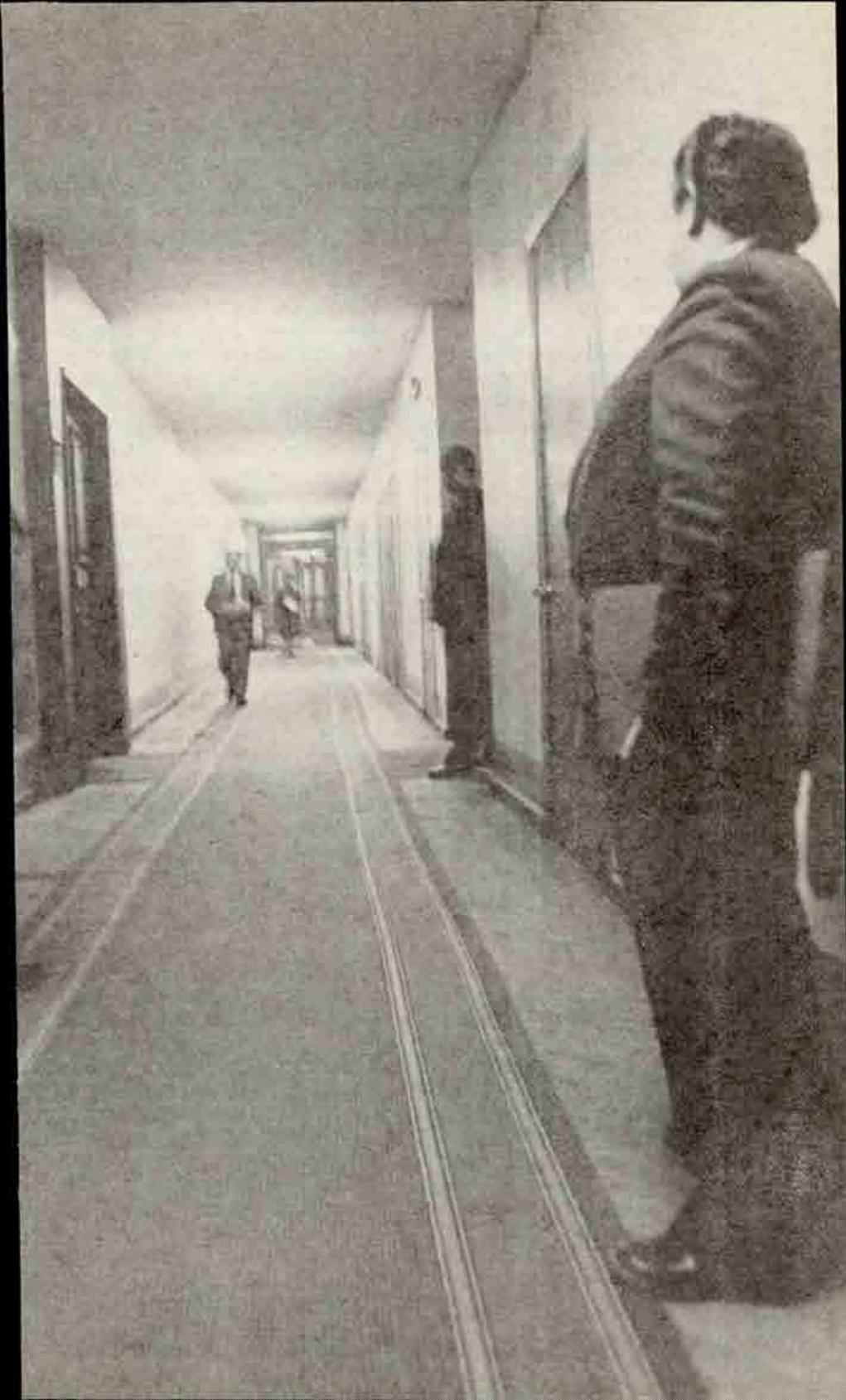
но столько, что по объему в аккурат — пирамида Хеопса.

Большую часть — везут на свалки. Не используют кору в подмогу урожаю! А почему? Предприятиям леспрома **планируют** затраты на уничтожение коры. А колхозы и совхозы не устраивает, что за перевозку коры надо платить. Вот и не хотят одни кору давать, другие — брать. Да встретитесь вы, минлеспромовцы, с агропромовцами, договоритесь хотя бы о чем-то!

Идут реорганизации, сокращения, а на ключевых местах — все те же люди... И тут в самый раз вспомнить ленинскую реплику: «Ведомства — говно...» Но что же важно? А вот что: «...Искать людей, проверять работу — в этом все»...

Как попадают в аппарат министерства? Если ты специалист среднего звена — инженер, экономист, старший инженер, ведущий экономист, начальник отдела —





значит, ты проработал после института в одном из московских научно-исследовательских или проектных институтов, затем взят в аппарат. Если ты, что называется, ответственный работник — начальник главка, заместитель начальника (не говоря уж о тех, кто выше) — значит, трудился директором или главным инженером в провинции, сумел понравиться приезжающим из центра, был выдернут, получил квартиру в Москве... (Только одно исключение из правил знаю: однажды двое молодых специалистов попали в министерство прямо со студенческой скамьи.) Оба пути — и через московские конторы, и выдергивание — имеют очевидные изъяны: во-первых, в Москву попадают после вуза далеко не всегда лучшие, а лишь те, у кого есть прописка; во-вторых, все труднее и труднее (опять же из-за прописки) «завезти» в Москву ценного специалиста из провинции. Вот и получается, что руководителями становятся не лучшие из лучших в результате открытого конкурса, а те, кто имеет труднопереводимую на другие языки привилегию, — «москвич».

Опять же: труд управленца совсем не похож на работу директора леспромхоза или инженера-конструктора. Каких-либо курсов, готовящих работников министерства, у нас не существует. Вот они и приходят в аппарат — хорошие проектировщики, отличные главные инженеры и начинают все с нуля. Частенько тут и судьба ломается, потому что понимаешь вдруг: «Ну не мое это!.. Когда было живое дело, люди, круговорот — тогда я был на коне... А здесь, с бумагами — невмоготу...» — но поздно, поезд ушел, семья уже не в Медвежьегорске, а на Большой Бронной...

А пример противотока — чтобы

из министерства человек ушел на производство, я знаю только один: инженер забронировал квартиру в Москве и уехал в Усть-Илимск, начальником цеха. Обычно же, даже если «зареорганизовали» и просят человека «выйти из министерства вон» — устраивают его в какой-либо из вассальных московских институтов. Благо их вон сколько: ГВЦ, Мосгипрохимбум, ВНИПИЭИлеспром, ВПКТИМ... (Помню, готовили мы с коллегой статью о таком вот приближенном к министерству институте — ЦНИИЭТбумпроме. И прямо как нарочно: с кем из руководства института ни придешь разговаривать, раздается в это время звонок — подготовьте, пожалуйста, материалы, скоро коллегия, совещание, заседание. Словно институт не отрасль обслуживает, а министерство. Наш собеседник — под козырек: «Сделаем!...» Потом, когда прошел, видно, слух, что журналисты глубоко копают, меня позвал к себе начальник главка. После долгой задушевной беседы — «Как семья?.. Где отдыхаете?» — мягко сказал: «Вы же понимаете — в министерстве теперь сокращение, нам же не на улицу людей выкидывать, институт очень нужен...» Правда, статья все-таки вышла. Через некоторое время ЦНИИЭТбумпром слили со ВНИПИЭИлеспромом...)

Говорят, погодите — идет реорганизация, но идет она, воспроизведя старую структуру, старые принципы руководства и подбора кадров. Иных просто не знают. Да и, похоже, не стремятся знать...

Заместитель начальника другого управления (тоже: «Только фамилии моей не называйте!»):

— Реорганизация будет хорошая. Сначала боялись, что сократят численность наполовину, в конце концов решили — всего на четверть. Обойдемся, наверное,

за счет вакансий и пенсионеров, тем более что из министерства на пенсию можно выйти в 58, а женщинам — в 53. Зато оставшимся зарплату сильно прибавят. (Прочитал в «Известиях»: «Во всех 14 действующих сегодня шведских министерствах не наберется и 2000 служащих, в основном экспертов».)

Это стало привычным лозунгом-призывом: «Надо выдвигать молодежь». Но когда доходило до утверждения, скажем, тридцатилетнего директора завода или сорокалетнего заместителя министра, начиналось: «Да молод он еще!» Вот и сложилось: средний возраст работающих в министерстве — под пятьдесят.

С трудом, но получил я невеликий список министерской «молодежи» (35—40 лет). Встретился с некоторыми. Ну, что вам сказать? Двенадцать лет я работаю в журналистике, со всякими людьми беседовал: с умными и не очень, веселыми, яркими, молчаниами и косноязычными... Но (простите меня, ребята!) скучнее этих министерских собеседников не видел. А ведь умные, красивые лица... Или они цепенели от моего диктофона и боялись выдать Страшную Министерскую Тайну?

— Работаем много, до импотенции...

— Радикулит, язва желудка в сорок лет — реорганизации ауклюются... Вроде на одном месте, а в трудовой книжке уже вкладыш...

— Чем занимаемся? Курируем стройки, готовим материалы коллегии, справки для руководства. Где дела обстоят плохо — докладываем не только в Госплан, но и в Совмин...

— Следим за выполнением плана... Наша задача — увязать потребности с имеющимися ресурсами.

— Удовлетворены ли вы работой?

— Да, все-таки удовлетворен...

— Я другой не знаю...

— Как вы считаете: вы приносите пользу?

— Кому-то надо и этим делом заниматься. Крутилось бы без нас? Вряд ли, где-то же должен быть центр...

— Все люди пользы приносят...

— О чём мечтаете?

— Сорок лет — какие наши годы!.. Все еще впереди!..

— Если бы вы могли повторить жизнь сначала, пришли бы в министерство?

— Да!

В министерстве внимательно следят за тем, что пишет ведомственная газета, и любую неточность с ходу опровергают. Но вот такую цифру никто не оспорил: за последнее время Минлеспром не выполнил 136 постановлений правительства. (Так и «увязывают» потребности с возможностями...)

И такое оспорить трудно: «Лесные ресурсы Финляндии лишь немногого превышают лесные ресурсы Карелии. Между тем маленькая Финляндия зарабатывает на экспорте лесных товаров вдвое больше, чем весь СССР. Лесные ресурсы ФРГ равны ресурсам Вологодской области. Но и Федеративная Республика выручает на лесном экспорте больше, чем вся наша лесная сверхдержава... Сложилась странная ситуация: чем дешевле товар, тем больше его доля в поставках СССР на мировой рынок».

Бывший замминистра:

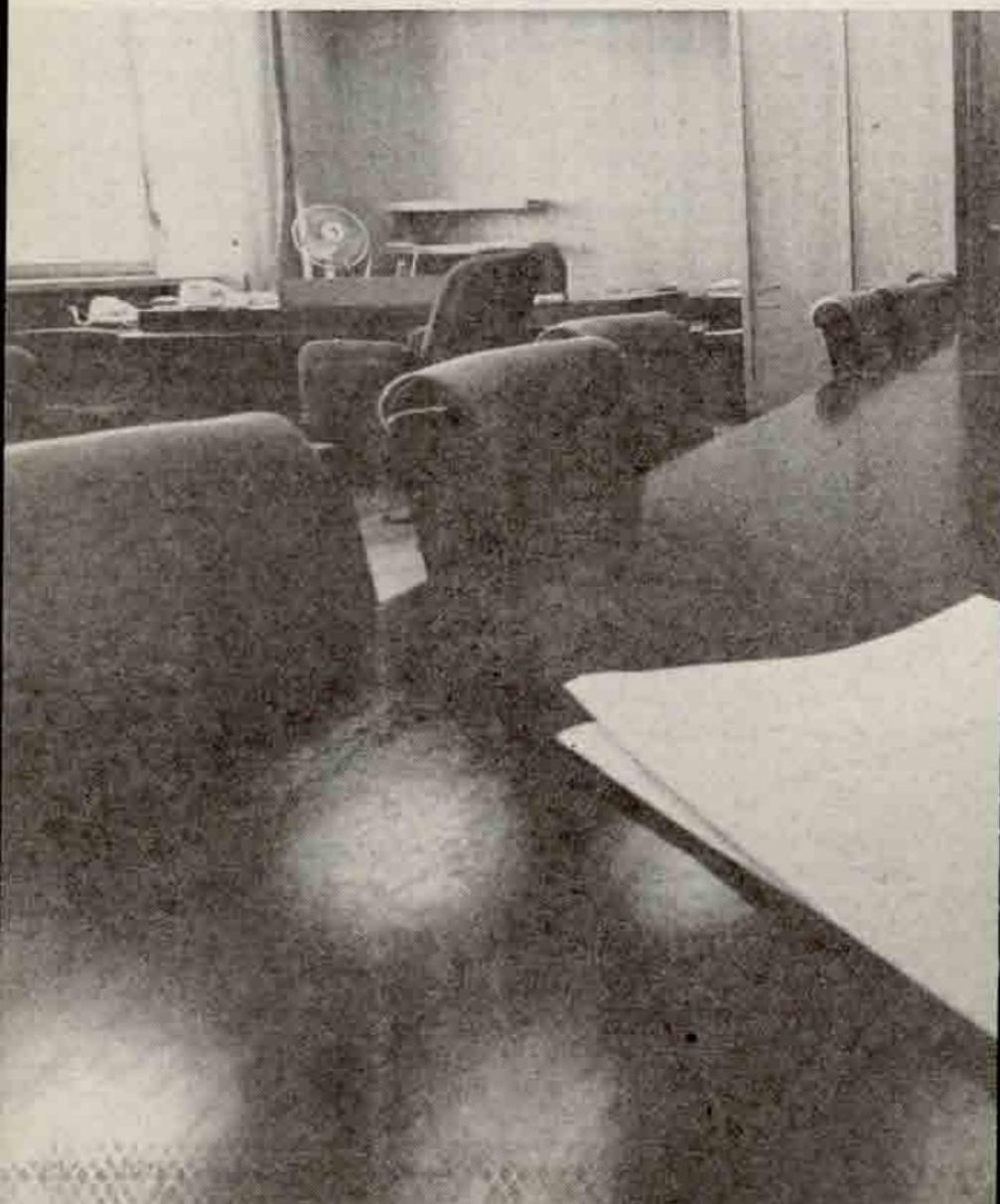
— Не за «кубиками» надо гнаться, не рубить все больше и больше, а развивать глубокую переработку древесины, увеличивать выпуск бумаги, целлюлозы, картона... А сейчас многие целлюлозно-бумажные предприятия подчинили лесозаготовителям... В 1968-м проблемами целлюлоз-

но-бумажной промышленности занимались в министерстве около тысячи человек, в 1981-м — две-сти, после нынешней реорганизации будут ведать пятьдесят человек... Хорошо? Сокращается аппарат?.. Но при нашей системе это значит — меньше внимания подотрасли. Лесозаготовки должны крутиться вокруг переработки, а не наоборот...

(Для справки: у нас идет в переработку половина заготавливаемой древесины, а в Швеции — 80—90 процентов, на некоторых предприятиях Японии — все сто.)

— А вообще, — продолжал мой собеседник, — отраслевые министерства всегда были для Совета Министров вроде бригад быстрого реагирования. Коли чего-то нет — «Голову оторву, если не сделаешь!».

(Тут бывший замминистра, такой интеллигентный, только что цитировавший Гоголя и Короленко,

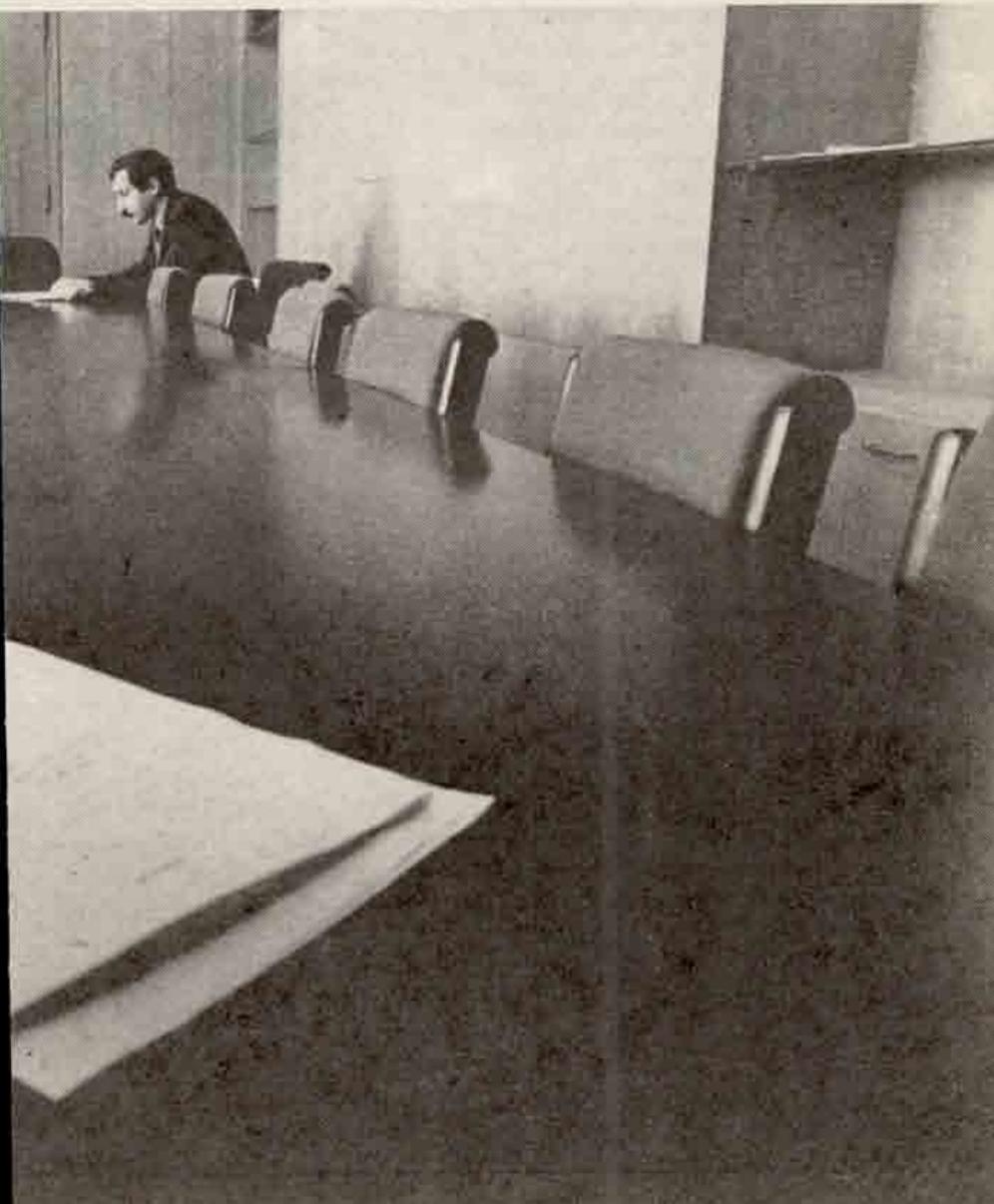


преобразился, огонь заблистал в его очах, и он при словах «Голову оторву!» столь грозно припечатал рукой по столешнице, что подумалось: а сколько раз ему самому приходилось вот так же грозить своим подчиненным?..)

Рассказывает главный лесовод Госкомприроды СССР Василий Иванович Свишлопецкий:

— Только в России по отчетам ежегодно бросают на лесосеках, сжигают, гноят 4,1 миллиона кубо-

метров древесины. Но учет этот лукавый. Его ведут лесоводы, а они обязаны лесозаготовителям тысячу «мелких услуг», от бензина до трактора, поэтому потери упорно занижают. На самом деле, по материалам аэрофотосъемки, бесцельно гибнет в семь—восемь раз больше леса! (По самым скромным подсчетам — 30 миллионов кубометров! Даже по минимальной цене на внешнем рынке — 600 миллионов золотых рублей!)



— Кроме того,— продолжал Свишкоцкий,— ежегодно в России не используется более 100 миллионов кубометров древесины лиственных пород, более 40 миллионов «кубиков» от рубок промежуточного пользования, более 20 миллионов кубов выделенного лимита лесосечного фонда, 10–15 миллионов кубометров древесины расчетной лесосеки в лесах первой группы, 40–50 миллионов кубов древесных отходов. Припишите сюда потери на лесосеках — получится в четыре раза больше, чем якобы существующий дефицит, о котором всюду кричат лесозаготовители! Кричат, выпрашивая дополнительные ресурсы...

Промолчал и добавил с горечью:

— Этак мы, великая лесная держава, вовсе без леса останемся!

Пишу о Министерстве лесной промышленности не потому, что оно «плохое», или, напротив, «хорошее» — оно, сдается мне, типичное. «Давай-давай-давай!» — на заседаниях, коллегиях, совещаниях это и сегодня типичный «миновский» стиль.

Врезалось в память, как с обидой в голосе говорил мне Андрей Тимофеевич Олейник, генеральный директор Котласского целлюлозно-бумажного комбината:

— Центр отнимает у нас около 90 процентов прибыли, или 150 миллионов ежегодно. Львиная их доля идет в централизованные фонды министерства, а оттуда — на дотации менее прибыльным предприятиям. Почти по всем видам продукции госзаказ установлен выше проектной мощности. Но стоит нам напрячься и хоть что-то сделать сверх госзаказа, попытаться распорядиться этим самим — из министерства идут звонки. «Отдайте — отдайте — отдайте...»

...А много ли возьмешь с голого?

# друг



**ИСХАК МАШБАШ,**

секретарь правления  
Союза писателей РСФСР,  
член Верховного Совета СССР

# БОЗ ОРУГ

...Две истории, два штриха к теме.

Сирийский город Хомс. Солнцем выжженное до белизны небо, такие же ослепительные улыбки. Знакомства, встречи, выступления. В общем, все по программе.

Не первый раз я за границей. Особо не удивляюсь. И роскошь магазинов, и кажущаяся нищета окраинных кварталов достаточно убедительно описаны в нашей прессе. Но вот что осталось за кадром: здесь, в тысячах километров от отчей земли, разговариваю с людьми по-адыгейски... Здесь знают, кто такие адыги.

...Вагонное купе. За окном пейзаж среднерусской полосы. На столике чай, нехитрая домашняя снедь. Попутчики мои — люди разных лет, специальностей, житейского опыта. Когда знакомились, моложавый подполковник, переспрашивая имя, вскинул брови:

— Исхак? Это кто же по национальности?

Я ответил: адыг, адыгеец.

— Адыг? А, это там, где удыгейцы...

Не захотел разубеждать с ходу. Пусть пока считает, что «там, где удыгейцы». Путь долгий, сумеем разобраться, где Север, где Юг, да и не вина подполковника в том, что стодвадцатипятисячный народ, издревле живущий в стране

нашей, в России, неизвестен ему. Да ему ли одному, подумалось.

Жили мы в дедушкином доме, почти в центре аула Шхашефиж. Здесь был большой фруктовый сад, ручная мельница с каменными жерновами, колодезный журавль. Дедушка — Бак Давнежев — человек уважаемый, он и в правлении колхоза, и в сельском Совете. Прекрасно говорил по-русски. Бабушка, родом из черкесского аула Бесленей, разговаривала на своем диалекте. Дед, бывало, сердился:

— Ты детей, внуков превратишь в бесленеевцев.

— Ну и что? — успокаивала бабушка. — Ты бжедуг, зять наш абадзех, пусть из мальчиков хоть один бесленеевец в шапке выйдет. — Она поворачивается ко мне, улыбаясь. — Ты ведь, сынок, бесленеевец, а? (В ауле нашем жили выходцы из разных адыгских племен — темиргоевцев, бжедугов, шапсугов, абадзехов, маюшевцев, хатукаяцев...)

Более двух миллионов адыгов рассеяно по миру. Конечно, не собрать их сейчас в круг, на шихаф, но не рвутся нити, издревле соединяющие нас. И прежде всего — язык. Нет нации без языка, как нет ее (да и быть не может) без общечеловеческих связей, без глубинной культуры, что хранится в духовном творческом взлете и на бытийном уровне.

В анатолийском селе, в Турции, я читал по-адыгски:

Живут адиги  
на земле людей —  
смеются солнцу,  
добрых ждут дождей.  
Детей растят  
и собирают в путь,  
благословляя:  
Человеком будь!

И меня понимали... Но вот обращаюсь к юному адигу здесь, в Майкопе, столице автономии, спрашиваю на адигейском языке: «Здоровы ли отец, мать?» Он смотрит на меня, как на инопланетянина, пожимая плечами: не понимаю.

Внук мой, Алим, до трех лет разговаривал по-адыгейски, а пошел в детский сад — все забыл. У нас нет детского журнала, детских книг, нет адигейской молодежной газеты... Уходят, как в песок, традиции, обычаи — из национального остается лишь ресторанная кухня.

По пальцам можно перечислить тех, кто сегодня пишет на адигейском языке. И это в Адыгейской автономной области...

Нас не изгоняли с родной земли (хотя собирались, стягивали войска НКВД, но бог миловал...). Нам повезло. Не уничтоженный физически, долгие годы унижался народ мой духовно — в жестких рамках административной системы, где язык и национальная культура «десятеричны», где остаточный принцип успешно формировал остаточную нравственность и весьма недостаточное самосознание.

Правда, сейчас ситуация меняется: краевое телевидение ведет передачи на адигейском языке (крохи, минуты, — да и за то как бы «спасибо» сказать должны...); выпускаем детское приложение «Созвездие» к альманаху «Дружба». (Но помогли ли нам край, рес-

публика? Хорошо, что не запретили! А бумагу и гонорар сами «изыскали», урезав «взрослый» альманах на два печатных листа.) Есть национальная (единственная) школа, школа-интернат для одаренных детей, где учатся и адиги, и русские. И это, что касается духовного возрождения нации, — все. С надеждой добавляю: пока что...

По российским меркам Адыгейская автономная область не велика — всего 430 тысяч жителей. Но продукции она дает более чем на полтора миллиарда рублей. Полмиллиона тонн зерна, 40 тысяч тонн мяса, 125 тысяч тонн молока выкладываем мы на общесоюзный обеденный стол. Адыгейская мебель, станки, редукторы, радиоприборы, робототехника хорошо известны и в Союзе, и за пределами его.

Но о какой самостоятельности можно говорить, если около 70 процентов того, что производят Адыгея, мы «разверсточно» (проще говоря, под нажимом сверху) отдаем на сторону. Из области уходит львиная доля мяса, сахара, консервов, кондитерских изделий... Выпускная отличную мебель, обувь, платья, костюмы, земляки мои вынуждены «доставать» это в Москве, Ленинграде, Минске, Киеве...

Иногда ловлю себя на мысли: это не хозяйствование, а театр абсурда. Неужто мы такие безголовые и безрукие, что не можем себя одеть и прокормить?

В том-то и дело, что можем, но...

Только в прошлом году Адыгея перечислила в союзный бюджет (беру округленно) 19 процентов дохода, в республиканский — 40, в краевой — 7, областному же досталось — аж 36 процентов! Вот вам и справедливость. Социальная. Экономическая. Политическая.

Двойное подчинение — сначала краю, а потом союзной республике — сковывает местную инициативу, тормозит процесс демократизации управления народным хозяйством.

Взаимоотношения края и области носят характер неравноправия. Край может наказать область, отчитать, а у области одни только обязательства, прав же никаких.

Закон РСФСР «Об Адыгейской автономной области» (от 3 декабря 1981 года) на республиканском и краевом уровне практически не соблюдается. Большинство министерств и ведомств СССР и РСФСР, принимая постановления о развитии тех или иных предприятий, расположенных на нашей территории, даже не считают нужным хотя бы согласовать их с облисполкомом Адыгеи.

...Здесь стоит вспомнить, как почти двадцать лет назад под гром оркестра и аплодисментов создали в Краснодарском крае искусственное море. Как и положено — досрочно, к дате. Как и всегда — «в интересах народа». Десятки тысяч гектаров плодороднейшего чернозема (уникального!) возделать такой не под силу), пойменные луга, выпасы канули в воду в самом буквальном смысле. Тысячи коренных адыгов остались без отчей земли. И до сих пор сотни семей не имеют своего угла...

При чем тут народ, его интересы? И это ли не страшный, предательский удар по нашей политике, в том числе и национальной?

Убежден, что Адыгея, да и другие автономные области, национальные округа по своему экономическому, интеллектуальному потенциальному могут быть республиками. По сути же, сегодня между административной областью и автономной нет различий. Меня мои земляки часто спрашивают: в чем

критерий, по какому признаку одному народу дано право создать свою республику, а другому — только область. Разве мы все не равны? Разве равноправие наций и народностей не гарантировано Конституцией СССР? Отвечать на такие вопросы нелегко...

История любого народа состоит из горьких и радостных слез, из разочарований и сбывающихся надежд. В далекие и мрачные времена адыги (а они, можно сказать, аборигены Северного Кавказа — их еще черкесами называли...) с душевной тревогой стояли у смутных перекрестков разных дорог, которые, кроме одной, вели к бесследному исчезновению. Этой одной дорогой была дорога к Москве.

В XVI веке, когда эмиссары турецкого султана склоняли (и не только их — все мусульманские народы Кавказа) перейти под длань Османской империи, один из старейшин наших, Джабег Казаноков, так ответствовал: «Я ездил по аулам и спрашивал всех встречных — и старцев, которые не в силах уже надеть бурку, и юнцов, гарцающих на палке, и таких, которые могут на всем скаку одним выстрелом сбить подкову с коня, и все они дали ответ — зачем нам желать дальнего чужеземца, когда у нас рядом добрый и смелый брат».

...Смотрю нынче на карту Союза. Юг России. Краснодарский край, благодатная Кубань и — малым извилистым вкраплением наша автономия. По сути, лишь обозначенная на карте да в государственных бумагах. На деле же — один из районов края. И весь наш суверенитет по сию пору щетиной упирается в надолбы крайисполкома и его планово-распределительные управлении, в желание крепить командный стиль руководства автономной областью.

Как тут не вспомнить Ленина, который считал, что в национальном вопросе лучше недосолить, чем пересолить.

А «пересол» ныне чувствуется во многом. И прежде всего в жесткой — я бы сказал — жестокой, хозяйственной зависимости области от края. Практически без его разрешения Адыгея не может предпринять сколь-нибудь серьезного шага в экономическом и социальном переустройстве.

Я за то, чтобы любая автономия напрямую входила в Российскую Федерацию. Ведь точно в таком положении — и хакасы, и алтайцы, и ненцы, и ханты, и манси, и чуки, и звенки... Уж тут верно: Юг и Север — рядышком!..

Национальный вопрос тонок, уязвим. Коль живем мы в одном государстве, то будем терпимы и уважительны друг к другу. Необходим душевный такт, в особенностях руководителям всяческих рангов. Это, что называется, в теории. А вот практика.

В 1988 году по решению Сочинского горисполкома, а вслед за ним властей Туапсе и Новороссийска было отмечено 150-летие этих городов. За точку отсчета взяли почему-то дату высадки десанта царских войск. В сущности, это день, положивший начало политике геноцида в период колониальной русско-кавказской войны прошлого века.

В партийные и советские органы края, в редакции газет пошли письма и телеграммы, суть которых сводилась к одному: почему избрана именно эта дата? Вот тут бы краевым органам и задуматься, еще раз вернуться к своему решению и обсудить его с учетом различных мнений и исторических документов. Ведь не о территориальных притязаниях адыгов шла речь, а о бережном отношении к исторической памяти. Разумеется, при-

шить националистический ярлык легче, чем попытаться вникнуть в историю и понять чувства народа.

...В Фергане и Тбилиси, Сумгаите и Кишиневе, Степанакерте и Узене, Баку и Ереване межнациональные эмоции, рознь обернулись трагедией, как мне кажется, и потому, что к людям не вышли со словом правды партийные и советские работники. Они были попросту беспомощны. И там, где звучал спокойный, миротворческий голос деятелей мусульманства, христианства, не было слышно слова партийного, государственного.

Да и нашего, писательского...

Честно скажу, и сам грешен нерешительностью. Не могу простить себе и сейчас, что когда в центре Майкопа увидел группу молодежи с национальным знаменем, не подошел к ребятам, не поговорил с ними, не попытался хотя бы узнать, что хотят они, какой дорогой идут?

Нет... В стороне стоял, хоть и сжалось сердце — под каким знаменем завтра промаршируют эти парни?..

Я люблю свой край, свой народ. Оттого с болью ощущаю бедственное положение нивхов и ненцев, манси и крымских татар, турков-месхетинцев и курдов... Одних в столыпинских вагонах вывезли с родной земли, у других землю эту буквально вырывают из-под ног (у всех на память «крик души» народного депутата Евдокии Гаер). Министерства и ведомства, руководствуясь якобы государственными интересами, отнимают у народов реки, пастища, охотничий угодья — сам смысл жизни.

Пришел ко мне недавно на прием старик курд.

— Нас гонят отовсюду. Мы не нужны Армении, Азербайджану...

И России мы не ко двору. Где же жить нам, уважаемый? Детей, внуков растить?..

Танки и бронетранспортеры на площадях и улицах Баку. Убийцы стреляют в спины солдат — детей наших; экстремистские банды врываются в казармы, разоружают милиционерские посты и отделения.

Люди в ужасе бегут с родной земли, из отчего дома... Вчера еще обнимавшие друг друга соседи — армяне и азербайджанцы — судорожно хватаются за ножи и охотничьи ружья. Что это — гражданская война? Да, война. И еще — это безумие, черная дыра — вместо совести и здравого смысла.

Сегодня мы все, независимо от национальности, — у черты, за которой эмоции оборачиваются истерией, плюрализм — хаосом, демократия — диктатурой. Так неужто путь к Истине, Добру, Справедливости — через кровь и страдания?

А ведь кто-то греет на этом страшном огне руки, прикрываясь святыми понятиями о национальном достоинстве, чести, долгах...

Бог мой, готов воскликнуть я, неверующий, коммунист, да вразуми же всех нас что делать?! Но любой божий посып несет в себе «золотое зерно»: ты — Человек, помоги себе сам!

Люди на площади. На их транспарантах начертано: самоопределение, самостоятельность.

Но самостоятельность — тяжкая ноша. Проще, когда отвечает за тебя некий «дядя». Когда он принимает решения, кормит, одевает... Но за это надо платить. Чем? Утратой памяти предков, родного языка, традиций, национального, да и человеческого достоинства — вот цена полуслытого спокойствия. Сейчас мы это только-только стали понимать...

#### ОТ РЕДАКЦИИ.

И факты и цифры, приведенные в статье, можно толковать по-разному. Действительно, Адыгея отдает в госбюджет немало прибыли, а на общесоюзный стол — продуктов. Ну, а сколько получает?..

Понимаем, что некоторые аргументы и посылы автора статьи спорны. Но болевая тема межнациональных отношений несет в себе столь мощный эмоциональный заряд, что мы не считали себя вправе выхолащивать его, редактируя. В конце концов речь идет о человеческих судьбах — как тут без эмоций?!

...Мы намерены продолжить этот разговор. И готовы представить журнальные страницы для различных мнений и доводов. Главное, чтобы эмоции не оборачивались раздражением, дискуссионный запал не захлестывал разум.

Александр Калужский  
родился в Иркутске, ему 30 лет.  
Окончил факультет  
иностранных языков  
Свердловского педагогического института,  
преподает английский  
на кафедре иностранных языков  
Уральского отделения АН СССР.  
Стихи его печатались  
в свердловских и иркутских  
периодических изданиях,  
в альманахе «Поззия».

## АЛЕКСАНДР КАЛУЖСКИЙ

### К ИРКУТСКУ

Губернский город, ставший областным,  
притворщик, лицедей — да что мне этот?  
что встречи наши? что твои приветы? —  
так нет же, еду... самым скоростным!..

Горбатый мост — направо — дальше, дальше  
по набережной — в светлый особняк,  
на огонек к прекрасной генеральше,  
где нынче гости, танцы и соглас!..

Где барышни — одна другой красивей,  
а господа — что пламя на ветру...  
И эта вера в светлый час России!..  
И это расставанье поутру...

=====  
Бессмертье... беспризорная трава...  
широкий воздух... выбранные сети...  
Когда зазеленеют острова,  
мне станет легче жить на белом свете.

Нисколько не заботясь о словах,—  
у рыбаков они одни и те же —  
я заживу себе на островах,  
сплетая годы в долгие мережи.

Трава скроет легкие следы,  
когда я обрету дорогу к дому  
и выучусь теченью у воды,  
живому, неизбывному, немому...

=====  
Мне еженощно снится:  
шумно топорща воздух,  
в дом залетают птицы,  
ищут в потемках гнезда,

кличут, терзают душу,  
мечутся у кровати...  
Плачет дитя в подушку  
в ситцевом интернате.

И не могу проснуться,  
вылететь к ним из детства,  
в перья лицом уткнуться,  
птичьим теплом согреться!..

Смолк материнский шорох —  
вновь не признали сходства.  
Входит луна сквозь шторы,  
круглая, как сиротство.

### УТРО

Мы не вместе —  
с судьбою не спорят —  
раскидала... и под ноги мне  
брошен берег холодного моря  
и звезда на тяжелой волне.

За спину песчаные гребни  
и сырчие ночи без сна —  
это свой нескончаемый требник  
надо мною листает сосна —

и зависли над пропастью корни:  
всюду зыбко —  
моли не моли —  
и живут только милостью горней,  
только памятью щедрой земли.

И к чему мне тянуться с судьбою,  
если голос,  
и зренье, и слух —  
порожденье любви и прибоя,  
этих нежных слепых повитух!

И достанет ли сил и терпенья  
всем воздать,  
не упав на кругу,  
за пространство, и свет,  
и прозренье,  
за тебя на другом берегу?

Весла задраны — лодка пьянеет  
от сетей, полных рыбы и трав.  
Может, утро и впрямь мудренее,  
и пространство не знает утрат?..

Сергей Милляев родился и живет  
в Усть-Каменогорске.  
Ему 31 год.  
Публиковался в местной печати,  
«Литературной газете»,  
был участником  
IX Всесоюзного совещания  
молодых писателей.

## СЕРГЕЙ МИЛЛЯЕВ

==  
Мне мало холода и хочется тепла  
В любом из нас — и хрупком, и беспечном,  
Коль и судьба, и участь так мала,  
И гибнут чувства в разуме конечном.

Что злоба нам попала на язык,  
Как сплетнице известие иль байка,  
Вина не наша, мальчик и старик,  
Угрюмый клин и прытких галок стайка.

Пусть драматург завертит наш конфликт  
И стукнет лбами, выписав героев,—  
У смертных, нас, душа сильней болит,  
Как у самоубийц или изгоев.

И мало холода на самый жаркий лоб,  
Когда к теплу относятся прохладно  
И на дрожжах растет в потьмах апломб,  
И быть собой неловко и накладно.

==  
И снега белизна, и синь небес белесых,  
И очертанья гор, и наста хруст сухой,—  
Я налегке в степи, и жизнь ценю в вопросах,  
Что задаю себе и полночью глухой.

Смогу ль отвыкнуть я от буквниц полумрака  
И тяжести в висках, бескрайняя страна,  
Где горизонт глубок, белым-бела бумага,  
А память ямщиков и в правнуках темна?

Смогу ль я веку лгать, что счастлив и спокоен,  
Коль каждый шаг к себе дается с болью — здесь,

Под сердцем,— и как все, я по лекалу скроен,  
А значит, и в степи двойник мой в стае есть.

Я тоже по ночам не вглядываюсь в темень,  
И вижу мир таким, что выть бы начал волк  
На ход луны и звезд, упервшись лапой в щебень  
Иль покерневший снег бескрайних тех дорог.

Мне ль время укорять, догадываясь все же,  
Что мир не затвердел, как в насте волчий след,  
А снег слепит глаза — как истина... похоже,  
Лишь потому, что ночь в привычке столько лет.

==

Лечу, лечу, лечу над темнотой...  
Горчит во рту, и ноги затекают,  
И день ушедший мечу запятой,  
Взглянув на циферблат незолотой,  
Где стрелки вновь бегут иль западают.

Газета смята свежая в руке,  
Но нет, не спится в небе по привычке,  
И кровь гудит melodней в виске  
От боли головной на волоске,  
Как в ночь грозы в последней электричке.

Что происходит, время, не пойму.  
Я не могу привыкнуть к перелетам,  
Чтоб сверху вниз разглядывать страну,  
Березы, храм, и на холме тюрьму  
К баракам заводским вполоборота.

Все, что внизу, под меченым крылом,  
Запало в сердце, душу сберегая,—  
Там, на земле, в сугробах отчий дом  
И вмерзший в берег старенький паром,  
Там счет другой и высота другая.

Скорей же, небо, сжался надо мной,  
Измучив память грустью невоспетой,—  
Рассвет подходит к звездам ледяной,  
Я скоро трап увижу приставной  
И затянусь морозной сигаретой.

# ЖЕНЩИНА

ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

54

— Мальчик, а мальчик!

Батраков не сразу понял, что это его. Хорош мальчик! Тридцать лет, ростом не обижен, плечами не беден, куртку купил пятьдесят второго размера, едва сошлась. В этой вот куртке он и сидел на лавке в скверике при станции, пристроив локоть на рюкзак. Рюкзак был большой, довольно тяжелый, но набит только нужным, а на нужное Батраков горба не жалел.

— Какой невежливый мальчик, а? Хоть бы пошевелился для приличия.

Тут уж обернулся. Две бабушки лет по двадцать пять — тридцать, одна симпатичная, другая никакая. У обеих через плечо одинаковые торбочки, вроде сумочек, только повместительней. Говорила симпатичная, а другая стояла, отвернув лицо, и вид у нее был то ли смущенный, то ли обиженный.

— Мальчик, а мальчик, где тут буфет?

— Буфет с утра будет, теперь все. В городе ресторан есть, там до одиннадцати, — ответил Батраков. Сдержанно ответил, потому что ситуацию понимал не до конца: то ли kleятся, то ли развлекаются. Вроде не местные, с вещичками, но, может, и местные, дурака валяют со скуки.

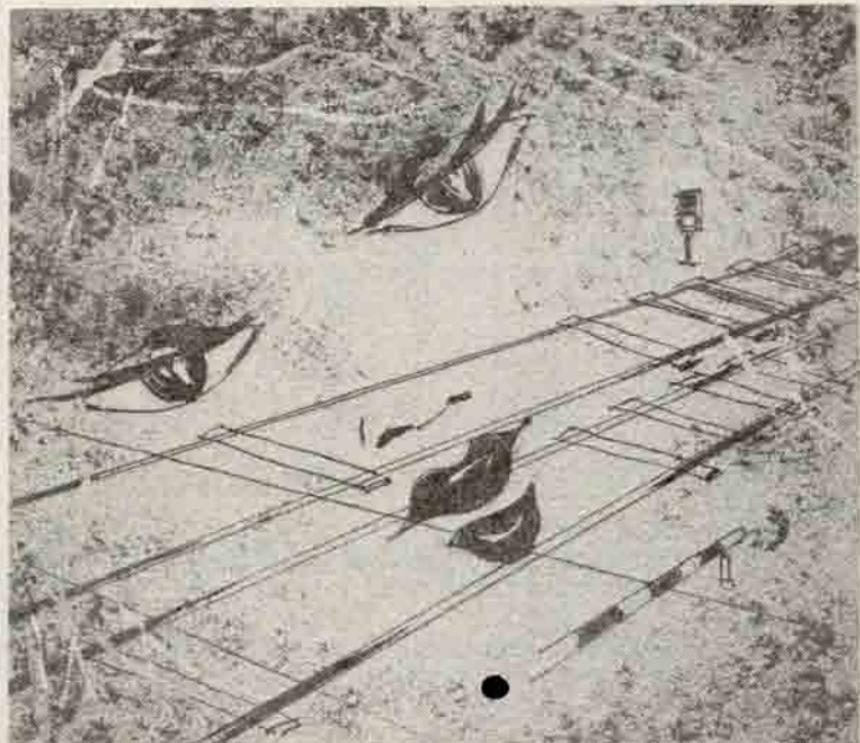
— Ресторан нам не подходит, — сказала симпатичная, — мы девушки небогатые, кроме души, золота нет. Алла Константиновна, подходит тебе ресторан?

Та просто шевельнула верхней губой.

— Вот видишь, Алле Константиновне ресторан не подходит.

— Голодные, что ли? — спросил напрямую Батраков.

# ДО ВОДЫ



55

Рисунки Ольги Мочаловой

— Какой догадливый мальчик! — похвалила симпатичная.

— Ладно,— сказал Батраков,— присаживайтесь.

Теперь он знал, что делать. Голодные девки, и все. А это с любым бывает.

— Особого нет, но малость перекусить, это найдется.

Он распустил узел на рюкзаке, достал хлеб, сырки, пяток огурцов, тяжелый и рыхлый кусок вареной колбасы. Хотел поужинать в Овражном, с чаем, в тепле и покое, ну да ладно...

— Ого! Запасливый мальчик.

— Просто люблю ни от кого не зависеть.— Вышло грубо, Батраков покраснел и исправился: — В смысле, от обстоятельств.

Симпатичная вздохнула:

— Зависеть, это и мы с Аллой Константиновной не любим. Не любим, а приходится. Хотя от такого хорошего мальчика зависеть даже приятно. Тебя как звать-то?

— Батраков Станислав.

— Стасик, значит? А чего — красиво. Правда, Алла Константиновна?

Подруга никак не отозвалась, и симпатичная решила за нее:

— Бог и Алла Константиновна согласна.

Девки ели аккуратно, не торопясь и не жадничая, последний огурец и кусочек колбасы деликатно оставили на бумажке. Батраков велел доедать, не прятать же назад.

— Поровну,— возразила симпатичная и умело поделила остаток трапезы на три дольки.

— А тебя как зовут? — запоздало спросил Батраков.

— Марина,— называлась симпатичная, чуть помедлив, будто прикидывала, стоит знакомиться или нет.

Батраков, пока ели, успел ее разглядеть. Ладная девка и знает, что ладная: все, что надо, на месте, брючки легкие, летние, розового цвета, сидят, как целлофан на сосиске, и почти так же просвечивают. Блондинка, а глаза черные, умные, верхняя губа вздернута, словно целоваться собралась. В красавицы не зачислишь, но выбирать из мужиков может. Лет сколько? Вот тут вопрос: может, двадцать пять, а может, и тридцать, жизнь потрепала, этого не спрячешь...

— Стасик, а ты не шофер?

— Механизатор.

— Жаль. А, Алла Константиновна? Такой хороший мальчик, а не шофер.

— Шофером тоже могу, полтора года работал. Но не здесь.

— А где?

— В Читинской области.

— Это далеко,— огорчилась симпатичная Марина,— это нам не годится. Алла Константиновна, годится тебе Читинская область?

Подруга что-то бормотнула, послушно и вяло подыгрывая, и Марина с удовольствием развернула руками:

— Вот видишь, Стасик, Алле Константиновне Читинская область не годится. Алле Константиновне годится Сухуми. На крайний случай, Сочи. Туда, случайно, не собираешься?

— Да пока что не зовут.

Сентябрь кончался, он был в этом году довольно теплым, но пасмурным, вот и сейчас за станцией, за путями, пустырем и лесом, похоже, набирал силенки дождь.

— Ночевать-то есть где? — спросил Батраков просто из сочувствия.

— Эта проблема у нас с Аллой Константиновной еще не решена,— без выражения отозвалась Марина.

Батраков помедлил. Но и девки медлили. И от этой дыры в разговоре вопрос получился как бы и не вопросом, а предложением. Выходило, что не девкам, а Батракову, мужчине, эту проблему положено решать. Мог бы, конечно, и отвертеться, увести разговор на другое, но жалко стало девок, бездомных и безденежных. Он знал этот городишко, маленький и грязный,— ну где им тут искать крышу на ночь, какому случайному мужику (чем — понятно) за ночлег платить?

— В Овражное еду,— сказал он,— не Сухуми, правда, но переночевать можно.

— А чего там, в Овражном? — с сомнением спросила Марина.

— Райцентр. Молокозавод строим. Полчаса поездом.

Та повернулась к подруге:

— Как, Алла Константиновна?

Алла Константиновна неожиданно прорезалась:

— А шоссе там есть?

— Как раз на шоссе и стоит. Можно на Курск, можно на Киев.

— Ну и нормально,— с готовностью подхватила Алла Константиновна,— чем здесь торчать...

Интонация у нее была просительная, что Марине, видимо, не понравилось.

— Все, едем. Овражное — звучит красиво, а Алла Константиновна у нас девушка романтическая, ей главное, чтобы красиво.

До поезда было часа полтора. Дождь и вправду пошел, они спрятались в вокзальчик, похожий на сарай, но с двумя колоннами у входа. Батраков взял три билета. Что дальше, загадывать не стал, он вообще не любил загадывать. Как будет, так и будет. Одному с двумя девками делать нечего, тем более Марина себе цену знает, сразу видно, а насчет себя Батраков не заблуждался. Урод, может и не урод, но планы лучше не строить. Давно еще, до армии, в училище механизации напротивился провожать незнакомую девчонку с дискотеки. Она вроде бы и согласилась, но всю дорогу раздраженно топырила губы, а когда он у дома хотел ее поцеловать, отпихнула его и бросила со злобой: «Да твоей мордой только гвозди забивать!» Потом, конечно, случалось всякое, с бабами Батраков теленком не был, но и фразу ту грубую не забывал...

В вокзальчике девки устроились на длинной лавке у стены, Батраков хотел сесть сбоку, но Марина подвинулась, оставив ему место в середке.

— Ну что, Алла Константиновна,— сказала она,— повезло нам со Стасиком?

— Повезло,— согласилась Алла Константиновна и покраснела.

Батраков все не мог привыкнуть, что он Стасик. Так его никогда не звали. В детстве был Славка, в школе и училище Батрак, в армии Батраков, после армии опять Батраков. И когда случалось думать о себе, даже в мыслях называл себя — Батраков. А теперь, выходит, перекрестили. Но не вылезать же с такой мелочью! Стасик, так Стасик.

Он спросил девок, откуда они. Марина ответила уклончиво — из-под Брянска. Уточнять Батраков не стал, но Марина, видно, сама устыдилась ненужной скрытности и начала объяснять:

— У нас там рабочий поселок, три тысячи народу, в общем-то деревня. Жить можно, но не Москва. Вот мы с Аллой Константиновной и намылились на майские праздники в Москву. Так до сих пор и празднуем.

Что ж, подумал Батраков, и так бывает, понять можно. Он сам рос в поселке, сперва любил его, потом возненавидел, бежал с другом в Тулу, в училище, начинать новую жизнь, а после оказалось, что новая жизнь всего лишь долгая увольнительная от старой, цветной лоскут, вшитый между двумя ее кусками. Училище, армия, три последующих, уже вольных года в Забайкалье, стройка под Минском, а кончилось тем же поселком, который собирался забыть навек, тем же кровом, под который сам себе клялся не возвращаться, материнским домом, до отвращения не своим. Всяко бывает...

— Родные не беспокоятся?

— Кому мы нужны? — сказала Марина.

В Овражном Батраков сразу пошел в общагу, девки со своими торбочками остались на ступеньках. Общага была хорошая, квартирного типа, два подъезда в пятиэтажке. Дежурила Люба, тетка за пятьдесят, въедливая, но не злая: обмануть ее было трудно, но уговорить можно.

— Люба, — попросил Батраков, — устрой двоих на ночь.

Люба вытянула шею к окну. Девки сидели как раз под лампочкой.

— К тебе, что ли?

— Зачем ко мне... Где место есть.

— Все равно у тебя окажутся, только лишние постели мять... Ладно, бери к себе. Но если что, гляди — я ничего не видела.

Батраков квартировал в двухкомнатной, на пять коек.

Но вот уже неделю квартира пустовала, парни принимали оборудование, ожидались дни через два. Девки свое дело знали: прокрались на третий этаж, как индейцы, ни скрипа, ни шороха. Просить у Любы чистые постели он не стал, и так спасибо, что пустила. Начал перед девками извиняться — только ладошками замахали, делов, мол. Марина тут же проявила находчивость: перевернула простыни, пододеяльник наизнанку, наволочки наизнанку... Алла Константиновна тоже даром не сидела, нашла веник и не быстро, но старательно подмела пол. Марина вызвалась постирать, но для первого раза это было бы слишком. Да и что стирать, почти все чистое. С этим у Батракова затруднений никогда не было, привык и умел, еще с училища.

Он поставил чайник. Девки тем временем попросились по-

мыться, то есть просилась Марина, а Алла Константиновна краснела и отводила взгляд. Мылись они весело, с визгом, дверь в ванную прикрыли неплотно, щель в три пальца словно бы приглашала заглянуть. Но Батраков пользоваться случаем не стал, вышло бы некрасиво, будто плату взимает за ночлег.

Из ванной Марина вышла в легком, совсем уже летнем сарафанчике, Алла Константиновна в том, в чем и прежде была, видно, лишних вещей с собой не брали. А осенью как же, подумал Батраков, на что рассчитывают?

Гости легли в комнате попроще, Батраков в другой. Вежливо пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.

Спать он не стал, после крепкого чая не хотелось, да и подозрение было, что не придется. И в самом деле не пришло.

Девки в соседней комнате шептались, пересмеивались: похоже, и Алла Константиновна умела смеяться. Потом заплели шаги, вошла Марина.

— Не спиши? — Она стояла у двери в ночной рубашке.

— Да нет.

— Вот и я чего-то. — Она подошла к постели и села на край. — Много тебе с нами хлопот?

— Разве это хлопоты!

— Сам виноват, напросился. Хороший мальчик, а хорошим трудно жить.

Батраков хотел возразить, но не успел: жесткая нежная ладонь уже гладила его по лицу. Прочее произошло само собой: зажмурившись, ткнулся губами в ласковые пальцы, руки потянулись к женщине, под рубашку, в тепло — и тут же, одним движением скинув ночную, Марина нырнула под одеяло. Грудь у груди, пальцы, причитания, стоны, жадность и дрожь ее вздернутой губы... Бог ты мой, бывает же так!

— Хорошо тебе? — ее голос.

— А то не видишь...

— И мне...

Она снова потянулась к нему, и на этот раз было еще лучше.

— Я уж спать собралась, — сказала она, — Алла Константиновна не велела. Иди, говорит, а то будет нехорошо.

— Почему нехорошо?

— А это она не объясняет, — Марина засмеялась, — она только команды дает.

— Подруга твоя?

— Самая закадыка. Надежная и верная, вроде тебя. Видишь, какая я: сама плохая, а люблю хороших, — она усмехнулась.

— Почему это ты плохая? — Он не то, чтобы протестовал, просто спрашивал.

— Потому что сама навязалась! — прошипела она и прижалась к нему небольшими мягкими грудями.

Спорить Батраков не стал, но и поверить не поверил. Ему, конечно, хотелось знать про нее побольше, но самое главное он и так знал. С плохими так здорово не бывает. Плохой другого человека так никогда не поймет...

Вообще-то Батраков в людях разбирался так себе, знал это за

собой и на всякий случай обычно бывал осторожен: не раз и не два напарывался, пока не привык, что собственным начальным оценкам доверять нельзя... Но сейчас осторожности не было — была лишь неутоляемая мужская тоска по женщине, лежащей рядом, и горячая солоноватая жалость к родному бедному телу, к торбочке, к сарафанчику, к свалившейся на пол мятым ночнухе, к губке, вздернутой будто для поцелуя, к постельной умелости и покорности, к готовности ему, сегодня лишь встреченному, охотно и щедро служить. Мотается по свету в своих розовых тонких брючатах, ну, а осень — тогда как?

— Ну, а осень? — спросил Батраков. — Тогда как?

Она неопределенно шевельнула теплым плечом.

— Планы есть?

Подумала немного.

— У Аллы Константиновны бабка в Курской области.

— Ну и что?

— У них там сахарный завод, наверное, можно устроиться.

— У тебя какая специальность?

Ответила, но не сразу:

— Вообще-то поваром работала...

— А там кем рассчитываешь?

— Как получится.

— А чего ты зимой наденешь?

Поколебавшись, она сказала:

— У нас знакомый есть под Сухуми... у Аллы Константиновны. Свой дом, сад. Ну, и насчет работы может похлопотать.

— Он ей это обещал?

— Не обещал, но...

— Да, — сказал Батраков, — один план лучше другого... У самой-то родные есть?

И вновь пауза.

— Есть. Но можно считать, что нету.

— Ладно, — сказал Батраков, — прорвемся... Значит, так. Курская бабка, сухумский знакомый — это все одно воображение. Короче — оставайся со мной.

— А я не с тобой, что ли? — шевельнула она губами и опять пошел разговор кожи с кожей, сладкий полет двух вмятых друг в друга тел...

Батраков отреагировал и заметил, что начало светлеть. Часа четыре, наверное.

— Так остаешься? — проговорил он безразлично, как о деле решенном и потому маловажном.

Но полет уже кончился, они вернулись, лежали теперь позрь, и она поинтересовалась с легкой настороженностью:

— А зачем это тебе?

— Значит, надо. — Он хотел сказать, что жалеет ее и любит, но чувствительные слова с языка не шли, и он объяснил, как получилось: — Такой бабы, как ты, у меня никогда не было.

— А много у тебя их было?

— Все мои, — в тон подначке ответил он. Но, убоявшись, что разговор сползет в шутейную болтовню, уточнил серьезно: — С десяток было.

— Богатый,— незло усмехнулась она.

Вроде бы, и ее полагалось спросить про то же, но Батраков не стал. Не хотел ничего знать — не боялся, просто нужды не было. Если жизнь вдвоем получится, пускай начнется с нуля, с сегодняшнего дня.

— А хороших сколько? — это уже без усмешки.

— По-своему, все ничего, — сказал он, — но по-настоящему — одна.

— Где же она?

— Умерла. Замерзла. Там, в Читинской области, как раз когда я шоферил.

Марина приподнялась на локте:

— Это как же?

— Пила она. При мне держалась, не давал. А тут уехал на два дня, она и отвела душу. В своем дворе замерзла, десять шагов до двери. Приехал утром, а она...

— С чего пила-то?

— Не знаю. Она на восемь лет старше была, мне уже пьющей досталась... Ты-то не пьешь?

Она ответила шуткой, видно, уже привычной:

— Мы с Аллой Константиновной как солдаты — не напраниваемся, но и не отказываемся.

— Теперь будешь отказываться, — не жестко, но твердо пообещал Батраков. И смягчил: — Ее потерял — тебя не потеряю.

Он понимал, что берет лишнее, что никаких прав на Марину у него пока что нет, может, никогда и не будет. Но об этой вещи хотел договориться сразу. Потому что самое жуткое, что он в своей жизни видел, было обнаженное стылого тело любимой женщины, никак не желающей оживать...

— Ты же меня не знаешь, — необидно укорила она.

— Что надо, знаю.

— Стасик, — сказала она. Вздохнула и повторила: — Стасик. На сей раз это ему не понравилось.

— Батраков моя фамилия, шесть специальностей, четыре сотни в месяц. Понадобится, могу и больше.

— А зачем тебе столько?

— Чтобы жить.

— Со мной, что ли?

— Наконец-то догадалась.

Марина полезла ласкаться:

— Вот дурачок! Замуж, что ли, зовешь?

Батракову бабские фортели надоели, и он сказал:

— Значит, так, пойдешь или нет?

— Да, конечно, пойду, — отозвалась Марина, — думаешь, таких дурачков много? Да я за тобой куда хощу пойду. Только не выгоняй до марта, дай перезимовать.

— Перезимуешь, — пообещал Батраков и решил: — Завтра у меня тут дела, послезавтра тоже. А в пятницу поедем домой.

— Куда — домой?

— Где теперь твой дом?

— Где мужик.

— Наконец-то стала соображать, — похвалил он и улыбнулся, — давай и дальше так.

— У меня ж ни паспорта, ни трудовой...

— Это не проблема. И вообще запомни — больше у нас с тобой проблем нет.

Это он, конечно, погорячился — проблемы были, много проблем. В том числе и одна, им упущенная.

— А как же с Аллой Константиновной? — спросила Марина. Он растерялся, но потом вспомнил:

— Так она же вроде к бабке собиралась.

— Она же со мной собиралась... Видишь, как некрасиво: гуляли вместе, а как мужик порядочный, так мне.

— Ну и она найдет, — предположил Батраков без большой уверенности.

— Где найдет! — отмахнулась Марина. — Стасики стаями не ходят.

Батраков развел руками:

— А чего же делать? Мусульманства у нас на любимой родине нет.

— Единственная моя настоящая подруга.

— Ну хочешь, я ей скажу?

— Не надо. Сама.

Она накинула ночнуху и пошла в соседнюю комнату. Не возвращалась долго, видно, проблема оказалась не из простых. Но Батраков о ней не думал, ему, как быстро выяснилось, и своих проблем хватало.

Самая первая — в пятницу предстояло везти Марину домой, а дома у Батракова, по сути, не было. Дом записан на мать, и хозяйка — мать. Конечно, и у него права есть, но не судиться же. Когда-то он мать очень любил, и отца любил, и дом, еще тот, старый, кособокий, но от этого тем более родной, с чуланом и низким чердаком, по которому можно было только ползать, даже ему, тогда семилетнему, негде было подняться в рост. Жили хорошо и весело, ходили с отцом по грибы, держали умную и хитрую дворнягу. Стасиком он никогда не был, а вот Славиком был — именно в те времена...

Потом отец уехал на полгода, с весны до зимы, вернулся гордый, с деньгами. Через неделю пришли плотники, двое, и вместе с отцом стали рядом с домом строить новый. Работали быстро, с каждым днем наращивая сруб. И мать помогала, и он, Славик, паклю подавал.

Тогда он не понял, почему все разом вдруг взорвалось и развалилось, потом уж объяснили добрые люди. А запомнилось — ночь, густой, злобный крик отца, звон, стук двери, странный, шепотом, вопль матери... Вроде утихло, и он уснул. Утром спросил, где мать. Отец сказал, что уехала в гости, а на сколько, будет видно.

Мать гостила долго, года четыре. Сперва изредка наведывалась, ловила у школы, целовала, кормила вкусным, но с собой не звала. Потом приехала толстая, сказала, что все лето будет занята. И больше не приезжала.

Дом отец все же достроил. Но жизнь не заладилась. Снова

жениться он не хотел, а временные мачехи не задерживались. Когда Батракову было двенадцать, отец разился — не удержал самосвал на скользкой февральской щоссейке.

Через неделю после похорон приехала мать. Соседки встретили ее жестко, бегали в собес, подучивали мальчишку, где и что говорить. Но оказалось, мать с отцом не разводилась, с новым своим жила без записи, так что домой вернулась вполне законно. Батраков, тогда уже не Славик, а Батрак, уперся, на вопросы важных теток из собеса не отвечал, бормотал, что ничего не знает: тетки были чужие, а мать своя. Он спросил ее, где новый ребенок. Ответила, не повезло, родила слабенького, так и не вышла, слава богу, сказала, ты есть, ласточка мой, Славик, сыночек. Он был рад, что мать вернулась, что соседки больше не будут хозяйничать в доме и жалеть.

Но вскоре оказалось, что пять лет слишком большой срок — оба отвыкли. Мать кормила куда вкусней, зато при отце была воля, а мать все допытывалась, куда, да с кем, да зачем, командовала, с кем дружить, с кем нет. Отец не ругал за рваное, вдвоем зашивали кое-как да еще смеялись. Мать же кричала, что она деньги не ворует и миллионов у нее нет, лезла драться. В отместку Батрак злобно ощетинился против первого же отчима. Мать пошла на принцип, но тут уже соседки горой встали за бедного сироту. Когда убегал в училище, была даже мстительная идея поджечь дом — слава богу, рука не поднялась. С годами и долгими отлучками все кое-как утряслось, но и по сию пору жили напряженно. И везти Марину к матери не хотелось. Однако иной возможности пока что не было...

Она пришла от Аллы Константиновны понуряя. Батраков не спал, ждал.

— Переживает девушка, — сказала Марина.

— А чего говорит?

— Ничего не говорит. Плачет. — Помолчала, повздыхала и спросила негромко: — Не устал?

— Да нет... С чего?

— Пойди, успокой.

Батраков удивился:

— А как я ее успокою?

Она хмыкнула с досадой:

— Не знаешь, как баб успокаивают?

Он растерялся.

— Ну, иди, говорю. Иди! Я же ее лучше знаю.

Батраков прошел в соседнюю комнату. Алла Константиновна лежала, укрывшись с головой. Он осторожно откинул угол одеяла.

— Ну что ты? — сказал он и сел на край койки. — Подумашь... — Погладил по щеке, щека была мокрая. — Да ладно, — уговаривал он, — брось...

Она не ответила, но подвинулась в койке.

Успокаивать Аллу Константиновну оказалось легко. Едва дотронулся до нее, задрожала. И чуть не каждую минуту ее начинала бить та же стонущая, судорожная дрожь.

Бедная баба, думал он, бедная баба...

День спустя компания распалась: Алла Константиновна поехала автобусом в Курск, а невесту Батраков повез к себе. К матери. Для уверенности так про себя и думал: невесту везу.

Дорога была не длинная, километров полтораста, но с пересадкой полдня ушло. Уже на станции, когда вышли, невеста вдруг сказала:

— Постой.

— Чего?

— Дело одно.

— Ну? — приготовился слушать Батраков, и что-то в нем трепыхнулось: как ни гладко складывалось, а все-таки ждал неприятности.

— Да ничего страшного,— улыбнувшись, успокоила она.— Просто сказать хотела... В общем, я не Марина, а Татьяна, так и зови.

— Ладно,— согласился он,— а Марина зачем?

— Партизанская кличка,— усмехнулась она.

Он спросил не сразу:

— А Татьяна — это точно?

Она привстала на цыпочки, тронула губами его щеку:

— Дурачок, сейчас-то мне зачем тебя обманывать?

— Танюшка, значит,— попробовал он новое имя на слух,— Танюшка...

Ничего звучало, красиво. Не хуже прежнего.

Мать встретила сухо, но вежливо,— и на том спасибо. Только в дверях, прежде чем впустить, переспросила, будто проверила:

— Татьяна, значит?

— Татьяна,— поторопился Батраков.

— Гостья вроде бы и сама не немая,— даже не повернулась к нему мать, и невеста повторила:

— Татьяна.

Под прямым и долгим материным взглядом она скользнула и напряглась.

Мать соблюла все приличия, провела в комнату, усадила и, даже не спросив, голодны ли с дороги, пошла накрывать на стол. Татьяна сунулась было помочь, но тут уж материн характер проявился, бросила со смыслом:

— Ни к чему, в одном доме двум хозяйствам только тесно.

Батраков тронул невесту за руку, успокаивая, но она, похоже, не обиделась, еще его утешила шепотом:

— Не переживай, мать — она мать и есть. Имеет право.

Накормила мать хорошо и посуду выставила гостевую. Супели молча, а за картошкой мать спросила:

— Ну, и кто же вы Станиславу будете? Сослуживица или как? И опять Батраков опередил Татьяну, но тут уж твердо:

— Невеста.

Мать как бы не слишком и удивилась:

— Невеста? Что ж, дело хорошее.

«Неужели примет?» — не верил Батраков.

Мать держалась так, будто и в самом деле приняла. К чаю варенье выставила в двух баночках, на выбор, потом допустила



3. «Смена» № 2.

мыть посуду, за телевизором усадила рядом с собой. Перед сном поинтересовалась нейтрально:

— Вам как стелить-то? Отдельно, вместе?

— Отдельно,— быстро ответила Татьяна.

— Дело хозяйственное,— сказала мать, понять ее можно было и так и эдак.

Как повернется дальше, Батраков не загадывал — ожидать можно было всего. Он и был готов ко всему.

Последние годы мать жила одна. Стойная, крепкая, густоволосая, она несла одиночество надменно, как дорогую шубу. Вечерами сидела у телевизора, усмехаясь и ничему не веря. Батраков кожей чувствовал, как копится в ней сухая жесткая злость. Бывали у них с матерью и примирения, разговоры. Но она тут же начинала учить и давить, он тут же упирался, и постепенно оба поняли, что лучше держаться на дистанции — спокойней.

Вот и теперь Батракова не слишком тревожило, как рассудит мать. Жизнь его, и важно, как рассудит он. А он свое решение уже принял...

Татьяне мать постелила на застекленной верандочке. Доставая белье, спросила походя:

— А вещи невесты где же?

— Там,— показала взглядом Татьяна и покраснела.

— Узелок, что ли?

— Сумка.

— Ну, ну,— сказала мать.

Утром она подала завтрак, сама же после прибрала, а потом обратилась к Татьине:

— Ну вот что, гостья дорогая. Невесты, на зиму глядя, в летнем не ходят. Ничего против вас не имею, как хотите, так и живите. Только я не слепая. Какую Станислав невесту выберет, это его дело. А вот мне в моем доме такая невестка не нужна.

— Подожди на улице,— велел Батраков Татьяне и пошел собирать чемодан.

— Насовсем, что ли? — усмехнулась мать.

— Зачем насовсем,— отозвался Батраков,— у меня дом есть.

— Дурак ты,— сказала мать,— думаешь, ты ей нужен? Ей зимовать негде.

Батраков молча толкнул дверь. Спорить он не собирался — мать переговорит. А вот как ему жить, это уж его дело.

Что с Татьянной надежно только до весны, это он и сам понимал. Но весна когда еще! До тепла полгода, а то и больше, целая жизнь. А там видно будет. Полгода срок большой, а люди друг к другу быстро привыкают. Сам он, когда впервые у Галин остался, тоже думал — случай, на одну ночь, выпала возможность, чего не попользоваться. А вышло... Если бы не пила она, да ладно, пусть бы пила, но при нем... Обидно, что далеко, даже на могилу так просто не сгоняешь. Да и кладбище там — слабая, гнилая мерзлота, летом вовсе болото, рыжая грязь, а кругом, как жженые спички, выгоревший низкорослый ельник. Западней, говорят, красота, корабельные сосны, а на их участке

природа попалась бедная. Что же поделать, красоты, как и колбасы, на всех не хватает. Зато народ подобрался хороший, и Галию, вон, встретил...

Батраков укладывал чемодан с легким сердцем, знал, что на улице не останется. И в самом деле, друг, школьный еще однокашник, пустил без проблем, поместив в чердачной комнатке с маленьким окном и широченной железной кроватью, небудной для сна, но сильно располагавшей к любви: в древнем матраце пружины держались лишь по краям, весь центр был продавлен, и отодвинуться друг от друга не было никакой возможности — они с Танюшкой тут же скатывались в середину, как в овраг.

В этой комнатушке под крышей Батраков и узнал наконец правду.

Разговор зашел случайно и как бы об ином. С вечера посыпался дождь и дробил, не переставая, часа четыре. Они лежали в своей колдбине, тело к телу, радуясь, что под крышей и вдвоем.

— Где-то там сейчас Алла Константиновна? — вздохнула вдруг Татьяна.

— А разве не у бабки? — удивился Батраков.

Она только усмехнулась.

— Но она же к бабке поехала! — глупо настаивал Батраков, уж очень хотелось думать, что и невезучая Алла Константиновна сейчас в тепле, под крышей, что не вышибнута в белый свет, как надоевший щенок, а пристроена в надежное место, к родному человеку, где и забота, и присмотр.

— Поехать-то поехала...

Фраза повисла, и Батраков понял, что по совести утешить себя нечем. Слаба, глупа, дотронешься — балдеет. Какой уж там присмотр. Такая девка себе не хозяйка.

— Кстати, ты зачем тогда меня к ней послала? — словно бы вспомнил Батраков — прежде спрашивать про это было неловко.

— Подруга все-таки, — сказала Татьяна, — хоть попрощались по-человечески.

— Давно с ней дружишь?

— Со школы, как на танцы стали ходить. С Аллой Константиновной не пропадешь, незаменимый человек для компаний: молчит и со всем согласна.

— Это у вас с ней первая была гастроль?

Вопрос вырвался для самого неожиданно, для Татьяны, ему показалось, тоже. Но она запнулась на секунду, не больше.

— Какой там первая... Первая у нас была лет в семнадцать. — Помолчала, вздохнула и проговорила, словно подчиняясь неизбежному: — Видишь, не надо было тебе меня сюда везти. Мать-то твоя права: добра не будет.

Ее понурая уверенность Батракову не понравилась — то мать за него решала, теперь эта взялась. Он спросил холодновато:

— Так. Ну и по какой, любопытно, причине не будет добра?

Она почувствовала его раздражение и смягчила тон:

— Ну, так мне кажется.

— А кажется-то — почему?

Татьяна подняла глаза:

— Понимаешь, я не хочу тебе врать.

— Ну и не ври.

— И чтоб мучился ты, не хочу. Я ведь баба грешная. Так что, если чего неприятно знать, лучше не спрашивай.

— Делов-то,— ответил Батраков,— а кто пынче святой? Ты много святых встречала?

— Вот ты,— сказала она и засмеялась,— да еще Алла Константиновна.

— Видишь,— поддержал он ее веселость своей,— такая страна здоровая, а святых только двое, остальные грешники. Короче, давай так: в субботу едем к тебе.

— Зачем?— встревожилась она.

— За паспортом, за трудовой.

— А паспорт на что?

— Кто же без паспорта распишет?

На этот раз Татьяна молчала долго. Потом спросила — голос был усталый:

— Тебе плохо со мной?

— Хорошо,— ответил он, удивляясь вопросу.

— А тогда чего еще надо? Что я, не твоя?

— Моя,— согласился он без особой уверенности.

— Вот и пользуйся, раз твоя. Чего еще надо?

Батраков объяснил:

— Я ж тебя люблю.

— Ну и я тебя. И слава богу. Чего на лишние хлопоты напрашиваться?

— Эти хлопоты не лишние,— твердо возразил он.

— Стасик,— сказала она с досадой,— хороший ты парень. Ты хороший, а я нет. Ну какая я тебе жена? Я плечевая. Искательница приключений. Дальний бой.

Этого он не понял:

— Какой еще дальний бой?

— Ну, говорят так. Дальнобойщица, дальний бой. Бабы, которые ездят на попутных. С шоферами дальних перевозок. Путешествуют. Вот как мы с Аллой Константиновной.

— Ну и что? — сказал Батраков. Его эта новость не слишком тронула. Может, потому, что, по сути, и новостью не была: не дурак же, догадывался о чем-то близком, не так уж и трудно было догадаться.

— Как — что? — слегка растерялась Татьяна.

— Так. Ну, ездила и ездила. То была одна жизнь, а теперь другая.

— А люди узнают, мать твоя узнает? — пыталась держаться за свое Татьяна, и это было совсем уж беспомощно. Кто станет узнавать, какие люди, кому они с Танюшкой нужны? Ее растерянность вызывала жалость и нежность, в эту минуту Батраков чувствовал себя с ней сильным, умным и ответственным, на все сто мужиком. И он не стал спорить, доказывать, он просто ладонью остановил фразу на ее губах и всем, чем мог, потянул ее к послушному, отзывчивому, любимому телу...

Потом сказал, как о решенном:

- Значит, в субботу едем.  
— Нельзя,— грустно улыбнулась она.  
— Почему?  
— Все равно нас с тобой не распишут.  
— Как так не распишут? — возмутился он.  
— Замужем я.— Помедлила и выговорила самое трудное:  
И дочь есть. Шесть лет. Небось уже в нулевку ходит.  
Тут уж растерялся Батраков:  
— Постой... Но если семья, как же ты уехала?  
— Уехала,— вздохнула она.  
— А муж чего?  
— Откуда же я знаю, чего? Я ж его с тех пор не видела.  
Уехала, и с концами... Нельзя мне туда, понимаешь?  
Он ничего не понимал.  
— Дочка, значит,— тупо сказал Батраков.— А зовут как?  
— Аленка.  
— Дочке нужна мать,— изрек он невпопад и сам почувствовал, как по-дурацки прозвучала эта сто раз слышанная, правильная, будто таблица умножения, фраза.  
— Да знаю, что нужна,— скривилась она,— но что делать-то?  
— Да, история,— встал в тупик Батраков. Потом вдруг вспомнил: — Стой, раз дочка в нулевке... Сколько же ты замужем?  
Она чуть задумалась:  
— Ну вот считай... Замуж вышла в девятнадцать, сейчас двадцать шесть... Выходит, семь лет.  
— А раз замужем, как же ездила?  
— Так и ездила.  
Этот ответ ничего не прояснил. Батраков не без труда повернулся к ней — в матрацной яме их глаза оказались почти что рядом.  
— А почему?  
— Нравилось,— спокойно сказала она.  
Батраков не чувствовал ни ревности, ни боли, ни презрительности, одно только желание понять. Рядом, грудь к груди, лежала женщина, любимая и своя, с ней все было ясно, но существовала еще и другая, чужая, с путаной нелепой судьбой, и ту, другую, надо было понять, чтобы своими прошлыми дуростями она не цепляла их с Танюшкой дальнейшую жизнь.  
— А первый раз чего уехала? — все допытывался он.  
Татьяна потянулась, погладила ладошкой его по груди и сказала мечтательно:  
— Первый раз было здорово... Я ведь девушка была впечатлительная, все мысли про любовь, первый мальчик в пятнадцать лет.  
— По-настоящему?  
— Не понарашке же,— усмехнулась она.— Хороший был мальчик. Студент. Их на картошку пригнали, три недели жили у нас. Он и сам-то ребенок был, восемнадцать лет, а мне таким взрослым казался...  
— Нравился?  
— Отпад! Во-первых, перед подругами: у них вани деревен-

ские, у меня студент. Потом язык у него был — часа по три молол без передыху! Ну, а я варежку разину — чего со мной хочешь, то и делай.

— Видела его после?

— Не. Три письма написала — ни звука. Потащилась к нему в город, а там, оказывается, и улицы такой нет.

— А ездить с чего начала?

— Мир хотелось повидать. Как раз школу кончила, стала с матерью на ферму ходить. Ну, думаю, еще время пройдет, замуж выйду, так не увижу, где чего творится. А тут случай подвернулся: рефрижераторщик один сманил. Поехали, говорит, прокатимся. А назад, говорю, как? А назад, говорит, попуткой. Так вот и загуляла в первый раз.

— А вдвоем как же ездили? — спросил Батраков. — Алла Константиновна в кузове, что ли?

Татьяна засмеялась:

— Ну что ты! Алла Константиновна — девушка нежная... Грузовики же обычно колоннами ходят. А у МАЗа кабина большая, втроем не тесно. Иногда в легковушки подсаживались.

— А ночью как, если втроем?

— Когда как. Тут уж хозяин барин, кого выберет. Но это не всегда. Иногда за так везут, для компании, одному-то в дороге скучно.

— А кормились как?

Батракова интересовало не это, другое — брала она деньги или нет?

Татьяна отмахнулась:

— Да ну... С голода у нас еще никто не умер. Ты вон на вокзале накормил, так? А с шоферами тем более. Они же в дороге что-то едят. Ну и как же ты думаешь: сам в рот, а тебе не даст? Едем же вместе, разговариваем, уже люди свои.

— Ну, а если, допустим, очень уж противно?

Она сразу поняла, о чём речь.

— Мы же смотрим, к кому подсесть. А если уж так вышло, Аллу Константиновну попросишь, она девушка отзывчивая, выручит.

— Денег никогда не предлагали? — все же не выдержал Батраков, почему-то именно это волновало его больше всего.

Татьяна мотнула головой:

— Не. Это проститутки за деньги стараются, а дальнобойщицы — так, за романтику. — Помолчала и добавила: — Не мучайся, родной. Ничего плохого не было, кроме того, что было. Самое плохое, что сейчас мне домой дороги нет.

— Раньше-то возвращалась.

— Раньше как-то сходило.

— Брала?

— А ты думал? Ну, не правду же говорить. Мужу-то! Он-то не виноват, чего ж ему жизнь укорачивать. Сейчас вот занесло, сама не знаю... Думала, недельку проветримся, а видишь...

— Как замуж вышла, это ты, пожалуй, зря, — мягко, но все же осудил Батраков.

Она опять вздохнула:

— Натура у меня такая. Со школы хотела поездить. Спортсменки, вон, ездят, стюардессы всякие даже в Париж летают.

— Ну и пошла бы на стюардессу.

— С моими-то отметками?.. Ладно, бог с ним. Хоть будет, что на старости вспомнить. Ты вот в Махачкале был?

— Нет.

— А я была. И в Киеве была, целые две недели. У художника одного застряла. Сперва рисовал меня, потом так. Старый уже был, а шебутной. Знаешь, как меня звал? Гелла. Мы с ним такую хохму устроили! Гостей называл, мне велел чай разносить. На подносе. Фартук повязал красивый, вышитый, с нагрудником. А под фартуком — ничего — голая. Поднос поставила, задом повернулась — ну, хохма! Ржачка у них была на полчаса.

Рассказывая, она увлеклась, заулыбалась.

Главное, денег не брала, думал Батраков, слава богу, баба порядочная. Конечно, окажись по-другому, тоже не смертный грех, человек не всегда себе хозяин. Но лучше, что не брала. Вон ведь как ее жизнь помотала, а порядочность сохранила...

— С дочкой надо решать, — сказал Батраков, — все равно когда-нибудь придется. Ведь не бросишь ты ее на веки вечные?

— Нет, конечно, — неуверенно и не сразу согласилась она. И попросила совсем уж жалко: — Давай чуть погодя, а?

Батраков подумал и решил:

— Ладно, еще неделю отдохни. А там поедем. Как раз и отгуль прихватчу.

Наутро, когда он спешил на работу, Татьяна пошла с ним и сама устроилась при складе, временно. Взяли без документов, на честное слово.

В тот же вечер после работы Батраков встретил мать. Увидел ее издали, и она увидела: остановилась посреди разбитого тротуарчика, рука в бок кренделем — ждала. Батраков подошел, тоже остановился. Бегать от матери он не собирался — честь велика.

— Ну, — спросила мать, — долго будешь сплетниц радовать? На это он отвечать не стал.

— Так и будешь по чужим чердакам Христа ради?

— Зачем? Домой вернусь.

— Один или с невестой?

— С женой.

— А меня не хочешь спросить, пущу или нет?

— Не, не хочу, — ответил Батраков, чувствуя, как собирается и твердеет в нем злость, — я ведь в свой дом вернусь.

— Это в какой же свой?

— Который отец выстроил.

— Этот, значит, твой. А мой где?

— Разберемся.

— Судиться будешь?

— Сперва въеду.

Отвечал он спокойно, но соображал уже мало что — вела злоба. Он редко закидывался, но теперь так случилось.

— Дурак ты, Славка, — сказала она, — нашел врага — родную мать. Да хоть завтра въезжай. Хочешь, комнату бери, хочешь,

две, оставилъ мнѣ вѣрандочку, и спасибо. О себѣ, что ли, забо-  
тусь?

Батраков молчал, злость быстро уходила, но что сказать, он не знал: настраивался на другое, на борьбу, на скандал, на долгое враждебное противостояние. А теперь, похоже, бороться было не с кем. Вот только надолго ли хватит материей покладистости?

— Может, она и хорошая баба,— задумчиво двинула бровями мать,— это тебе видней. А вот какие она прошла огни и воды, это ты у меня спроси. Это, сынок, не спрячешь. Ну, женишься, ладно, мешать не буду, пропишу. А дальше? Что дальше-то будет, думал?

— Ну, нравится она мне,— угрюмо объяснил Батраков.

Мать помедлила и развела ладони — смирилась с его решением:

— Раз так, приводи. Кстати, пошли, дам тебе чего теплое. А то погода, вон, видишь... Еще простынет, не дай бог, будет у тебя жена мало что веселая, так еще и хворая.

Батраков зашел с матерью домой, взял кофту, плащ и зонтик.

— Когда придет? — спросила мать.

— Спасибо, мам,— сказал он,— но пока не знаю. Подумать надо, как лучше. У тебя характер, у меня характер, у нее характер... Я вообще-то прикидывал — может, лучше уехать куда, новую жизнь начать на новом месте.

На дворе зашуршало тихонько, дождь — не дождь, не поймешь. В открытую форту слышно было, как рванул ветер. Перед окном, мазнув красноватым, косо пронеслись слабые, жухлые листья.

— Совсем осень,— сказала мать. Она вздохнула, медленно покивала, словно соглашаясь сама с собой, и села на табуретку в сенях.— Может, и прав ты. Поживи, присмотрись. Когда своим домом, виднее. Куда думаешь-то?

— Не знаю пока.— Он так и стоял с зонтиком под мышкой.

Она сидела сгорбившись, глаза будто в пыли, голос усталый:

— Дедов дом так и стоит заколочен. Пять лет уже. Если кто не спалил. Вот и поезжай... Она-то деревенская?

Батраков кивнул, но без большой уверенности. Была вроде деревенская, а какая сейчас, это видно будет.

— Земля там хорошая,— сказала мать,— усадьба, сад, если не посох.

Материна идея Батракову понравилась. Но он пока что не решился говорить за двоих. Поэтому осторожно пообещал...

— Обмозгуем...

Конец осени выпал не теплый, но сухой, дни стояли чистые, солнечные. Мать помогла приодеть Татьяну к зимним холодам, Батраков взял два отгула и поехал с невестой в ее родные места вызволять документы и дочку Аленку.

Татьянин родина лежала сразу за шоссеейкой, от станции километрах в полутора. Место было красивое, овражистое, с небольшим леском и выгнувшимся подковой озером. Но и здесь, как в родном поселке Батракова, казенно торчали торцами

к плоссейке несколько пятиэтажек — серыми неряшливыми панельями они лезли в глаза и давили окрестную красоту.

Пока шли, Татьяна мрачнела и мрачнела. За пятиэтажками, где начинались разномастные частные домики, остановилась и опустила свою торбочку на сухой травянистый бугорок.

— Здесь, что ли? — спросил Батраков.

Она молчала.

— Куда идти-то?

— Не могу, — сказала она.

— Ну, чего ты? Договорились ведь.

— Стыдно. Боюсь.

— Все равно же надо.

— Чего я ей скажу?

— А чего говорить? Войдем, и все. Сами увидят.

— Ага! — бросила она раздраженно. — Привет, мамаша добрая, давно не видались. Так, что ли?

— Ну, я сам скажу. Пошли.

— Чего ты скажешь?

— Что надо, то и скажу.

— А к ним, — крикнула она и мотнула головой куда-то в сторону, — к ним не пойду! Вот убивай — не пойду!

Туда сам схожу, там ты и не нужна, — твердо, как мог, пообещал Батраков, но решимости голосу все равно не хватило. Там дело предстояло тяжелое, тяжелое и грязное. Но и избежать его никак не получалось: дочку Аленку надо было выручать.

Дверь была не заперта, и стучать не стали — Татьяна, правда, держалась сзади, но Батраков рассудил, что при всех детях она не в чужой, а в родной дом возвращается. В родную же дверь не стучат. Татьянина мать, к двери спиной, стирала, таз с мыльной водой стоял на табуретке. На улице было еще довольно светло, но в доме сумеречно, и громоздкий старый телевизор выделялся серым мерцающим пятном: полный человек в четверть голоса рассказывал про сельское хозяйство.

Батраков кашлянул. Мать не услыхала. Как ее зовут, он в зашоре не поинтересовался, а теперь было неловко. Но делать нечего, наклонился к Татьяне и спросил шепотом.

Та молчала, как в столбнике. А вот мать на шепот обернулась.

Мать смотрела на дочь, дочь на мать. И — ни слова. Потом женщина вытерла руки о передник и спиной привалилась к шкафу. Ростом она была пониже Татьяны, но из-за тяжелой фигуры и больших, с грубыми пальцами, кистей казалась крупнее дочери.

Батраков вспомнил обещанное.

— Вот, мамаша, в гости приехали, — сказал он шутливо, — принимайте.

Женщина все молчала. На вид ей было к шестидесяти, а сколько на деле, Батраков не знал. И не мог понять, похожи они с Татьяной или нет.

— Загулялись немного, зато теперь... — продолжил он в том же тоне.

Но тут женщина нетвердо пошла вперед. Сейчас заплачет,

испугался Батраков. Но она не заплакала. Она подошла к Татьяне и открытой ладонью с силой хлестнула ее по лицу.

— Сволочь паскудная,— крикнула мать,— сука!

Батраков от неожиданности тоже закричал:

— Да вы что, мамаша?!

И заговорил, торопясь, чтобы мать не успела снова замахнуться.

— Мы же по-хорошему, женимся, за паспортом приехали, расписаться...

— Сука,— сказала мать уже спокойно, и это вышло еще страшней,— я ведь уже в розыск подала, фотку распечатали. Отец все забросил, в область ездил, сейчас, вон, в Москве. Думали, лежит где в болоте убитая, хоть бы тело отдали похоронить. Ох, сука...

— Мам,— забормотала Татьяна,— ну что ты, мам...

— Со двора чтоб не вылезила! — крикнула та.— Что людям скажу? Сестру бы хоть пожалела, ей еще замуж выходить. Уж лучше бы правда тебя кто-нибудь...

Татьяна стояла, опустив голову, растерянная и жалкая, Батраков и не думал, что она может быть такой. Он не выдержал, вступил:

— Зря вы, мамаша. Ну, ошиблась, каждый может ошибиться. А теперь все будет по-другому.

Мать словно впервые заметила его, оглядела медленно и бросила дочери:

— Нашла блаженного...

Потом она все же отошла, чуть помягчела, и стало видно, что не так уж она и стара, лет сорок пять, наверное. Молча накрыла на стол, нарезала хлеба, сала. Но видно было, что Татьяну не простила и прощать не собирается: миски с толченой картошкой ставила рывком, не глядя, словно собакам швыряла. И сама за стол не села.

Батраков, привыкший ко многому в жизни, в том числе и к женской злости, вежливо благодарил, ел спокойно и все хвалил. Кончилось тем, что мать все же поинтересовалась:

— Ну, а ты кто ж такой будешь?

— У меня, мамаша, шесть специальностей,— ответил Батраков и рассказал про все шесть. Женщина вздохнула и посмотрела на него с жалостью, что Батракова не обидело и не огорчило: не важно, как смотрят, важно, что от Татьяны отвлеклась.

Пришла младшая Татьянинна сестра, удивилась, даже обрадовалась, но обнялась сдержанно и малость презрительно — подставила для поцелуя скулу. Батракова она восприняла спокойно, спрашивать ни о чем не стала, но, уходя в другую комнату, пренебрежительно хмыкнула в дверях.

Татьянинна мать, как и его собственная в первый вечер, спросила, вместе им стелить или отдельно, и Батраков тоже сказал, что отдельно. И опять в глазах женщины шевельнулась жалость:

— Дурак ты, парень. Пользовался бы тем, что есть, другого от нее все равно не дождешься.

Татьяна сидела, будто разговор не о ней.

Ему постелили в теплой пристройке. Ночью невеста пробралась к нему, скользнула под старое, в прорехах, ватное одеяло. Батраков стал ее успокаивать, уговаривал не обижаться на мать. Татьяна тихо засмеялась и зашептала ему в ухо:

— Стасик, радость моя, да не бери в голову. Думаешь, переживаю? Ну, дала по морде, выполнила родительский долг. Первый раз, что ли? Я ведь для них давно отрезанный ломоть, чем я дальше, тем матери лучше.

— Мать все же,— возразил Батраков,— любит тебя.

Татьяна усмехнулась и сказала убежденно:

— Меня в этой жизни любить некому. Вот если только ты не откажешься.

— Я-то не откажусь,— заверил он. Подумал, что самому спрашивать не надо, но все же спросил: — А ты?

— Что я, совсем уж дура?

Прижалась к нему, заласкала, места нецелованного не оставила и неслышно прокралась назад в дом.

Вытащу, думал Батраков, из всего вытащу. Ведь хороший человек, ну как они все не понимают? Ну, надурила, да. Зато человек какой. Где еще такую найдешь? За всю его жизнь только две таких и было. Галия да она.

Опять вспомнился маленький поселок при новой станции, весь из сборных домов, голое, жалкое, крохотное кладбище — могила Галии была второй. Цементную плиту положили зимой, весной она ушла в грязь, потом пришло сверху класть другую. Съездить бы туда, обязательно надо, ведь ни разу потом не был...

Татьяна послушалась мать, со двора не выходила. Но какие уж тайны в деревне! Когда Батраков шел улицей к Татьяниному мужу, встречные оглядывались.

У калитки Батраков заколебался. Открыть и войти? Нельзя, не гость. Стучать? Кто услышит? На всякий случай он все же потряс калитку — тут же равнодушно и кратко взляла собака, словно звонок проребезжал. Батраков стоял у забора, ждал.

Минуты через две из дома вышла женщина в годах — свекровь, наверное. До калитки она не дошла, остановилась на середине тропки и молча оглядела Батракова, после чего повернулась и снова ушла в дом.

Ладно хоть увидела, подумал он.

Еще через несколько минут выпел парень лет тридцати. Он, наверное, кто же еще. Муж.

Парень подошел к калитке и молча, как женщина до него, уставился на Батракова. Был он без пальто и, без шапки, в толстом, домашней вязки, свитере. В руке гнутый железный прут, каким мальчишки зимой гоняют мяч или консервную банку. Драться, что ли, собирается?

Драться с парнем было нельзя, это Батраков понял сразу. Уж больно силы не равны: щупленький, росточком чуть выше Татьяны, и как драться, если за этим недобро молчащим парнем вся справедливость? Ведь не он увел у Батракова жену, Батраков у него. А хочет увести еще и дочку.

Ладно, усмехнулся про себя Батраков, до смерти не убьет.

- Ну? — сказал парень.  
— Да вот разговор есть,— объяснил Батраков.  
— Слушаю.  
— Батраков моя фамилия.  
— Очень приятно.— Насмешки в ответе не было, видно, вежливая фраза вылетела автоматом, и от этого лицо парня стало еще напряженней и злей.  
— Так уж вышло, что мы с Татьянной познакомились... не здесь, конечно, там, у нас,— Батракову казалось важным это уточнить, чтобы парню было не так обидно,— ну и вот... Извините, конечно... Что замужем она, узнал поздно... Получилось, вот...  
— Ну, допустим,— выговорил парень.  
— Вот и хотелось бы... по-человечески... раз уж получилось...  
— Чего надо? — резко оборвал парень. Он так и не открыл калитку.  
— Зачем злишься-то? — попытался урезонить его Батраков.— Я же твоего ничего не украл, я ведь...  
— Чего надо?! — уже в полный голос заорал тот.  
Это было некрасиво. Батраков сухо сказал:  
— Во-первых, паспорт.  
— Допустим.— Парень загнулся пальцем на руке, свободной от прута.  
— Трудовая.  
Парень загнулся второй пальцем.  
— Ну и...— Батраков замялся, но произнести пришлось:— Еще вопрос насчет ребенка.  
— Что за вопрос?  
— Если б мальчик, и речи бы не было,— заверил Батраков,— но у вас же девочка. А дочке нужна мать.  
Парень загнулся третий пальцем.  
— Все?  
— Все,— согласился Батраков.  
Парень покивал, прут в его руке подрагивал в такт.  
— Значит, так,— сказал он,— паспортом своим и трудовой пусть хоть подтирается. А про дочку можешь ей передать: сдохнет, а девку не увидит.  
— Зачем же так? — спросил Батраков с укором.— Все понимаю, виновата. Но дочке нужна же мать?  
— Мать нужна,— едко подтвердил парень,— мать всегда нужна. Вот сука — не нужна!  
— Ругаться-то зачем?  
— А потому что сука — не нужна!  
— Дочка же вырастет,— возразил Батраков, не обращая внимания на ругань,— все равно спросит... Ну как девчонке без матери?  
— Спросит,— согласился парень,— это уж точно — спросит! Он словно угрожал кому-то. Потом вдруг быстро пошел в дом. А вернулся с девочкой.  
Пока они шли от дома, Батраков жадно разглядывал Алленку, Курносенскую, волосенки светлые из-под смешного круглого картизика. Парень держал ее за руку, оттого Алленка скособочилась,

одно плечишко вылезло, воротник теплой куртки налез на ухо.

Пока что это был чужой ребенок — но частично уже и его. Дочь. Старшая. До времени поживет здесь, так для нее лучше. Ну, а как они с Татьяной обустроятся... Батраков знал себя и знал, что Аленку станет любить, как свою, больше, чем свою, поскольку так будет справедливее. И одевать ее станет, как положено, и обидеть никому не даст, даже Татьяне, потому что ребенка надо воспитывать требовательно, но не обижая.

Он улыбнулся девочке сквозь штакетник и спросил, как ее зовут. Девочка не ответила. Стесняется, подумал он.

Парень отпустил Аленкину руку и сказал хмуро:

— Вон дядя за тобой пришел — пойдешь к нему жить?

— Не-а! — звонко отозвалась девочка, глазенки азартно заблестели. Батраков улыбнулся ей, показывая, что понимает игру.

— А то гляди, если хочешь, — все так же угрюмо предложил парень.

Девочка присела и во всю мочь, подвизгивая, крикнула:

— Не-а!

— Ну? — спросил парень Батракова.

— Так я что, я ж к ней от матери.

— От матери он, поняла? — с нажимом разъяснил девочке парень. — Может, к матери хочешь?

— Не хочу! — уже зло крикнула девочка. — Не хочу к суке!

Ротик у Аленки был маленький, нежный. Батраков, совсем растерявшись, забормотал:

— Ты что, разве можно так? Про мать? Мать же!

— Сука! — с вызовом повторила девочка.

— Ладно, — покорился Батраков, — твоё дело расти. Вот вырастешь...

— Домой! — скомандовал парень, и девочка, ткнув его пальцем в рукав, будто в догонялки играла, побежала к дому. Парень повернулся к Батракову: — Еще вопросы будут?

— Маленькая пока, — объяснил Батраков то ли ему, то ли себе, и сердце его сдавилось от жалости к Татьяне.

— Вот, значит, трудовая, — сказал парень и просунул серую книжечку между штакетинами, — вот паспорт...

Батраков взял трудовую, другой рукой потянулся за паспортом. Но, оказалось, рановато. Парень паспорт не отдал, раскрыл и стал глядеть на карточку. Поглядел, покачал головой, странно дернул губами и вдруг, скривившись, плонул на фотографию и щвырнул паспорт через забор.

Батраков посмотрел на малого и крутнул пальцем у виска. Потом нагнулся, вытер карточку о рукав и пошел.

— Эй! — крикнули сзади. Батраков обернулся. Парень все стоял за калиткой.

— Ты что, жениться думаешь? — спросил он.

— Как положено, — с достоинством ответил Батраков.

Тот посмотрел почти что с сочувствием:

— Знаешь что, мужик? Ноги есть? Вот и беги подальше, пока живой.

— Обмозгуем, — ответил Батраков, чтобы лишний раз не обижать человека.

Отойдя, раскрыл паспорт. На давней карточке у юной Танюшки была нежная шея и глаза такие, словно вот-вот уйдет в любовный туман. Красивая карточка. Плевать-то на нее зачем?

...Татьяне он сказал, что Аленку не показали.

В понедельник пришлось съездить в район, в милицию. Батраков взял Татьянин паспорт, вышел на шоссе и голоснул. Близко было, минут двадцать.

В комнате с железным шкафом полный, с сонными глазами капитан спросил Батракова:

— А месяц назад сообщить было нельзя?

— Да я сам... — начал было Батраков, но капитан уже потерял к нему интерес. Вызвал небольшого ладного лейтенантика и приказал:

— Поедешь с гражданином, провериши. «Москвича» возьми. На обратном пути стоянешь в совхоз. Гуляй!

Лейтенантчик оказался парнем компанейским и дорогой прозвищем Батракова:

— Главное, листовку отпечатали. Деньги трачены. И теперь кому-то будет втык. Другой на шлюшку тратится, так хоть чего-то с этого имеет. А тут за что страдать?

Он запнулся, покосился на попутчика и спросил:

— А ты ей кто?

— Да что-то вроде мужа.

Лейтенант присвистнул:

— Вот оно как! Тогда извиняюсь. Тогда, выходит, не шлюшка, а самая передовая в мире советская женщина. Они теперь все передовые, где бы одну отсталую найти...

Батраков спросил, будет ли теперь Татьяне что-нибудь за эту историю. Лейтенантчик, сняв пальцы с руля, махнул рукой:

— Чего с ней сделаешь? У нас государство гуманное. Если ты сознательный гражданин, дашь ей метлой по заднице. А нет — тогда придется ограничиться моральным порицанием. Веришь в моральное порицание?

Батраков сказал, что не верит.

— Зря, — осудил лейтенантчик, — надо верить. Потому что больше не во что.

До деревни домчали духом. Лейтенантчик взял Татьянин паспорт и, глядя на нее, все сверил: личность, паспортные данные и прописку. Потом спросил:

— Сколько в общей сложности отсутствовали?

Татьяна сказала, что с мая.

— Полгода, значит, — подсчитал лейтенант, — срок! Ну, и чем же вы эти полгода занимались?

Она промолчала.

— А телеграмму домой нельзя было дать, чтобы людей зря не беспокоить?

И этот вопрос остался без ответа.

— Ясно, — сказал лейтенант.

Батраков проводил его к машине. Лейтенантчик открыл дверь

цу, оправил шинель, потопал ботинками, стряхивая мусор, и проговорил убежденно:

— Хлебнешь ты с ней, парень.

Батраков вернулся в дом. Татьяна понуро, мешком, сидела на табуретке. Она сразу же спросила:

— Чего Аленка говорила?

Он растерялся:

— Да я же...

— Не ври, не надо,— попросила Татьяна,— тут же деревня, от соседей что спрячешь? Да и свекруха уже разнесла.

Батраков попытался успокоить:

— Она же маленькая, ребенок. У них это как игра, сегодня одно, завтра другое. Девчушка — прямо копия твоя...

Она подняла взгляд:

— Стасик, родненький, давай уедем? Прямо сейчас, а? Пока мать не пришла.

Голос был тихий, но глаза такие измученные, что Батраков испугался, что еще слово, и она сорвется, закричит, завоет, забьется — видно, до края дошло.

— Ну давай,— согласился он сразу,— давай. Куда?

— Да хоть куда. Словим попутку, и по трассе.— Она улыбнулась.— На пару. Как Аллой Константиновной. Давай, а?

— Меня шофера кормить не станут.

— Ну, не могу я тут!

Это она почти крикнула.

— Ладно,— решил Батраков,— поехали. Страна большая, найдем место.

По сути дела, в большой стране место для них с Татьяной было только одно, Батраков его и держал в голове при том разговоре. Сам он был готов начать хоть с нуля, с общаги, а вот Танюшка могла не выдержать. Тут он мечтаний не строил, а рисковать не хотел. Не хотел рисковать Татьяной.

Ползимы пришлось кантоваться в родительском доме. Обошлось: бывало всякое, но глотки друг другу не рвали. Мать вроде бы подобрела и приладилась вечерами играть с Татьяной в дурака. А в начале февраля собрались, Батраков снял с книжки все свои шестьсот рэ, и поехали в Крым.

Дедов дом, щитовой, мазаный, а в былье времена и беленый, располагался посреди довольно большого поселка, некрасивого, но аккуратного, поставленного быстро, по линейке, лет тридцать назад, когда среди прочих принялись осваивать и крымскую целину. Была степь, стал колхоз. До райцентра восемнадцать километров, до моря сто десять. Хорошее место, в самый раз.

В первый же день, огляделвшись, Батраков понял, что с соседями повезло: дом так и стоял заколоченный, ни доски не отодрано, ни стекла не выбито. Забор из сетки поржавел и местами прилег, но тут забота предвиделась небольшая. Главное, ничего не испохабили и не растащили — похоже, народ вокруг обитал трудолюбивый, из тех, кому заработать проще, чем украдь.

Что Батракова особенно порадовало — как повела себя Татьяна. Пока он освобождал окна и примеривался к забору, она

обследовала сарайку, разобралась в чуланчике и взялась за полы. Потом так споро разложила и развесила барахлишко, что и трех часов не прошло, а брошенный дом стал жилым. И пахло в нем не подвалом, а мытым деревом. И ужинали на чистом полотенце. И спать легли в чистую постель. Батраков сперва удивился, а потом вспомнил ухоженный сарай при бывшем ее жилье, дорожку с песочком, угрююму свекровь и подумал, что домашнюю школу Танюшка прошла хорошую. Повезло ему с хо-зяйкой. И тут повезло.

Батраков устроился в колхозе механизатором, Татьяна пошла в школьную столовую. На двоих вышли приличные деньги, плюс ей на еду почти не тратиться, плюс у него... да мало ли какие у механизатора в деревне плюсы? Там починить, там подбрести — лишняя сотня в месяц сама набегала. А еще ведь усадьба! Батраков выписал в колхозе двух поросят, купил цыплят, окультурил черешни и яблони, сторяча, в охотку, сунул в землю еще десяток корней, про огород и говорить нечего. Пожалуй, даже малость перехватил: ведь Крым, степь, все на поливе, приходил с работы к восьми и пластался до полуночи. Сразу возникла идея прикопить деньжат, достать труб и сделать по участку разводку. Но пока приходилось ведрами. Зато хлопоты эти были радостны, потому что рядом так же пласталась Татьяна.

Уживаться с ней было на удивление легко: держалась скромно, любую напряженку тут же снимала шуткой. Ревновать он не ревновал, да и поводов не давала. Когда послали на неделю в Джанкой, немного забеспокоился, но она только расхохоталась:

— Ну чего боишься, дурачок? Думаешь, я такая страстная? Да по мне хоть... Ну хочешь, проверь — месяц не трогай. Да хоть два. Только спи рядом, я уж привыкла с тобой засыпать.

Видно, из глаз его еще не ушла тревога — она ухмыльнулась:

— Не веришь? Ну, поставь пломбу для надежности.

И потянула вниз молнию на штанах.

Первая запомнившаяся размолвка произошла, когда в чуланчике, в ворохе рухляди Батраков наткнулся на пачку сигарет. Взял, повертел с недоумением и обидой. Как же так, ведь обещала...

Вошла Татьяна, поняла, сделала виноватое лицо:

— Ну, прости, не удержалась. Три штучки только. Ну, швырни в печку, и все.

— Ты ж обещала, — сказал Батраков.

— Ну, прости, — примирительно улыбнулась она.

— Врать-то зачем? Не можешь — кури при мне. Только не ври.

И тут она вдруг закричала, слезы рванулись из глаз:

— Ну не могу я так! В тюрьме я, что ли? Ну что я сделала-то?

Батраков растерялся, забормотал:

— Танюшка, да ты что? Что ты? Да кури, ради бога, если уж так. Я ведь почему? Ты молодая, женский организм, здоровье, сама понимаешь... У нас вон дома сосед...

— Ладно, швырни их в печку и забудь.

— Зачем в печку? Раз уж хочешь...

— Тогда держи у себя,— сказала она,— я ведь сама знаю. Но вот бывает иногда... Пускай лежат на черный день. Только если попрошу, не спрашивай, что и как. Дай, и все. Ладно?

— Идет,— пообещал Батраков.

Сигареты понадобились не скоро, месяца через полгода. Причины не было никакой. Случилось это в воскресенье. С утра часа полтора поработал дождь, освободив их от поливки. Потом солнце взяло свое. Батраков дождался, пока подсохнет, и часа четыре возился с сарайкой, меняя изодранный, пересохший, трухлявый толь. Вернулся в дом голодный, схватил, что увидел на столе: ломоть хлеба, кусок холодной курятиной. Отогнав первый голод, удивился, что Татьяна молчит — ни словечка, ни ухмылки. Глянул внимательней — сидит на лавке понуряя, локти в колени.

— Ты чего?

Она вяло шевельнула ладонью:

— Да нормально...

— Не приболела?

— Чего мне сделается...

Батраков подсел к ней, обнял, погладил по щеке, по груди.

— Танюшка, ты чего?

Она вдруг посмотрела на него — глаза измученные, жалкие:

— Дай закурить, а?

Без вопросов, как и договаривались, он достал сигареты:

— Ну, на, конечно, на.

— Не обижайся, ладно?

— Чего ж обижаться? Раз надо...

Она закурила. Батраков достал старые, оттопавшие свое ботинки и стал вертеть в руках, прикидывая, на что бы полезное употребить. Ничего путного не придумал, но хоть над душой не стоял.

Докурив, она попросила:

— Можно еще одну?

У него аж горло перехватило от жалости, заговорил невнятно:

— Танюшка, да ты чего? Что я тебе, жандарм какой? Раз требуется...

И опять она тянула дым, как алкаш водку, не спеша и не жадничая, но каждым глотком дорожа и наслаждаясь.

— Все,— сказала она потом,— отлегло.

Он осторожно спросил:

— Тебе плохо?

Она усмехнулась обычной своей усмешкой, только взгляд был в сторону и тоскливы:

— Наоборот — слишком хорошо. Со всех сторон сыта.— Снова усмехнулась, уже повеселей.— А волк должен быть голодный и злой, так ему положено. Понял?

— Какой же ты волк? — сказал он и провел ладонью по нежной щеке ее.

— Ну, волчица.

— Уж скорей котенок.

С каждым словом он жалел ее все больше и больше, и в конце концов эта волна жалости вынесла его туда, куда выносила обычно: хотелось обласкать и защитить ее всю, и даже легкий домашний халатик стал этой жалости помехой. Татьяна сперва была вялой и с привычной податливостью подчинялась его рукам, потом зажглась.

Вечер был душный, они окатились в сенях нагревшейся за день водой. Вытираясь, Татьяна сказала:

— Пойдем куда-нибудь, а?

— Куда?

— В гости. Бутылка есть.

— Давай,— согласился Батраков,— к кому?

Она подумала немного:

— Пожалуй, не к кому. Ни к кому не охота. Может, в район сгоняем?

— Не поздно?

— На попутках.— Опять подумала и сама же отвела идею: — Да нет, не стоит. Правда, поздно. Давай сами выпьем? Вдвоем.

Не торопясь, по-вечернему умиротворенно, они усидели поллитра под курятину и малосольные огурцы.

— С тобой хорошо,— благодарно сказала Татьяна,— понимаешь. Как ты все понимаешь, а?

— Ты же мне не чужая,— застеснялся Батраков.

— Стасик,— сказала она и вздохнула.

82  
Потом Батраков не раз думал, что сам же и виноват: размяк, привык к покою, стал относиться к Татьяне как к обычной домашней жене. Ведь мог же, многое мог! И к морю чего стоило съездить, всего-то пути часа три. И подальше куда, ну хоть за Байкал, в Читинскую область, в тот их поселок, к Галие... договаривались же, сама Танюшка первая и предложила. Деньги, конечно, но что деньги, деньги зарабатываются...

В ту пятницу утром он ушел на кошару, стригли овец, работы хватило до темна, еще и на субботу осталось. Вернулся поздно — Татьяны не было.

Батраков не встревожился: мало ли чего, может, к соседям к кому забежала, сидит, цветной телек смотрит, она это любит, какую-нибудь гимнастику, гибких девчонок в купальниках или кинопутешествия. Ну, может, выпьет малость для компании. Был, конечно, уговор без него не пить, но в жизни мало ли как повернется, всем нальют, а ей что же, людей смешить — муж, мол, не велел?

Хотел дождаться Танюшку, да не вышло — заснул.

Проснулся без будильника в шесть, как раз вовремя, на кошару договорились к семи. Татьяны не было. Он и тут в панику не ударился, могла засидеться и заночевать. Прежде, правда, такого не случалось, но ведь все когда-нибудь бывает в первый раз. Скажем, Женя, школьная техничка, Татьянинна подруга, живет на краю поселка, за ставком, минут двадцать пешком, кому охота в темноте?.. Быстро поел, побрился и поспешил на кошару.

Часам к четырем начался дождь, с кошары отпустили. Домой почти бежал. Татьяны не было. Тут уж стало ясно — что-то произошло.

Очень хотелось есть. Батраков быстро нарезал хлеб, настрогал сала, достал из подпола три крупных соленых огурца: Танюшка любила маленькие, поэтому он стал любить большие, и обоим доставалось по вкусу. Заварил чаю, поел и стал думать.

Чего-то надо было делать. А чего? Бежать к Лизе? Но если Татьяны там нет, тогда как? Жену позорить, себя позорить? Просто по поселку пройтись, глянуть, что и как, разведать обстановку? Но и это рискованно: работающие мужики без дела по улицам не шастают, значит, пойдут расспросы, куда и зачем, а ответить будет некого. Да и куда идти? Что разведывать?

Дождь почти иссяк, чуть сочился, Батраков вдруг понял, что делать: в райцентр надо, вот куда. Там вокзал, там шоссе — туда надо. Он переобулся и пошел к дороге ловить попутку.

Райцентр был невелик, городок тысяч на двадцать, но после поселка он казался большим и людным. Тут дождь прошел, видимо, еще утром, народ негусто, но гулял, лужицы на асфальте не мешали. Уже горели фонари, доносилась музыка. И все эти малости — асфальт, фонари, музыка — вместе создавали ощущение праздничности, загадки и тревоги. Здесь она, думал Батраков, здесь где-то.

Ресторан на вокзальной площади был приземистый, длинный, невзрачный, больше похожий на магазин или даже склад. Батраков заглянул туда. Человек двадцать сидело в дыму и шуме, сплошь мужики. Несло табаком и затхлостью, на воле было лучше.

Он обошел вокзал, новый, довольно просторный. Три старухи на узлах, солдатик с книжкой, цыганская семья, буфет на замке, туалет на ремонте. Татьяны не было, да и что ей тут делать?

В привокзальном парке развлекалась молодежь школьного вида. Мальчишки и девчонки теснились на редких лавочках, неумело, но старательно ходили в обнимку. Девчонки покуривали, мальчишки матерились — утверждались во взрослом состоянии. Асфальтированная тропка обегала парк, и Батраков прошел ее всю, хотя больше для очистки совести: обстановка была ему явно не по возрасту, да и Татьяне тоже. Немного потолкался у входа в кино, но это уже от полной безнадежности: не затем же она уехала из дома, чтобы субботним вечером смотреть фильм про колхоз. Автостанция была чуть поодаль от вокзала, но туда и заглядывать не стоило: какие автобусы на ночь глядя! Да и не любила она автобусы.

Больше искать было негде — в ста шагах от привокзального пятака кончалась и людность, и праздничность, да и вообще ощущение города.

Все, подумал Батраков, домой надо.

Но и возвращаться было неловко. Зачем ехал-то? По парку прогуляться? Тоже еще сырщик, Шерлок Холмс!

А может, записку такую оставила, спохватился он вдруг. Ведь толком даже не смотрел. Хотя, с другой стороны, записку,

наверное, заметил бы. На стол бы и положила, куда ж еще...

Батраков глянул на часы. Девять, еще есть время, попутку и в десять нетрудно поймать. На крайний случай, левак какой отвезет, в пятницу всего и встанет.

Он решил поужинать. Пусть душный, прокуренный, а все же ресторан. Кстати, получится, не зря ездил. Поужинать и ездил.

Батраков зашел в зал. Свободен был только один столик, у входа, сбоку за дверью. Ладно, какая разница! Он сел, заказал, что быстрее, и, понукаемый жаждущим взглядом официантки, добавил стакан крепленого вина. Потом ждал, пока подаст, и опять пытался вспомнить, не белел ли где клочок бумаги. Да нет, вроде, ничего не было. Если бы оставила, так на виду...

Он поднял взгляд и аж вздрогнул: в дверях, оком к нему, стояла Татьяна. Она была накрашена, это Батраков сразу заметил, и, похоже, слегка под газом — голова по-куриному клонилась набок. Она глядела в глубину узкого длинного зала, где на низком помосте стояли два пустых стула и коричневое пианино с ободранной кое-где фанеровкой.

— Да, — бросила она куда-то за спину, — не Париж!

Батраков подался чуть вперед и увидел ту, кому посыпалась эта фраза. Девка, высокая, молодая, была разукрашена вовсе уж грубо, будто малярной кистью. Она была стройна, тело обтянуто коротким платьем и, наверное, казалась бы просто красивой, если бы не общее ощущение непотребства.

— Не Париж! — подтвердила девка громко, и мужики с близких столиков обернулись.

— Так что, Регина Павловна, останемся? — спросила Татьяна.

— Как скажешь, — опять громко ответила та, — я девушка говорчива.

Татьяна повела глазами, выбирая место, и тут увидела Батракова. Он ожидал, что она испугается, но не думал, что так сильно: она дернулась назад, остудилась, но ничего, устояла, только начала сильно краснеть. Батраков поманил ее пальцем — подошла, но не близко, остановилась метрах в полутора. Неужели боится, что ударю, в который раз пожалел ее Батраков, но на этот раз жалость была отстраненная, будто к чужому человеку.

— Ты чего здесь? — спросил он.

— А я тебя ищу, — соврала Татьяна совсем уж глупо.

— Это кто с тобой?

— Подруга.

— Новая, что ли?

— Да вот, познакомились...

— Друга встретила? — спросила, подходя, высокая девка. Татьяна не ответила, Батраков тоже отвечать не стал.

— В общем, так, — сказал он, — прощайся с девушкой и езжай домой. Я через час буду. Ужин готовь, а то тут не больно наешься.

— Ладно, — пообещала она с облегчением, — готовлю.

Она повернулась к дверям, наткнулась на новую товарку, и та спросила, засмеявшись:

— Марин, да ты чего? В глазах струя?

Опять Марина, подумал Батраков, быстро же у нее...

Он все же дождался сухого пережаренного мяса и выпил ненужное вино. Ему не хотелось возвращаться прежде, чем она готовит, хотелось подгадать так, чтобы без всяких выяснений за стол, да и потом ничего не спрашивать, не выслушивать, только сказать сдержанно: «Постарайся, чтобы в последний раз. И все. Забыли». Вот так ему хотелось, потому что перед глазами стояло испуганное Татьянино лицо, а Батракову ее страх был не нужен, нужно было совсем иное, на чем только и может держаться долгая, счастливая и надежная жизнь.

Официантка обсчитала, он это видел, но машинально кинул рубль на чай. Ее наглость была противна, но тронула его слабо, настоящая горечь была от того, что Татьяна сорвалась. Где она ночевала, Батраков гадать не хотел — небось, у этой наштукатуренной и очевала.

Попутку он поймал, едва вышел к дороге. Но на том его везение и кончилось, потому что Татьяны дома не оказалось. Зачем-то он стал искать записку, ту, что она могла оставить вчера. Нет, не оставила.

Батраков подождал еще час и понял, что все, не приедет. Ночь уже, а ночью в поселок попуток нет.

И на следующий день, уже автоматически, он все искал глазами записку. Но записки не было, и Татьяны не было. Не было Татьяны, и стало ясно, что лучше ее и не ждать.

Надо было как-то осмыслить происшедшее, и Батраков для себя определил его так: загуляла. Слово нашлось, и сразу стало полегче. Просто сорвалась, с кем не бывает. Тогда закурила, теперь загуляла. А он не срывался? Тоже срывался, когда-то даже из дома убегал.

Тяжело оказалось засыпать, привык к Танюшкиному телу рядом. Но опять успокоил себя тем, что загуляла. Что тут поделаешь: у мужиков запой, у них загул. Намотается, отрезвейт и вернется.

Серьезная сложность возникла через два дня, когда Лиза забежала вечером узнать, чего Татьяны нет на работе — не заболела ли. Батраков сказал, что уехала по разным делам, а на сколько, пока не известно.

— Туда, что ли? — понимающе вздохнула Лиза.

— Да вроде собиралась, — уклонился Батраков, не сразу сообразивший, куда — туда.

— Надо, — одобрила Лиза, — давно пора, растет девчонка-то.

— То-то и оно, — кивнул Батраков, радуясь подсказанной версии.

И в дальнейшие дни, когда спрашивали, он не отвечал прямо, а принимался солидно рассуждать, что Татьяну понять можно, да он и сам считает, что решать как-то надо, все равно когда-нибудь придется, был бы парень — другое дело, а дочке нужна мать, это все знают. Недели через две он и сам уже почти верил, что Татьяна отправилась не куда-нибудь, а в родной поселок и теперь, небось, осторожно ходит вокруг прежнего гнезда, строя планы, как бы без скандала вызволить подросшую Аленку.

Однако вместе с тем Батраков купил в киоске карту Крыма

и вечерами подолгу ее изучал, так что многие, даже малые населенные пункты уже помнил наизусть. Карта не обнадеживала: дорог на ней было множество, и почти все с твердым покрытием — на Евпаторию, на Симферополь, на Бахчисарай, Алушту и Ялту, на Судак и Старый Крым. Самая тревожная вела на Феодосию и дальше, вплоть до самой Керчи, но и там она, увы, не кончалась, а через паром уходила на Тамань, Анапу, Новороссийск и далее, за пределы карты, на огромные притягательные пространства Кавказа. Безнадега, думал он, тут уж не угадаешь, никто не знает, в какую сторону катила попутка и на каких неясных просторах прогромыхивает сейчас этот самый дальний бой, втянувший в себя, как смерч, несчастную накрашенную Танюшку. И сколько кабин придется сменить, чтобы добраться домой, если, конечно, потянет назад, а не дальше в неизвестность.

Вещи Татьянинны он не трогал, как оставила, так и лежали, да и было их кошкины слезы, не успел жену одеть, как хотелось. Как-то наткнулся на торбочку, и сердце дрогнуло: как же она без сумки, ведь хоть что-то в дорогу все-таки надо. Батраков вспомнил про документы и выдвинул ящик, где они обычно лежали. Паспорта не увидел, зато трудовая лежала на месте, отнести ее в школу Татьяна так и не собралась. Под книжкой стопочкой лежали деньги, отложенные на телевизор. Уж деньги-то взять могла бы, мало ли что в дороге!

Усадьбу Батраков не забрасывал, что положено, хоть и вяловато, но делал — понимал, что, как бы у него ни складывалось, ни деревце, ни куст страдать не должны.

Довольно скоро он почувствовал, что телу тоскливо без женщины. Но смотрел вокруг, и ни к какой притронуться не хотелось.

В колхоз пригнали два новых грузовика, один предложили Батракову. Он взял машину с радостью — засиделся на месте, закис, а тут работа разъездная. Проезжая райцентр, каждый раз заглядывал в ресторан на привокзальной площади, но Татьяны не было.

Как-то вечером подвез со станции девчонку — ее после училища распределили в колхоз фельдшером. Девчонка была молоденькая, но в себе уверенная, она везла здоровенный чемодан и узел с постелью, включая пуховую подушку.

— Не надорвалась таскать? — посоветовал Батраков.

— Кому таскать всегда найдется, — нахально ответила она. Лет ей оказалось восемнадцать, зовут Лариской.

Контора уже закрылась, искать по поселку ночлег было хлопотно. Девчонка осталась до утра у него — и прижилась. Батраков поместил ее в комнатушку за печью, вечерами вместе пили чай, а потом расходились по своим углам.

На третий день Лариска похвалила хозяина, что не пристает, на пятый стала приставать сама, на десятый перетащила свою пуховую подушку к нему на постель и там же оставила, когда застилала на день.

Чтобы все было честно, он сразу же предупредил, что у него жена и дочка Аленка, он их любит и ничего менять не станет.

— Ну и правильно, — одобрила Лариска, — жена всегда жена.

Вернется, глаза мне не выдерет?

— Она свой парень,— успокоил Батраков.

— Тогда нормально,— повеселела Лариска и стала вести хозяйство, бестолково, но решительно, всему быстро учась.

Если же соседки или мужики в гараже любопытствовали, совсем ли он разженился с Татьяной, искренне отвечал, что вовсе нет, ничего похожего, как была жена, так и есть, а девчонка просто стоит на квартире, надо же ей где-то жить.

Месяца через три Лариска забеременела и спросила, как быть. Батраков довольно равнодушно ответил, что можно и так, и так, хоть аборт, хоть рожать, он не против. Недельку подумав, Лариска решила рожать.

К этому времени она уже знала про него почти все, сочувствовала ему, и они как бы вместе ждали Татьяну, порознь понимая, что в реальности все кончилось, что она не вернется никогда.

К осени и зиме работы стало больше, его посыпали и в район, в Симферополь, и в Керчь, даже в Запорожье гоняли. Иногда дорогой подсаживались женщины. Дальнобойщик он узнавал довольно легко по мятой одежке и бесстрашным глазам. Благодарности за проезд никогда не требовал, но если выпадал случай, не отказывался. Им он тоже говорил, что есть жена, хорошая и любимая, и думал при этом не про Лариску, а про Татьяну.

Весной Лариска родила. За месяц перед этим они расписались. Но настоящей женой Батраков по-прежнему считал Татьяну и продолжал ее ждать. А Лариска знала это и не обижалась, потому что так выходило даже интересней, а практического урона не было никакого: ведь заботился Батраков о ней, ей давал деньги на сапоги и одежду, и спал с ней, и в жарком закутке за печкой мыл не Татьяну, а ее.

На роды приезжала теща и месяц у них жила — помогала. Батраков, погруженный в свое, разговаривал с ней мало, отвечал невпопад, забывал улыбаться, когда положено. Все же теще он понравился, она говорила Лариске, что зять хоть и глуповат, зато работящий и добрый, а это главное, от мужика ума не требуется, лишь бы зарабатывал да любил.

Ребенок получился мальчик. Лариска, не слишком веря в твердость их брака, уговорила назвать его тоже Станиславом: мол, разойдемся, хоть один Славка останется. Батраков не возражал, Славка так Славка. Он понимал, что этот крохотный слабый человечек — его сын, и его судьбу надо теперь постоянно держать в голове, но маленький Славка был Батракову ничуть не ближе, чем растущая под Брянском Алешка, чью судьбу тоже надо было постоянно держать в голове.

Когда Славке стало месяцев пять, он научился сидеть, но сам подниматься со спины еще не мог, требовалась помощь. Как-то Батраков выкатил коляску с мальцом во двор и посадил парня. Но потом, сам не понимая толком, зачем, вновь положил на спину. Пацаненок заблажил. Батраков сунул ему в ладошки по пальцу и потянул. Тот, уцепившись, сел. Батраков вновь положил его на спину и вновь протянул пальцы. Теперь мальчишка

лишь неуверенно хныкнул. А на третий раз, заулыбавшись, сам потянулся к пальцам отца.

В этот день Батраков впервые до конца ощутил, что Славка его натуральный, доподлинный, любимый сын и что хоть настоящая его жена, конечно, Татьяна, но и Лариска тоже настоящая, и, если Татьяна вдруг вернется, он от нее, само собой, не откажется, но и Лариску не оставит. И ему стало холодно от ситуации, выход из которой найти было невозможно.

Зимой пришло письмо от матери, писанное не ее рукой. Мать сообщала, что у нее болезнь инсульт, лопнул сосуд в мозгу, отнялась правая половина, и теперь надо снова учиться ходить. Батраков выехал в ту же ночь. Мать лежала в палате на восемь коек, до туалета ползти и ползти, няньку не дозволившись, больные сами помогают друг другу, а то бы вовсе конец. Рот у матери скривило, она шлепала нижней губой, бормотала, косноязычила и злилась на себя за эту невнятницу. Она считала, что сосуд лопнул из-за соседок, довели гадины, и пророчила, что их тоже когда-нибудь прихватит.

— Когда отпустят-то? — спросил Батраков.

Впрочем, когда — это было не так важно. Важно было другое — надо переезжать. Мать и пыталась объяснить, что дедов дом лучше всего продать, а самим переехать сюда, чтобы дом, если что, достался не кому попало, а им с Татьянной.

— У меня теперь не Татьяна, а Лариса, — сказал Батраков. Он еще раньше понял, что никто чужой за матерью ходить не станет.

— Вот видишь, я же говорила! — торжествующе прошлепала нижней губой мать...

Через неделю, вновь заколотив дедов дом, Батраков с Лариской и маленькой Славкой в очередной раз перебрался в построенное отцом несчастливое обиталище. И с этого момента Татьяна окончательно ушла из его жизни. Пока жил в Крыму, надежда оставалась. Но сюда-то она точно не поедет...

И все же где-то в дальнем кармане его души у Татьяны осталось свое вечное место, как и у девочки Аленки, растущей вопреки обычай при отце, как у бедной Галии, чья могила на мерзлотном кладбище, наверное, совсем просела. Надо бы съездить, думал он, ведь сколько уже не был. И туда, под Брянск, тоже надо было наведаться — не за Татьяной, нет, грешно ловить не приспособленного к несвободе человека — хотелось незаметно разузнать, как дела у девочки Аленки.

Иногда он думал про это вслух. И Лариска, к этому времени уж совсем слившая свою жизнь с жизнью Батракова, отвечала, что, конечно же, надо, и поедут, непременно поедут, лучше как-нибудь летом, когда сухо и тепло. Вот поправится бабуля, говорила Лариска, подкинем ей внука и рванем одним захватом туда и туда.

Впрочем, на бабулю надежда была средняя, она поправлялась медленно, здоровый глаз глядел непримиримо, живая половина рта была зло напряжена, и врач боялся нового инсульта.

Зато Славка маленький уже вовсю ходил, держась за стенку.

# “ПЛЕННЫЕ НАМ НЕ НУЖНЫ...”

НИКОЛАЙ КОРЕНЮК,  
кандидат  
исторических  
наук

Кто не помнит этого эпизода из киноэпопеи «Освобождение»!.. Сталин, попыхивая трубкой, расхаживает по своему кабинету, дает указания военным. Вдруг ему сообщают о предложении немцев обменять пленного Якова Джугашвили на захваченного под Сталинградом Паулюса. Вождь останавливается, смотрит вдаль, как будто видит сына за колючей проволокой, и гордо произносит: «Я солдата на фельдмаршала не менять!» Как ликовали тогда скучившиеся по светлому образу вождя: «Наконец-то показали настоящего Стالина — волевого, благородного, мудрого!.. Нет, правду от народа не утаишь!..»

Однако история, показанная в фильме, и многие другие факты, всплывшие в ходе организованной кампании по реабилитации сталинизма, были лживыми. Продолжались настойчивые попытки прятать забвению одну из страшных

страниц прошедшей войны — трагедию 5 700 000 советских военно-пленных, обвиненных в предательстве.

По-разному сложились их судьбы. Около 3 300 000 человек погибли, 930 000 до конца войны находились в рейхе (в том числе 750 000 в качестве рабочей силы), свыше миллиона получили свободу (часть из них оказалась во власовской армии). Власть же, пославшая их на фронт, оказалась ко всем без исключения беспощадной, и свыше полумиллиона репатриированных солдат и офицеров без суда и следствия были отправлены в заблаговременно приготовленные спецлагеря НКВД (по приказу ГКО от 27 декабря 1941 г.). Над невернувшимися, живыми и мертвыми, сталинское проклятие висит и поныне.

Тайна вокруг этой темы давно не дает покоя тем, кто хотел бы знать истинную цену Победы. Верная служанка двора — цензура, скроившая историю войны в духе указаний вождя народов, бдительно пресекала поиски правды. Не смогла она помешать лишь солженицынскому «ГУЛАГу».

На Нюрнбергском процессе 1945—1946 годов всех бывших военнопленных представлял единственный свидетель — Евгений Кивелиш, затем бесследно исчезнувший. В СССР отказались полностью печатать документы Нюрнберга; вместо сорока двух томов, вышедших на Западе, публиковались семитомные купюры, в которых места для «врагов народа», естественно, не нашлось.

Об «изменниках Родины» не хотели упоминать в мемуарах и доблестные маршалы и генералы, без устали прославлявшие подвиг советского солдата. Недалеко ушли и историки.

Под влиянием хрущевской «от-

тепели» некоторые запреты были сняты, но все свелось к селекции: героев отделили от массы «предателей». Те, кто создавал партичеки в лагерях, организовывал побеги и заговоры, сражался в партизанских отрядах, удостоились моральной реабилитации. Заслужил прощения и шолоховский Андрей Соколов, выпивший на глазах у изумленных немцев три стакана водки залпом, без закуски, и доказавший тем самым силу русского характера.

Ныне успешно похоронены все прежние мифы советской истории, в том числе военного периода. Разоблачены сталинские преступления; общество от здравиц перешло к покаянию. И странно то, что до сих пор по-настоящему не поднят вопрос о бывших военнопленных. Неужели эти жертвы сталинизма и гитлеризма так и останутся с клеймом несудимых преступников?

Нетрудно вспомнить книги, фильмы, песни, воспевавшие подвиги и учившие презирать слабых духом. На них воспитывались миллионы. Милосердие и здравый смысл изгонялись из страны мальчишь-кибальчишь, не было там места и пленным красноармейцам. Да и откуда им взяться, «ведь от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней». Зловещие слова «лучше смерть на поле боя, чем жизнь в плену врага» заучивались как святая заповедь со школьной скамьи. «Когда страна прикажет стать героями, у нас героями становится любой». Мог ли кто-нибудь тогда возразить: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях»?

Пленные могли оказаться только у «трусивых буржуинов». Ведь это они, буржуины сорока одного государства, участвовавшие в первой мировой войне, подписали

в 1929 году Женевскую конвенцию, которая обязывала сохранять жизнь пленным, обеспечивать их питанием, одеждой и жильем, не использовать их труд на тяжелой и связанной с военными заказами работе, за побег наказывать только в дисциплинарном порядке. Советское правительство гордо отказалось подписать эту конвенцию.

Расплата не заставила себя долго ждать. Вопреки громогласным заявлениям, что «бить врага мы будем на его территории», четыре первых месяца войны принесли колоссальные потери. История еще не знала случая, чтобы за такое короткое время в плен попало свыше полутора миллионов человек. 323 000 — в начале июля под Минском, 328 000 — в начале августа под Смоленском, 665 000 — в середине сентября под Киевом, 662 000 — в середине октября под Вязьмой.

В сводках Совинформбюро сообщалось: «Оставили Минск», «Оставили Смоленск», «Оставили Киев»... А кто оставлен, где и сколько — даже и не упоминалось, ведь страшные цифры могли прозвучать приговором сталинской политике.

Председатель Комитета Обороны, едва оправившись от шока, в речи по радио третьего июля 1941 года обрушился на тех, кто «своим паникерством и трусостью мешает делу обороны». Он призывал «братьев и сестер» вести с ними «беспощадную борьбу», «уничтожать их на каждом шагу», предавать суду военных трибуналов как пособников врага.

Напуганное наступлением немцев советское руководство издало грозный приказ 0019 от 16 июля 1941 года, в котором, в частности, говорилось: «На всех фронтах много лиц, поддавшихся панике... они при первой угрозе бросают

оружие и тянут за собой других». Страшным предостережением звучали эти слова для бойцов, они должны были запомнить твердо: плен им никто и никогда не простит. Страх лучше всяких убеждений — это священный принцип сталинизма. Вожди могли удариться в панику. Их солдаты такого права не имели, у них было другое право — в роковой час пустить себе пулю в лоб.

В том же духе действовала и дипломатия. Пленные? Нет у нас никаких пленных, есть только дезертиры, — не смущаясь, лгали зарубежным представителям Молотов, Вышинский и безупречно выполнившие их инструкции послы в Болгарии, Великобритании, США, Турции, Швеции. Вместо того, чтобы быть во все колокола, Наркомат иностранных дел, как от докучливых посетителей, отмахивался от проявлявших участие к советским военнопленным Международного Красного Креста (МКК), американского госдепартамента, британского Форин Офиса и других.

Председатель МКК Марсель Юнод еще 22 июня предложил правительствам СССР, Германии, Финляндии, Румынии обмениваться списками убитых, раненых, попавших в плен. На себя МКК брал заботу о пострадавших на фронтах. Многое тогда зависело от советского руководства, и, пойди оно сразу, без оговорок, на принятие плана Юнода, можно было бы спасти от смерти тысячи несчастных соотечественников. Но в ответном послании Молотова от 27 июня ставилось условие: только на основе Гаагской конвенции 1907 года (царская Россия являлась ее участником) возможно обсуждение поставленных вопросов. Чудовищно, но факт: Молотовставил условие! Кому? Красному Кресту! От него не зависела позиция

противников Советского Союза. Германия? Разве неясно, что при ее ошеломительных военных успехах Гитлер не пойдет на уступки (так и произошло — Берлин отвел отказом). Ну а списки, к чему они Москве? Те, кто погиб, — туда им и дорога; кто живым останется, — ими займется агентура Лаврентия Павловича, а уж о списках они позаботятся. К тому же Юнод, святая простота, взял да и отправил в НКИД список из трехсот фамилий (его составили представители МКК Буркхардт и Эдуард де Галлер после неофициального посещения лагеря советских военнопленных). Надо полагать, списки попали куда следуют.

А что же отверженные? Немцы — очевидцы событий — не могли поверить, что еле стоявшие на ногах пленные, только что поднимавшиеся в атаку «За Родину, за Сталина», оказались брошенными и Родиной, и Сталиным. Их положение было невыносимым. Начальник штаба вермахта Йодль докладывал, например, об обстановке под Вязьмой в ставку Гитлера: «Захваченные в плен русские армии фанатически сопротивлялись и уже 8—10 дней находятся без продовольствия. Выжить удалось лишь тем, кто ел кору деревьев и коренья, которые они добывали в лесу. Они попали в наши руки в таком состоянии, что вряд ли выживут. Их даже невозможно перебросить в другое место». И эта картина была типичной.

Повезло, если можно так сказать, красноармейцам, захваченным немцами возле какой-нибудь деревушки. Добрые души оставляли в полях или вдоль дорог, по которым предстояло идти узникам фашистского ада, хлеб, картошку, свеклу, капусту... Их не страшил ни немецкий автомат, ни донос соседа. Они не осуждали хлебнувших горя солдат и посту-

пали так, как подсказывала им совесть, а не как учил любимый вождь.

6 августа немецкое командование все же установило рацион питания советским военнопленным: 2040 калорий — неработающим и 2220 калорий — работающим. Меню разнообразием не отличалось: хлеб, картофель, пшено... Мясо в инструкциях не значилось. Бдительно следивший за всей операцией Геринг требовал, чтобы «ни при каких обстоятельствах» эти нормы не повлияли на питание немцев. А министр продовольствия Баке советовал военным не обращать внимания на утвержденные цифры. «Русский желудок эластичен, его не надо жалеть», — заявлял он. Его советы учили в октябре, месяце самой высокой смертности среди военнопленных: рацион сократился до 1400 калорий для неработающих и до 2175 для работающих.

Голод, эпидемии, случаи людедства — об этом постоянно сообщалось в ставку Гитлера. Доходило до того, что пленные, которым перепадала какая-то пища от немцев, умирали от несварения желудка, настолько был ослаблен их организм.

«На наших плечах горы трупов», — писал с Восточного фронта своей жене Г. Мольтке. Никакие сцены, описанные Эмилем Золя в связи с печально известной катастрофой французской армии под Седаном и Мецем в 1870 году, при всем их кошмаре не могли сравниться с Киевом и Вязьмой. И не только с ними. Несравненно обращение фашистов с советскими пленными и пленными французы, англичанами, американцами. Последние были накормлены, одеты, имели крышу над головой. Международный Красный Крест располагал их точными списками, постоянно проверял лагеря, до-

биваясь от немецких властей — как тем ни было это неприятно — выполнения Женевской конвенции. Красный Крест отправлял и посылки с продуктами, лекарствами, одеждой, оказывал медицинскую помощь.

Нацистское руководство не сомневалось в быстрой победе над СССР, но оно никак не ожидало, что в его руках будет такая масса советских солдат и офицеров. «Раньше мы требовали брать пленных, а теперь не знаем, что мы с ними со всеми станем делать?» — недоумевал фюрер. Его первоначальный план включал 790 000 пленных и 18 лагерей для них. Гитлер даже не требовал сообщать ему, сколько их, в каких условиях находятся. До января 1942 года вермахт не вел списков попавших в плен, бежавших, погибших. Москва не настаивала, а Красный Крест не имел права настаивать. Фашистские стратеги рассуждали просто: «Чем больше их умрет, тем лучше».

Евреи, коммунисты и комиссары, согласно специальным приказам, уничтожались на месте или отправлялись в концлагеря. Причем эти несвойственные для себя функции пришлось взять вермахту, ему после споров между военными и СС были поручены советские военнопленные (специальный отдел возглавлял Г. Рейнike — «маленький Кейтель», как его называли). Остальных пленных предполагалось убрать подальше от линии фронта, разместить в дулагах, сталагах, использовать на различных работах, но в рейх непускать — таково было поначалу категорическое условие Гитлера, не желавшего «осквернения» немецкой земли «недочеловеками», «дикарями», «азиатами». «И при татарах, и при Петре, и при Сталине русские были обречены на рабство», — рассуждал фюрер. Не-

мецким войскам настойчиво внушалась мысль не жалеть советских военнопленных, не церемониться с ними.

Специалисты по Востоку Розенберг, Брайтигэм, Мольтке, Канарис пытались убедить Гитлера в том, что без облегчения участия пленных Германия не сможет в глазах населения России стать «избавителем от сталинской тирании», а значит, и не добьется победы. Они советовали предоставить льготы украинцам, белорусам, прибалтам, в том числе пленным. Но Гитлер, уверенный в превосходстве своей армии, не собирался идти на уступки. Был, правда, один странный эпизод, когда в августе 1941 года по его приказу освободили захваченных под Киевом украинских военнопленных «как потенциально дружественный элемент», но это можно считать недоразумением. Поначалу Гитлер даже отказывался от использования «русской рабочей силы» в рейхе и от формирования из числа пленных «добровольческой» армии (на власовцев он согласился только после провалов под Москвой и Сталинградом, и то до конца войны держал их на привязи, опасаясь и презирая).

Немногим советским военнопленным удалось преодолеть тяжкий путь в лагеря летом — осенью 1941 года. Пленных союзников перевозили в закрытых, отапливаемых поездах, в дороге обеспечивали питанием. Пленные СССР, если и доставлялись по железной дороге, то в забитых до отказа, холодных и непременно открытых вагонах (так обеспечивалась безопасность). Нередко в пункт назначения прибывали уже закоченевшие трупы.

В большинстве же случаев оккупационные власти не хотели давать транспорт обреченным на смерть. Те могли рассчитывать

только на свои ноги и на чудо.

Возможно, и сейчас живы те, кто застал эти длинные, мрачные колонны несчастных соотечественников, тяжело бредущих под конвоем немецких охранников. Шагнул в сторону, протянул руку к брошенной корке хлеба, не смог идти — упал, не поднялся после привала — тут же раздается автоматная очередь. А легко ли было выдержать марши по 30—40 километров в день? В ставку Гитлера поступали сообщения о том, что «русские доставляются в лагеря мертвыми или полуживыми».

Однако уцелевшим после перехода предстоял еще один круг ада — сами лагеря. Их даже лагерями нельзя назвать. Обнесенный колючей проволокой пустырь и вышка для часового — таким являлся дулаг, пересыльный лагерь, в котором пленным приходилось по месяцу и больше ожидать своей участи. Здесь не требовались пытки и расстрелы — морозы заменили палачей. Летом еще можно было как-то протянуть, хотя очень часто проливные дожди убивали надежду на спасение, но то, что началось осенью, не поддается описанию.

Те, у кого еще оставалось хоть немного сил, рыли ямы, строили шалаши, землянки. Не имея инструментов, работали чем придется — ложками, вилками, палками. Они старались зарыться по глубже.

В стадах с их бараками условия отличались немногим. Там лишь в октябре начался переход на зимнее расписание, но еще и в ноябре, и в декабре многие лагеря «работали» по-летнему. В стаде Берген — Бельзен, например, находились в первых числах ноября четырнадцать тысяч человек. Ежедневно от холода погибали до ста пятидесяти плен-

ных. К концу месяца в живых никого не осталось.

К декабрю 1941 года общее число погибших советских военно-пленных достигло 1 400 000 (сорок один процент). К январю 1945 года поляков погибло 32 999 (4,2 процента), французов — 14 147 (1,58 процента), англичан — 1851 (1,13 процента), американцев — 136 (0,3 процента).

Неужели и тогда позиция Кремля не изменилась? Увы, нет.

В декабре 1941 года неутомимый Юнод во время встречи в Берлине с Риббентропом выдвинул, казалось бы, удачный вариант: споры о Конвенциях прекратить и, действуя на основе общих принципов гуманизма и международного права, обменяться списками пленных (в советском плена к тому времени было также немало немцев) и организовать через США посылки с едой и одеждой в советские и немецкие лагеря. Риббентроп доложил фюреру, фюрер сделал запрос Сталину. Ответ СССР не оставлял надежд: «Русских военнопленных не существует. Русские солдаты сражаются насмерть. Если же они выбирают судьбу военнопленных, они автоматически исключаются из советского общества».

Не будем идеализировать Гитлера. Скорее всего он обратился в Москву, заранее зная ответ, и был рад ему. Во всяком случае, известно, что вариант Юнода его тоже не устраивал. Он откровенно признался Риббентропу: «Нельзя, чтобы у сражающихся на Востоке войск имелась уверенность, что с ними в плена поступят согласно договорам».

Нежелание фашистского руководства пойти на компромисс в вопросе о пленных объяснялось еще одним обстоятельством. Германия в связи с затянувшейся войной потребовалась дополнни-

тельная дешевая рабочая сила. Военные и промышленники предупреждали фюрера, что, если прежние запреты не будут сняты, неизбежна экономическая катастрофа. Гитлер не стал сопротивляться. А оправдать отступление от старой линии особого труда не составило. В конце концов русский ведь не так глуп, чтобы не смог работать в шахте, да и в реконструкции Берлина, Мюнхена, в строительстве дорог пленные пригодятся, рассуждал он. Его активно поддерживал Геринг: «Немцы займутся производством вооружений, а русские получат кувалды и лопаты».

С начала 1942 года на работу в рейх стали прибывать первые партии советских военнопленных. В июле их было уже 200 000, в октябре — 487 500, в июле 1943 года — 506 000, в феврале 1944 года — 594 000, в январе 1945 года — 750 000.

Промышленники не скрывали удовлетворения: «никаких конвенций насчет русских нет», посыпай их куда угодно — никакой МКК не проверит, плати в два раза меньше, чем другим иностранцам, — пусть только попробуют возмутиться, а с тяжелых участков можно убрать французов, испанцев, итальянцев, с которыми приходилось обращаться как «с красными девицами». Потребовалось лишь принять меры предосторожности. 25 сентября 1942 года все советские военнопленные приказом Гитлера перешли в подчинение к рейхсфюреру СС Гиммлеру (добрался наконец своего). Покушение 20 июля 1944-го сделало фюрера крайне подозрительным, ему всюду стали мереяться заговоры и диверсии, в том числе и со стороны «русских в рейхе». Эсэсовцы принимали меры безопасности, полностью изолировав пленных от гражданского населения.

Сталин и его окружение заявили о своем интересе к находящимся в фашистской неволе только тогда, когда война близилась к завершению, союзники начали операции в Европе и участь Германии была предрешена. От слов «предатели, дезертиры, мерзавцы» они стали воздерживаться. Замена нашлась: «советские граждане, подлежащие депортации». Нет, не потому что руководство ССР смирило гнев на милость, ему просто понадобилась английская и американская поддержка, чтобы справиться затем с нарушителями присяги. Stalin дождался своего часа и теперь, как и в былые времена «охоты на ведьм», хотел показать всем, своим и чужим, что он никогда ничего не забывает и не прощает. Очередная кампания против «врагов народа» началась.

Самым удобным моментом для этого генералиссимус посчитал встречу «Большой тройки» в Ялте в феврале 1945 года. В подписанных главами государств — ССР, США, Великобритании — совместном заявлении для прессы, по настоянию Сталина, включался следующий пункт: «Мы обязуемся оказывать всестороннюю помощь, совместную с требованиями ведения военных операций, в целях обеспечения быстрой депортации всех военнопленных и гражданских лиц».

Рузвельт и Черчилль прекрасно понимали, что ожидает «советских граждан» после возвращения на родину, но какой был им смысл поднимать вопрос о правах человека, ссориться со Сталиным? В повестке дня значились вопросы поважнее: будущее Германии, границы в Европе, Польша... А пленные могут только помешать. Генералиссимус хочет их наказать, пусть накажет.

Все претензии советской сторо-

ны удовлетворялись без помех. Проверить лагеря? Пожалуйста. Выдать пленных? О'кей. Некоторые сложности возникли лишь с выходцами из Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии, а также русскими и украинскими эмигрантами. На конференции в Потсдаме (июль — август 1945 года) Сталин, срочно вернувший им советское гражданство (небывалый случай, обычно его отбирали), потребовал от Рузвельта и Черчилля не мешать их «возвращению». Хотят те возвратиться или нет — значения не имело.

В памятных записках советской делегации все сведения о пленных, взятых союзниками, отличались поразительной точностью: какая армия взяла, сколько и даже фамилии. Сподручные Берии, конечно, основательно поработали.

Все требования СССР были так же четко выполнены, как и изложены. Примером может служить обсуждение вопроса о лагере в Чизенатико. Приведу наиболее важный фрагмент:

**«АЛЕКСАНДЕР** (британский фельдмаршал). Я хочу, чтобы всем присутствующим здесь было известно, что я всегда предоставлял русским представителям в Италии полную свободу передвижения, а также любую возможность видеть то, что они хотят. И я считаю, так поступать целесообразно, потому что в тех случаях, когда в наших руках оказывается большое количество русских солдат, советы ответственных русских представителей могут оказаться нам очень полезными. Я думаю, что, если генералиссимус согласен, я буду поступать в том же духе, как я делал до сих пор.

**СТАЛИН.** Мы обязаны в этих случаях по договору оказывать

друг другу помощь и не мешать гражданам возвращаться на родину и, наоборот, помогать им возвращаться домой.

**ЧЕРЧИЛЛЬ.** Если ваш представитель пришлет генерала или сам приедет в ставку по этому вопросу, будет сделано все необходимое.

**СТАЛИН.** Хорошо. Я считаю вопрос исчерпанным».

Итак, советские военнопленные из одних лагерей передавались в другие.

Но и после освобождения, если кому-то из них удалось выжить, плен так и оставался тяжелым крестом их судьбы. Чего не скажешь об освобожденных из лагерей американцах, англичанах, французах.

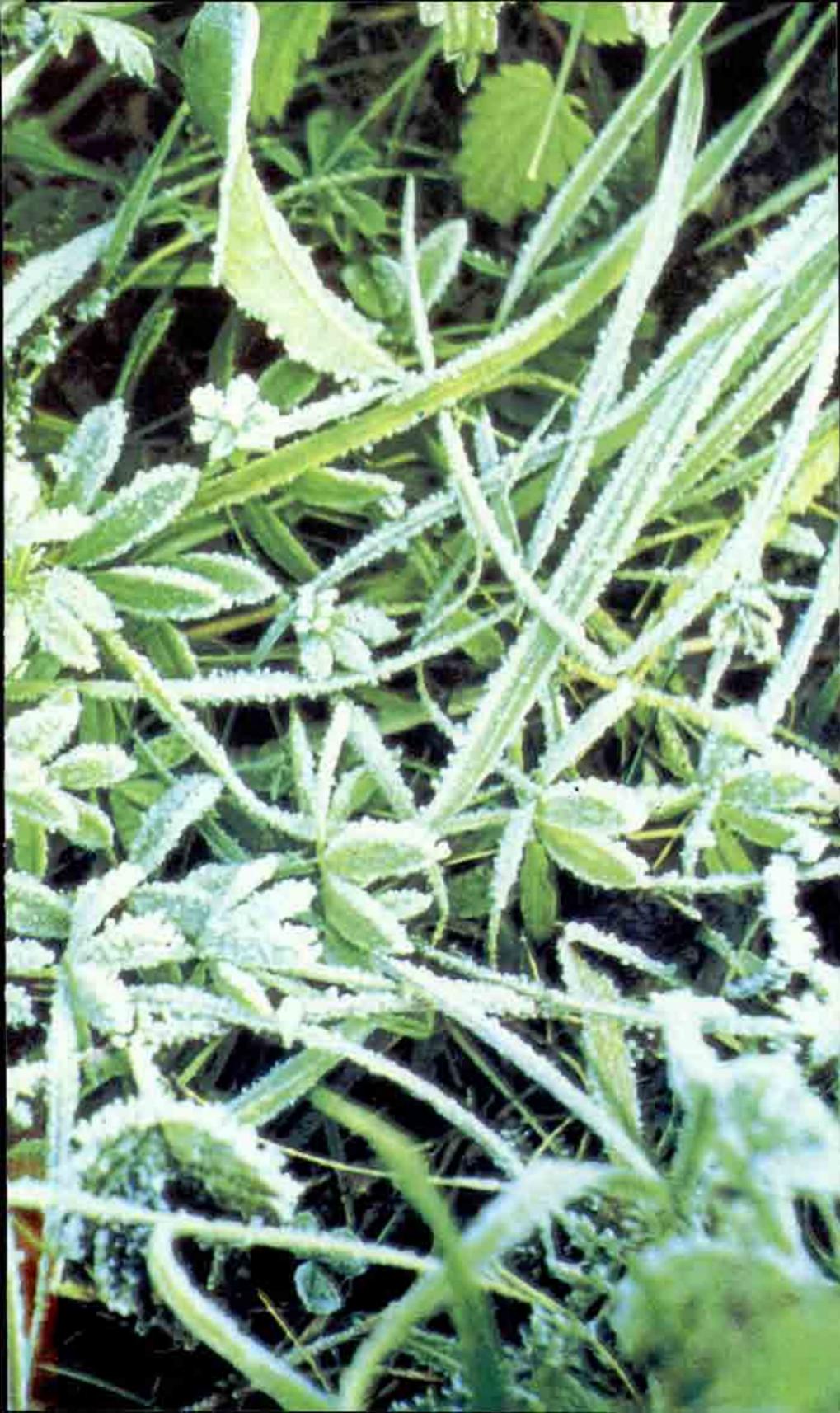
Александр Довженко написал 26 августа 1945 года в своем дневнике: «Не могу только простить генералу Макартуру, который, подписывая на «Миссисипи» капитуляцию Японии, подвел с собой к большому историческому столу двух своих генералов, побывавших в плену. Ох, и влетит ему от Трумэна! Поступить вот так! Какой всесветный позор! Пленных, вместо того чтобы разжаловать, проверить в концлагере и проработать так, чтобы знали до четвертого колена, как попадать в плен. Вместо того, чтобы узнать путем серьезных исследований, не являлись ли они случайно японскими шпионами, не помогали ли японскому фашизму, этих вот подозрительных пленных так сразу пригласить к столу как победителей, товарищи, что же это такое! Не понимаю и не понимаю еще, почему это так взволновало меня! Почему мне стало завидно?.. И чего-то жаль. И радостно, что есть на свете гордые люди, все помыслы которых направлены на жизнь и на доверие к человеку. Черт побери, какие же хорошие вещи бывают на свете!»



# ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ!

(Читайте стр. 4)







**МЫ – НА КРАЮ ПРОПАСТИ  
Наступит ли для нас и наших детей  
ЗАВТРА?**

Шанс дает нам  
международная экологическая акция,  
которая стартует  
22 апреля 1990 года.

ФОТО АЛЕКСАНДРА КОВАЛЯ, ЕВГЕНИЯ СТЕЦКО, ВЛАДИМИРА ОГЛОБЛИНА

МОНОЛОГ ТОВАРНОГО ВАГОНА

В жизни радостной и грустной,  
Продышен и прошылен,  
То под Грозным, то под Рузой  
Снова занят я погрузкой,  
Виды видевший вагон.

Я не красный и не синий,  
Я других совсем кровей,  
Я из тех, что по России,  
Зной и холод пересилив,  
Тянут, что потяжелей.

И в меня на ветке дальней,  
Где не молкнет гром и звон,  
Где тошият от указаний,  
Грузят щебень, грузят гравий,  
Глину, уголь и бетон.

Я не знаю белоручек,  
Мой народ совсем простой.  
В дни авансов и получек  
Веселей кидает грузчик,  
Что безусый, что седой.

Я стою большой и грубый,  
И, как груз, идут в меня  
Хохоток технички юной,  
Бас диспетчера угрюмый  
И обходчиков возня.

Вместе с толем и рудою  
Грузят вдоль и поперек  
Синий взгляд с тоской и болью,  
Расположенность к запою,  
Мягкий вздох и матерок.

Перегрузка неизбежна,  
И уже поверх руды  
На меня кладутся нежно  
Чья-то добрая надежда,  
Чьи-то тайные мечты.

Через ширь полей и пашен  
Покачу и побегу.  
Вид мой будет так неважен,  
Что никто и не помашет,  
Что ж махать товарняку?..

Все стерпев и все осилив,  
Сквозь пургу и сквозь грозу  
Все, что люди нагрузили,  
Словно капельку России  
К лучшей доле повезу.

## ПРЕДАНИЕ

Слышал я предание,  
Скорбный сказ,  
Дело было давнее,  
Не при нас.

Жизнь казалась вечной  
Здесь и там.  
Вдруг село над речкою —  
По-по-лам!

В каждом доме трещины —  
По семье,  
В голос плачут женщины  
На земле.

Плачут благоверные:  
Верь — не верь,  
Красные да белые  
Все теперь.

Брат, отец ли, деверь ли,  
Сын-сынок,  
Как же это сделали,  
Где же Бог?

Нет ответа ясного,  
Только так:  
Белый цвет для красного —  
Лютый враг.

И с душой не тяжкою  
У крыльца  
Сын с размаху шашкою —  
Да отца.

Стоном стонет улица,  
Рухнул лад.  
С красным братом рубится  
Белый брат.

Нынче-то дробиночка  
Ценится!  
В деда внук-кровиночка  
Целится.

Шел, вскипая классово,  
Двор на двор,  
На соседа красного  
Белый пер.

И сверкала сабелька:  
Кто не мертв?  
И строчил по всадникам  
Пулемет.

Этот бой и выкосил  
Полсела.  
Кто и как их выкрасил,  
Чья взяла?

Все они поруганы,  
Бедные.  
А тела порубаны —  
Белые.

Жизнь была расколота  
Разная,  
А вся кровь, что пролита, —  
Красная.

### НИНА ЛОКШИНА

Огромны, словно яблоки,  
Блестящих бус шары...  
Что прячется на ярмарке  
Под видом мишуры?

Что вьется над жаровнею  
Живее, чем огонь?  
И что хранит неровная  
Тяжелая ладонь?

Чем души согреваются,  
И чем мы дивы врозь?  
Что с кровью отрывается,  
Что намертво срослось?

### ПЕТРАРКА

Течение меня удержит на плаву,  
Рукой не шевельну, отдавшись воле рока,  
Я ненавижу день, в котором я живу,  
Название ему — тосклива морока.

Меня боготворят разбойная мольва,  
Носящие ножи хватаются за слово,  
Спасенья нет. Из всех законов естества  
Останется в живых лишь алчуещая злоба.

При виде суэты меня бросает в дрожь,  
Когда бегущий — слеп, а видящие — хромы,  
И блеском золотым кичится каждый гроши,  
И каждой конуре мерещатся хромы.

Но Ты... Что говорить? Вчера в сиянье дня,  
Еще храня в груди приверженность обетам,  
Я понял, ЧТО во мне переживает меня...  
Господь не приведи обманываться в этом!

# ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

Тюрьма — «лекарство» от алкоголизма?  
Как уволиться из армии

Прошу мне и шестистам «профилактируемым» в ЛТП-2 города Мозыря Гомельской области, да и всем, кто находится в ЛТП, объяснить, по какому праву мы сидим за четырехметровым забором с проволокой и сигнализацией, с контрольно-следовой полосой, с охранниками по углам, вооруженными дубинками. Всем понятно, что производство и распространение наркотиков запрещены, что за это людей наказывают по закону. Водка же и остальные горячительные напитки продаются в государственных магазинах. Значит, государству выгодно, чтобы существовали зоны, куда можно без настоящего суда и, собственно, без вины посадить человека только по заявлению бывшей жены, соседа, с которым поругался, или озлобившегося на тебя участкового.

Мы же никого не обокрали, не убили, а главное, не нарушили ни одной статьи уголовного кодекса. Расскажу, как судит так называемый суд. Первым заходит участковый, докладывает, точнее, подготавливает почву, затем заходишь ты, а там сидят три человека (прямо как в сталинские времена — особое совещание): пил? — Пил. — Получай два года. Пять минут суда

и — новый раб испечен, пожалуйте за забор, за проволоку. После суда тебя сажают в ИВС (изолятор временного содержания) до этапа. Суток трое, а то и больше находишься в переполненной вонючей камере, где нет ни унитаза, ни раковины, а только параша, которая выносится раз в сутки. Каждого фотографируют в фас и профиль. Вот это подготовка в лечебное учреждение! В ЛТП начинают насилию лечить тебя (откажешься — добавят год) препаратаами, от которых человек заболевает гастритом, язвой желудка, психозами, сердечными и печеночными болезнями. О каком лечении, о каком гуманизме можно говорить? Врачи, медицинский персонал, рота охраны, администрация и противостоящий им спецконтингент, так называемые больные алкоголизмом или профилактируемые (что за слово в русском языке?), ненавидят друг друга лютою ненавистью. Да в таких условиях естественно ненавидеть и МВД, и Минздрав, да и все государство, считая всех виноватыми в своих бедах. Многие к концу срока психологически готовы изменить Родине, мстить, мечтая о какой-нибудь заварухе, где можно громить и бить безнаказанно. Вот что

взращивает лицемерная гуманность МВД и Минздрава. Такого нет ни в одной стране. Контролерам дали дубинки, и теперь можно лупить за косой взгляд, за то, что не понравилась твоя физиономия. Правда, сделать это лучше в изоляторе, подальше от глаз и ушей. Там же объяснят, что не помогут тебе даже жалобы Господу Богу.

По какому праву с меня и других за мою не очень легкую работу высчитывают в доход государства 30 процентов (в лагере 50), потом подоходный, бездетный — и все с общей суммы заработка, затем за спецлечебение и питание (хотя, как пишут, у нас лечение бесплатное), за спецодежду, ставя меня в рабское положение. Какая уж тут любовь к Родине, если я лишен всех моральных и человеческих прав, унижен обысками, проверкой писем! Почему я, как утверждают, больной, не могу за свои заработанные здесь отнюдь не легким трудом деньги купить в магазине ЛТП себе продуктов больше чем на десять рублей в месяц (на общем режиме колонии то же самое) и должен жить впроголодь: то, что готовят в столовой, нельзя не только есть, на это и смотреть-то невозможно. А врачи говорят — все нормально... Рушатся семьи. В ЛТП процветает и поощряется доносительство, фискальство, подлость, подхалимство. Доносишь на своих товарищах — молодец, домой пойдешь раньше или отоваришься лишний раз в магазине. Здесь и ребята, которым едва по 18—20 лет исполнилось, и бывшие «афганцы», уже алкоголики второй-третьей степени. Что ждет их, да и всех нас, которые здесь? После ЛТП на работу не очень-то устроишь-

ся, все же знают, что эффект лечения нулевой, но молчат, всем на нас наплевать. И остаются грязная, тупая, малооплачиваемая работа и водка, а то и наркотики. Многие здесь находятся не в первый раз, но проблесков не видно, а есть люди, что отбыли по четыре, пять, да и по шесть-семь раз по два года, а эффект такого «лечения» нулевой. Мне осталось немного до конца срока, так что я пишу не только от себя, но и от всех. Хотя после этого письма — не знаю, может, упрут в дурдом или еще куда подальше. Но надоело бояться.

**ИГОРЬ ЛОМОВ,  
возраст Иисуса Христа**

■ Пишу из ЛТП. Что касается наказания, то оно у нас такое же, как и у мужчин. Вот только врачи у нас «широкого профиля». Нарколог, он же терапевт, он же может быть даже гинекологом или стоматологом, поскольку профессиональных гинекологов или стоматологов у нас можно увидеть раз в неделю, да и то не каждую.

Что касается наказания и лекарств, так у нас препараты применяются такие же, как и у мужчин. Это, наверное, оттого, что у нас в стране избыток сульфазина, галоперидола, аминазина. На себе я еще эти препараты не испытывала, но людей после такого «лечения» здесь встречала.

Режимную часть у нас возглавляет бывшая воспитательница из Бутырской тюрьмы. Поэтому у нас бесконечные досмотры и обыски при выводе на работу и с работы. Особенно усердствует контролер Валентина Николаевна. Если попала к ней на «шмон», пиши — пропало: и разует, и разденет, и, изви-

ните за выражение, штаны снимет. А уж «жертве» придется раздвинуть ягодицы и приседать. Могут и к медсестре отправить (к медсестре, заметьте, а не к гинекологу), она еще «досмотрит». Это ли не унижение человеческого достоинства?

С письмами дело тоже обстоит плохо. Формально у нас цензора нет, этим делом неформально занимается оперчасть. В итоге — половина писем куда-то девается.

Все это я вам пишу не для того, чтобы меня кто-то пожалел, нет. Мы сами виноваты. Но неужели лучший выход из положения — собрать 800 женщин в «колодце» из бетона и асфальта, полностью изолировать их от общества, от семей? Не слишком ли это жестоко? Где же наш гуманный суд и почему он выносит такой негуманный приговор? Откуда у нас в 18—20 лет хронические алкоголики? На все это мне хотелось бы получить ответ от компетентных лиц, а не от администрации этого учреждения. Куда бы мы ни писали свои жалобы и просьбы, все возвращается в ЛТП — нашей администрации все карты в руки.

И еще у меня предложение: нужно поменять вывеску заведения. Это не профилакторий, и тем более не лечебный. Здесь, мне кажется, больше подойдет ярлык «колония усиленного режима для женщин-алкоголичек».

И. А.  
МОСКВА

**Письма из ЛТП комментирует психиатр — доктор медицинских наук, профессор Юрий Антропов.**

Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) представляет со-

бой нечто среднее между медицинским учреждением и тюрьмой. Основная задача ЛТП — лечение больных, страдающих алкоголизмом. Направляются в ЛТП больные, не желающие добровольно лечиться и при этом нарушающие трудовую дисциплину и общественный порядок. Направляются они по решению народного суда сроком от одного до двух лет на принудительное лечение и трудовое перевоспитание. Обусловлено это необходимостью не только лечения и трудового перевоспитания их, но и предупреждения общественно опасного поведения (поэтому и название — профилакторий). Надзор и охрану лиц, помещенных в ЛТП, осуществляют органы МВД. Они же обеспечивают необходимые меры принуждения (лечение, труд). За побег из профилактория виновные привлекаются к уголовной ответственности.

Вместе с тем необходимо особо подчеркнуть, что лечение в ЛТП является мерой административного принуждения по отношению к больным алкоголизмом, не совершившим уголовного преступления (принудительное лечение алкоголиков, совершивших преступление, проводится одновременно с уголовным наказанием в местах лишения свободы). Гражданский статус лиц, помещенных в ЛТП, иной, чем у осужденных преступников. Время принудительного лечения не прерывает трудового стажа и засчитывается в общий стаж. За ними сохраняется право на жилую площадь, а по освобождении их, как правило, трудоустраивают по месту прежней работы.

Всякие иные, кроме указанных, меры принуждения по отношению к лицам, находящимся

в ЛТП, со стороны медицинских работников или сотрудников милиции противозаконны. Противозаконно и помещение больных в случае конфликта в медсанчасть профилактория и принудительное введение им сульфазина, аминазина, галоперидола. Приказом министра здравоохранения СССР № 470 от 15.08.1989 года запрещено применение сульфазина без согласия больных или их законных представителей. Нейролептические же препараты (к ним относятся, в частности, аминазин и галоперидол) по существующей практике и в соответствии с приказом Минздрава СССР № 291 от 23.03.1976 года используются при лечении больных алкоголизмом с целью подавления патологического влечения к алкоголю. Но применяются обычно другие препараты (этаперазин, карбидин, флуширилен и т. п.), и в малых дозах. Однако следует иметь в виду, что в случаях употребления больным алкогольных напитков (это бывает в ЛТП) может возникнуть абстинентный синдром (состоит из похмелья) с выраженным психическим и двигательным возбуждением. И тогда введение аминазина или галоперидола наряду с другими средствами купирования абстиненции правомерно.

В ЛТП осуществляется прокурорский надзор. И потому лицам, находящимся там, обо всех случаях беззакония следует сообщать прокурору (города, района), обязанностью которого является проведение расследования и привлечение к ответственности виновных в совершении актов произвола.

С В рядах Вооруженных Сил СССР я прослужил четыре года, сейчас — старший лейте-

нант. За это время утвердился в мысли, что я не на своем месте, что не смогу в армейских условиях полностью раскрыть свои способности, использовать весь запас знаний, а значит, и не смогу быть в полной мере полезным обществу.

Еще на пятом курсе училища я стал осознавать все это, подавал рапорт об увольнении, но он был отклонен. Годы непосредственной службы в Вооруженных Силах окончательно убедили меня в правильности принятого решения.

Проблема увольнения из Вооруженных Сил касается не только лично меня, но и многих офицеров, кто, как и я, ошибся в выборе профессии или в силу других обстоятельств и причин не может далее продолжать службу. Свою жизнь люди стараются сейчас строить, основываясь на принципах демократии и гласности, и понятно, что особенно остро многими стала восприниматься невозможность в армии иметь собственные взгляды и суждения, расходящиеся с установками командира и политотдела, зависимость общественного мнения от взглядов командования на тот или иной вопрос, обстановка келейности и двуличия, до сих пор царящая в армии. Все это, да и многое другое, оттолкнуло меня от армии. Что же остается оказавшимся в таком положении?

Для того, чтобы добиться увольнения, нужно доказать, что я прогульщик, пьяница, аморальная личность. Это единственный путь. Об этом напрямую говорят командиры и начальники тем, кто добивается увольнения. Но как можно уважающему себя, здравомыслящему человеку скатиться на путь прогулов, дебошей, алкоголизма? Что делать?

**И. С. ВАРЦАН,**  
**Баку**

# УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА

Марк АЛДАНОВ  
Рисунки Геннадия Новожилова

# II

го



105

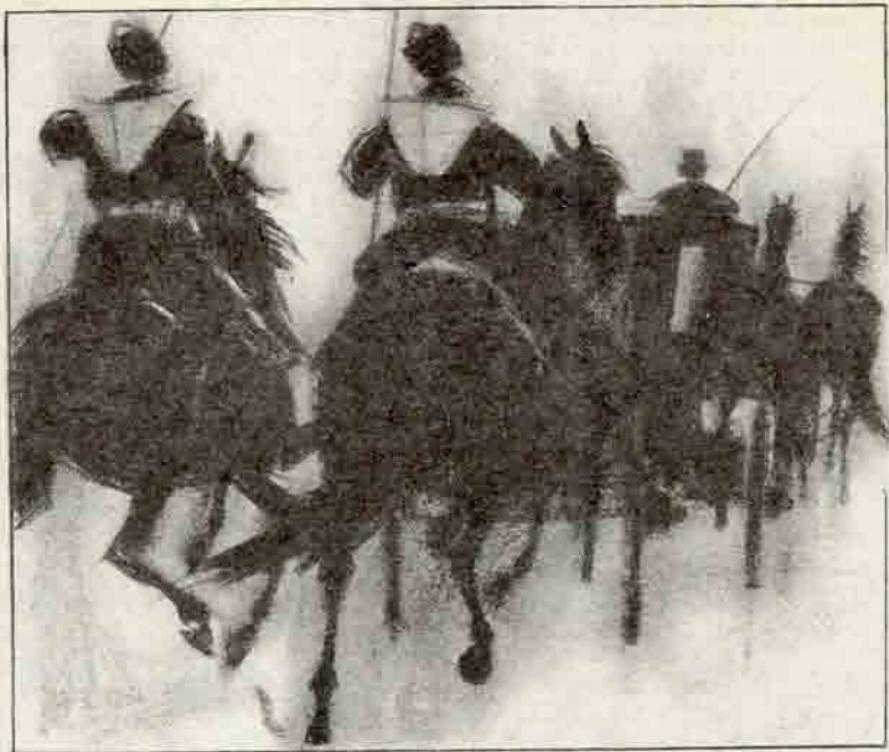
До завтрака Александр II послал скорохода спрашаться о здоровье Лорис-Меликова<sup>1</sup>. Велено было повторить, что если граф нездоров, то государь император приедет к нему. Через четверть часа министр явился в Зимний дворец.

Александр II прочел, одобрил и подписал документ, оповещавший о государственной реформе. Из этого позднее делали вывод, будто он предчувствовал свою смерть и, зная взгляды наследника престола, торопился с указом. Царь действительно торопился: велел послать за Валуевым<sup>2</sup> и непременно хотел кончить дело к среде. Но едва ли у него были мрачные предчувствия. Во всяком случае, он ни с кем ими не делился. На против, он становился все веселее. Лорис-Меликов, кашляя, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка и в ней ничего не найдено.

— Была ложная тревога, Ваше Величество, слух о каком-то подкопе. Никакого подкопа не обнаружено. Тем не менее я все о своем, государь: лошадка упрямая, везет прямо,— сказал министр. Он был счастлив: бумага с подписью была наконец им получена.— Приемлю смелость снова просить Ваше Величество нынче не ездить на развод. Ибо...

— Ладно, ладно, должно быть, не поеду,— сказал царь с легким раздражением: он торопился к книжине, и ему надоел этот больной кашлявший старик.— Поезжай домой, Михаил Тарилович, и ложись в постель. Ты совсем нездоров.

Как только министр внутренних дел удалился, доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны. Царь, хоть



с досадой, согласился ее принять. Он был в холодных отношениях со своим братом Константином и потому всегда старался быть особенно любезным с его женой.

Узнав, что государь не едет на развод, великая княгиня вздохнула. В этот день в параде в первый раз принимал участие ее юный сын Дмитрий.

— *Pauvre Mitia sera désolé<sup>3</sup>!..*

Император тотчас ожился. Ему очень хотелось поехать на развод, и он был рад новому обстоятельству.

— Если так, то я поеду, — сказал он. — Я слова не давал и не хочу огорчать твоего мальчика. Мне и самому еще совсем недавно было двадцать лет.

Великая княгиня так его благодарила, что уже было бы и невозможно взять назад обещание. Немецкий акцент невестки забавлял царя. Отделавшись от нее, он почти взбежал к жене по винтовой лестнице, которая иногда его утомляла; теперь не утомила никаколько.

Княгиня Юрьевская<sup>4</sup>, не бывшая утром у обедни, сидела перед трюмо, повязанная оренбургским платком.

— *Je viens de signer le papier en question<sup>5</sup>* — радостно сказал он. Юрьевская перекрестилась.

— Ну, слава Богу!

— *Ce document fera une bonne impression. Il sera pour la Russie une nouvelle preuve que je lui accorde tout ce qui est possible<sup>6</sup>.*

Княгиня очень смутно знала, что такая конституция, и ей не

пришло бы и в голову читать длинный скучный проект министра внутренних дел. Но Лорис-Меликов говорил с ней гораздо откровеннее, чем с царем, так как ее гнева не опасался. Ей он без намеков объяснил, что в случае принятия проекта ее коронование станет вполне возможным. Впрочем, это соображение не было у княгини Юрьевской главным. Она страстно любила царя, знала, как его волнует вопрос о выборных людях, и больше всего хотела, чтобы он успокоился.

— Слава Богу, Саша! Я так рада. Увидишь, теперь все будет отлично!.. Ты уже сказал Марии?

— Тебе все говорю первой.

Она накануне ездила к Лорис-Меликову и совещалась с ним о мерах охраны императора. Ей теперь было страшно, когда он покидал дворец.

— Ну хорошо, обещал, так поезжай. Но об одном тебя прошу. Ты знаешь, как я всегда волнуюсь... Скажи совершенно точно, когда ты вернешься, и не опаздывай.

Он, смеясь, сделал расчет:

— Развод кончится в три четверти второго. Оттуда я должен заехать к Кате<sup>8</sup>: она обиделась бы, если бы я не приехал. Считай полчаса у нее. Из Михайловского дворца прямо приеду домой. Буду, значит, в два тридцать. Зато после этого весь день проведем вдвоем, до обеда у Владимира<sup>9</sup>.

— И еще одно. Умоляю тебя, Саша, не езди по Невскому и по Малой Садовой! Слава Богу, что насчет лавки была ерунда, но

Появление на страницах наших журналов произведений писателей русского зарубежья — событие, бесспорно, значительное, но только еще начинающееся. Подводить итоги, конечно, рано, хотя творческий путь многих из них уже завершен, и вынужденный этот, но весьма, однако, запоздавший экскурс в историю русской литературы XX века, признаем прямо, не делает нам чести. Тем не менее пришло время платить долги. Новая рубрика «Смены» отчасти и призвана заполнить досадные эти лакуны, взяв на себя горькую и все же приятную миссию возвращения имен забытых или вовсе читательской памятью — не по своей воле — обойденных.

К таким — возвращающимся — русским писателям принадлежит Марк Александрович Алданов (1889—1957), покинувший Родину в 1919 году. Долгие десятилетия он оставался для нас тем представителем отечественной литературы, которых можно определить русским фразеологизмом «отрезанный ломоть». Не его вина, как, впрочем, и не вина нынешнего поколения советских читателей, что первое признание нашего соотечественника произошло не в России и принадлежит французам, но признание — подчеркнем это, — оказавшееся более чем почетным: созданный Алдановым в 1923 году роман «Девятое Термидора» был удостоен во Франции премии как лучшее произведение о Великой французской революции. Считать это случайной удачей не позволяет все за тем последовавшее и с течением времени бескомпромиссно оце-

я боюсь... Вели Фролу ехать по Екатерининскому каналу. Это тихая улица, там людей очень мало, там ничего быть не может.

— Значит, оба конца по Екатерининскому каналу? — спросил он и обещал исполнить ее просьбу. Поцеловал ее еще раз, прошел к детям, повторил Гого свое обещание подарить ему медальон и весело простился с семьей.

Полицеймейстер Дворжицкий, разговаривавший об анархистах с министром двора, вытянулся до предела возможного.

— Здравствуй, Дворжицкий, как живешь? Едем, погода прекрасная! Солнце и холод, люблю, — сказал царь.

Для большей безопасности у царского подъезда была пристроена длинная закрытая галерея, в которой ждали экипаж и конвой. Таким образом злоумышленники не могли точно предугадать момент выезда царя. Лейб-кучер Фрол Сергеев умел с места переводить лошадей на рысь. Карета быстро выехала из галереи. Ее окружали казаки Терского полка.

— В Михайловский манеж, по Екатерининскому каналу, — приказал царь.

Лейб-кучер Фрол Сергеев, знаток своего дела, знал, что на царя готовятся покушения. Дворжицкий и Кох не раз давали ему указания и вразумительно объясняли, что и он будет убит, если злодей бросит бомбу. Это нетрудно было понять и без объяснений. Вызывала к себе лейб-кучера также княгиня Юрьевская, умолявшая его за всем следить и не жалеть рысаков, самых лучших в России. Фрол Сергеев боялся только

107

ненное самыми высокими литературными авторитетами.

На что уж строг, на что требователен, а иной раз прямо-таки крут был Иван Алексеевич Бунин к собратьям своим по искусству и на вершину русского Парнаса безоговорочно допускавший только Пушкина, Толстого и Чехова, иных же судивший по строжайшему «гамбургскому счету», — а ведь и он, сам Бунин, не обошел добрым словом младшего своего современника — Марка Алданова. Именно Бунин предрекал, что когда книги Алданова смогут быть переизданы в России, то будут расходиться у нас миллионными тиражами. Сегодня бунинское предсказание, по-видимому, на пороге того, чтобы начать сбываться, — первые журнальные публикации подтверждают его правоту.

Ждет еще своего издателя (а за читателем, уверены, дело не станет!) главный труд Алданова — шестнадцать романов, охватывающих события почти двух веков русской и европейской истории (от дворцового переворота 1762 года и вплоть до смерти Сталина в 1953-м), в число которых входит и роман «Истоки», посвященный бурным событиям второй половины XIX века в России.

Мы публикуем главу, описывающую только один день — 1 марта 1881 года — седьмое по счету и последнее покушение на императора Александра II. Думается, читатель оценит литературные достоинства романиста Марка Алданова, равно как и историческую познавательность произведения, до сих пор у нас не издававшегося.

поворотов, но и на них задерживал лошадей лишь на полминуты. По набережной карета понеслась так, что вокруг нее казаки перешли на галоп.

Услышав позади себя топот, взводный флотского экипажа оглянулся, увидел карету царя и прокричал команду. Экипаж мгновенно выстроился у решетки Михайловского сада. Загремел барабан. Мальчик остановился и замер, восторженно глядя на мчавшихся лошадей. Карета пронеслась мимо флотского экипажа. «Николай! Сейчас! Сию минуту!» — беззвучно закричала Перовская<sup>10</sup>. Рысаков<sup>11</sup> все так же, не глядя по сторонам, шел, пошатываясь, по краю набережной. Казак чуть не наскочил на него и, обернувшись, погрозил ему нагайкой. Рысаков глядел вперед бессмысленным взглядом, отбросил от себя вдогонку карету своей сверток, точно хотел от него освободиться. Раздался страшный удар. Все заволокло дымом.

Когда дым немного рассеялся, Перовская с отчаянием увидела, что царь выходит из осевшей на бок кареты. «Спасся!.. Тарас!» — подумала она. На снегу лежали люди. Одна из казачьих лошадей без всадника бешено неслась вперед. Другие лошади взвились на дыбы. К карете сзади подбегал выскочивший из своих саней полицеймейстер, — его искаженное лицо запечатлелось у нее в памяти. Она не сразу увидела, что Рысаков, теперь шатаясь совсем как пьяный, бежит назад к Инженерной, что его нагоняют люди. «Тарас! — подумала она. — Тарас услышит взрыв, а потом узнает, что все пропало!» И в ту же секунду она вспомнила о Гриневецком<sup>11</sup>. Он стоял все так же неподвижно, со скрещенными руками, прислонившись к решетке Екатерининского канала.

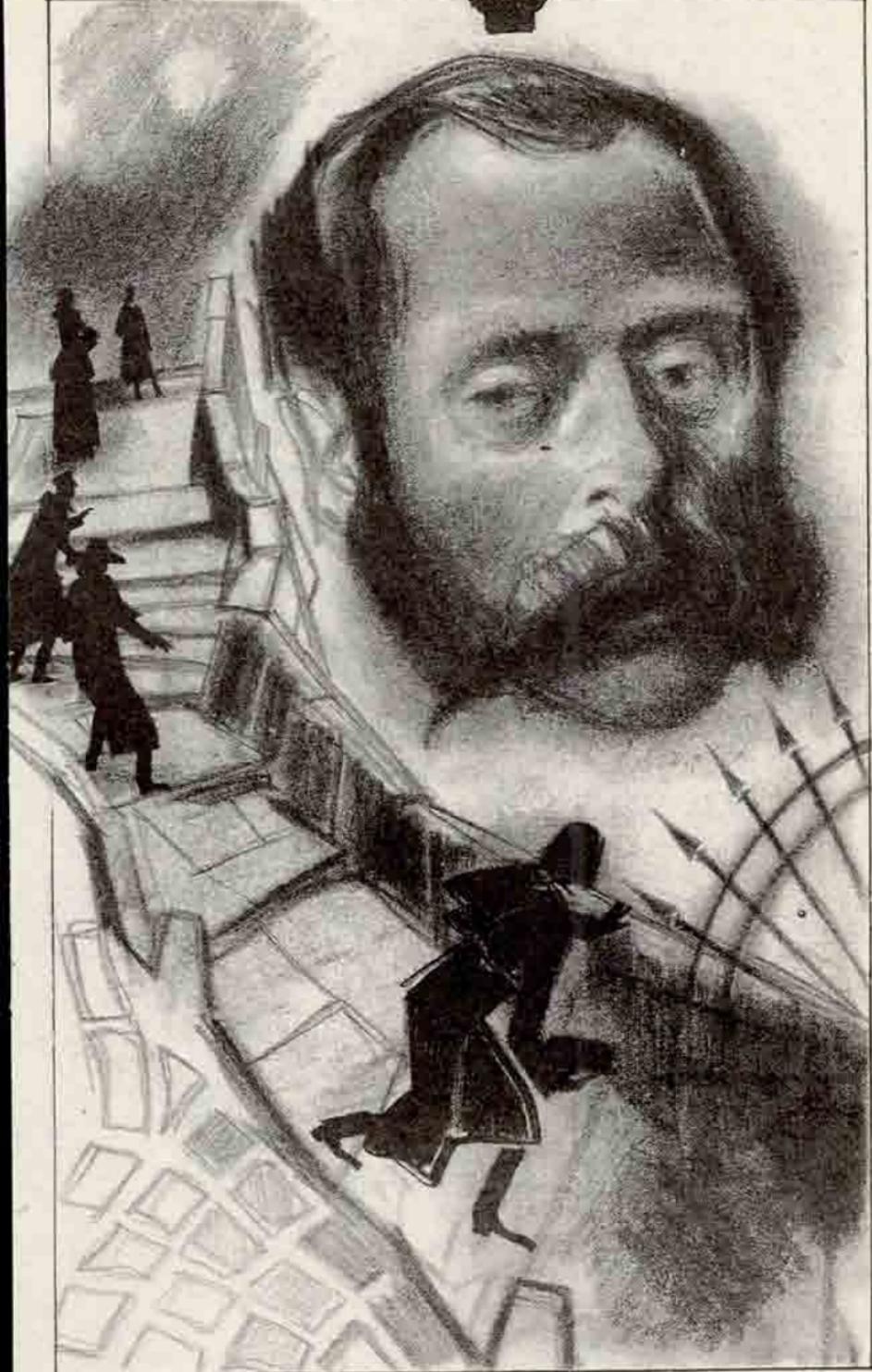
К месту взрыва бежали солдаты, полицейские, еще какие-то люди. Все смешалось. Перовская больше не видела ни Рысакова, ни царя. Она лишь вечером узнала то, что узнали все в мире. Много людей в тот день говорили, что «первые схватили злодея». Хвалились этим и жандармский капитан Кох, и фельдшер Горохов, и городовой Нестроворов, и мостовой сторож Назаров, и рядовой Евченко. По-видимому, в него сразу вцепилось несколько человек. Царь, тоже пошатываясь, подошел к нему, смотрел на него с минуту и спросил:

— Ты бросил бомбу?  
— Да, я.  
— Кто такой?  
— Мещанин Глазов, — сказал Рысаков, отчаянно на него глядя. Царь еще помолчал.

— Хорош! — сказал он наконец и отошел. Он был оглушен взрывом, и голова у него работала не ясно. — Un joli Monsieur!<sup>12</sup> — негромко сказал Александр II.

Дворжицкий задыхающимся голосом спросил его:  
— Ваше Величество, вы не ранены?  
Царь еще успел подумать, что надо за собой следить, не сделать и не сказать ничего лишнего. Помолчав несколько секунд, царь медленно, с расстановкой ответил, показывая на корчившегося мальчика:

— Я нет... Слава Богу... Но вот...  
Свидетели показывали, что Рысаков, услышав ответ царя,



сказал: «Еще слава ли Богу?» Прокуратура ухватилась за эти слова. Сам он говорил, что не помнит, сказал ли их, и, конечно, говорил правду: в том состоянии, в каком он находился, и не мог их помнить. Вероятно, Рысаков это сказал,— как, вероятно, Желябов<sup>13</sup>, человек неизмеримо более крепкий, в момент ареста иронически спросил полицейских: «Не слишком ли поздно вы меня арестовали?» Такие замечания вредили не только им (об этом они, особенно Желябов, не думали), но их делу: полиция очень насторожилась после слов Желябова, а услышав «Еще слава ли Богу?», царь, по требованиям здравого смысла, должен был тотчас уехать. Однако Рысаков в ту минуту был близок к умопомешательству. Потребность в вызова могла оказаться сильнее всех других чувств. Он бессознательно утешал себя этими словами. Едва ли он и желал успеха следующему металышки: теперь ему было все равно.

Не он один потерял голову на набережной. Император, наверное, спасся бы, если бы он или люди, ведавшие его охраной, сохранили самообладание. Совершенно правильно заметил в своих воспоминаниях Тихомиров, вернувшийся в Петербург как раз 1 марта и в тот же вечер слышавший рассказ Перовской о деле: Александр II сам пошел навстречу смерти. Он не должен был и приближаться к террористу. Скорее всего царь подошел к нему из любопытства. Могли быть и соображения престига: надо было показать быстро собравшейся толпе, что он не испугался, что он сохранил полное спокойствие. Однако у людей, ведавших его охраной, таких соображений быть не могло. По самому характеру своей службы они должны были наперед сто раз представлять себе картину покушения на царя и обдумывать, что тогда надо будет сделать. В действительности все, что они делали 1 марта на набережной Екатерининского канала, было совершенно бессмысленно.

По правилам царского конвоя, казакам полагалось тотчас сходить с коней, когда император выходил из кареты. Лошади взвились на дыбы, казаки с них соскочили и вцепились в поводья: отпустить взбесившихся лошадей было невозможно. Таким образом царь остался без охраны. Лишь казак, сидевший на козлах рядом с кучером, не потерял головы и, ахая, как все, сказал полицеемейстеру, что надо поскорее увезти его величество в санях.

— Что там в санях!.. В карете увезу!.. Довезу, ничего! — говорил оглушенный кучер, тоже соскочивший с козел. Полицеемейстер дико взглянул на кучера, схватился за голову и побежал нагонять царя. Все же он успел на бегу сообразить, что совет казака правilen.

— Ваше Величество... Соблаговолите сесть в мои сани... Осчастливите... Во дворец... Видит Бог... Мало ли что может... — задыхаясь, говорил он.

— Покажи мне сначала... все, — сказал царь. Он и сам не знал, что хочет видеть.— Покажи место взрыва.

Он остановился над умиравшим мальчиком, над трупом убитого наповал казака. Окружавшие его теперь люди, полицеемейстер, солдаты, сбегавшиеся случайные прохожие, все одновре-

менно говорили, не слушая друг друга. Царь не любил толпы, даже придворной, но в такой толпе отроду не был. Он медленно попал дальше, не зная, куда и зачем идет. Теперь карета, место взрыва, сани, мальчик, толпа были позади него. Впереди был только Гриневецкий.

Полицеймейстер, шедший рядом с императором справа, тем же отчаянным голосом говорил что-то невразумительное. Здравый смысл предписывал пойти назад, тотчас сесть в сани и вернуться в Михайловский дворец по дороге, на которой металышников не оказалось. Можно было также послать вперед полицию, казаков, флотский экипаж для того, чтобы они расчистили дорогу к Зимнему дворцу.

Перовская увидела, что царь в сопровождении полицеймейстера идет вперед, к Гриневецкому. Он шел неровно, зигзагами, то приближаясь к решетке, то удаляясь от нее,— не совсем твердо держался на ногах. И так же неровно, тоже пошатываясь, бессознательно повторяя его движения, пошла вперед она по своей стороне канала. Впереди слева, опершись на решетку, стоял человек со скрещенными руками.

Люди в нормальном состоянии никак не могли бы не обратить внимания на эту странную фигуру. Только террорист — или умалишенный — мог в эту минуту стоять неподвижно вдали от всех. И царь, и полицеймейстер видели Гриневецкого: его нельзя было не видеть. «Что же это?.. Отчего не бросается навстречу?.. Чего ждет?.. Его схватят!» — все больше задыхаясь, думала Перовская. Расстояние между царем и Гриневецким уменьшалось, но Гриневецкий точно прирос к земле и к решетке. На последнем своем зигзаге царь почти с ним поравнялся. Лишь теперь он заметил этого не снявшего шапки человека, он встретился с ним взглядом — и вдруг понял. Гриневецкий высоко поднял обе руки и почти отвесно изо всей силы бросил своей белой сверток между царем и собой.

Второй взрыв почему-то оказался гораздо более сильным, чем первый. Перовская закричала диким голосом, закрыла лицо руками и побежала назад. На правой стороне канала повалилось в снег много людей. Слышались отчаянные крики. Дым не расходился минуты две.

Александр II и его убийца, оба смертельно раненные, сидели почти рядом на снегу, опираясь руками о землю, спиной о решетку канала. Рядом с ними упал на четвереньки полицеймейстер. Лошади пронеслись мимо них, волоча подбитую карету. За обезумевшими лошадьми гнались обезумевшие люди. Все орали, хватались за голову, бежали кто вперед, кто назад. По приказу обезумевшего взводного обезумевшие солдаты зачем-то ломали решетку сада. Подбежавший в последнюю минуту металышник Емельянов спрятал за пазуху снаряд и бросился помогать царю.

На месте никакой помощи императору оказано не было. Примчавшийся из Михайловского дворца великий князь Михаил, ротмистр Колюбакин, металышник Емельянов и другие люди подняли царя и перенесли его в сани. «В первый дом внести!..

Не доедет!.. Разве так можно?.. Вот сюда внесем! — задыхаясь, сказал кто-то. Александр II услышал это и прошептал (быть может, подумал о княгине):

— Во дворец... Там умереть...

Одежда была сожжена или сорвана взрывом, царь был наполовину гол. Ноги его были совершенно раздроблены и почти отделились от туловища. Ротмистр Колюбакин поддерживал царя в крошечных санях. По дороге Александр II открыл глаза и будто бы спросил: «Ты ранен, Колюбакин?»

В том же состоянии паники внесли его из саней во дворец, не на носилках, даже не на кресле, а на руках. Люди засучили рукава, с них кровь струилась, как с мясников. В дверь дворца втиснуться толпе было трудно. Дверь выломали, все так же держа на руках полуголого, обожженного, умирающего человека.

Дежурный дворцовый доктор Маркус и дежурный фельдшер Коган как раз садились пить чай в одной из отдаленных комнат дворца. Истопник прибежал с криком: «Скорей! Идите!.. Государю ноги оторвали!» Они сломя голову побежали за истопником.

В длинной темной узкой зале перед царским кабинетом по окровавленным коврам бегали окровавленные лакеи с засученными рукавами. Император лежал в кабинете на диване, передвинутом от стены к письменному столу. У изголовья неподвижно стояла с застывшим лицом княгиня Юрьевская, а на коленях перед диваном великий князь Александр Александрович. Уже было послано за членами царской семьи, за лейб-медиками, за духовником, за главными сановниками. Некоторые из них входили в кабинет,ахали и останавливались, глядя на диван. Кто-то заплакал. За ним заплакали другие. Вошел английский посол, лорд Дюфферин, тоже замер на пороге, затем приложил платок к глазам.

Растерянный фельдшер Коган прижал артерию на левом бедре царя. Доктор Маркус заглянул в медленно раскрывшийся окровавленный левый глаз умирающего и упал на стул, лишившись чувств. Кто-то лил воду на лоб Александра II.

В кабинете появился Лорис-Меликов. Он впился глазами в лежавшую на диване окровавленную груду мяса и костей, пошатнулся, сделал несколько неверных шагов на цыпочках. Бескровное лицо его выражало беспредельное отчаяние. Лорис-Меликов тяжело закашлялся, приложил ко рту платок и спешно отошел в дальний угол комнаты. Там, не сводя распиренных глаз с дивана, стояли два мальчика в матросских курточках: великий князь Николай Александрович и принц Петр Ольденбургский. За дверью послышались быстрые тяжелые шаги. В комнату вбежал лейб-медик, знаменитый врач Боткин. Все перед ним расступились. Настала тишина, продолжавшаяся минуты три.

— Есть ли надежда?

Боткин отрицательно покачал головой в ответ на вопрос наследника.

— Никакой, Ваше Высочество, — негромко сказал он, подумав, что уже можно было бы сказать «Ваше Величество».

- <sup>1</sup> Лорис-Меликов Михаил Таризлович (1825—1888); в 1880—1881 гг.—министр внутренних дел.
- <sup>2</sup> Балуев Петр Александрович (1815—1890); с 1879 по 1881 г.—председатель Комитета министров, член Государственного совета.
- <sup>3</sup> «Бедный Митя будет огорчен...» (франц.)
- <sup>4</sup> Долгорукая Екатерина Михайловна (светлейшая княгиня Юрьевская) (1847—1922); с 1880 г. мorganатическая жена Александра II.
- <sup>5</sup> «Я только что подписал документ!» (франц.)
- <sup>6</sup> «Этот документ произведет хорошее впечатление. Для России он будет новым доказательством того, что я вложил в него все, что было возможно» (франц.).
- <sup>7</sup> Мария Александровна (1853—1920), великая княгиня, дочь Александра II.
- <sup>8</sup> Екатерина Михайловна (1827—1894), дочь великого князя Михаила Павловича.
- <sup>9</sup> Владимир Александрович (1847—1909), великий князь, сын императора Александра II.
- <sup>10</sup> Перовская Софья Львовна (1853—1881), член Исполнительного комитета организации «Народная воля».
- <sup>11</sup> Рысаков Николай Иванович (1861—1881), Гриневецкий Игнатий Иоахимович (1856—1881)—члены организации «Народная воля».
- <sup>12</sup> «Красавчик!» (франц.)
- <sup>13</sup> Желябов Андрей Иванович (1851—1881), виднейший деятель «Народной воли», организатор убийства Александра II.

**Предисловие и публикация  
АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.**

Спрессованное, пульсирующее время — Сессия, Съезд, Пленум... А дни между ними — сомнения, ожидания, надежды. Но главное, что решат там? Какой путь, какую стартовую опору предложат, чтобы, оттолкнувшись, обрести наконец желанную скорость, уверенность? Смотрим по сторонам, вверх — в себя заглядываем куда реже: самим решать, отвечать, действовать страшно. Пустые магазинные полки? Но ведь должны завезти! Задыхаемся от дыма и грязи? Но ведь должны очистить. Нет в достатке жилья, больниц, школ — должны же построить! Кто, когда, как — скажут на Съезде, Сессии, Пленуме...

Обязаны сказать, найти, обеспечить — а как иначе?!

Ждем... Но, конечно, и работаем. По мере сил, умения, желания. А этого, выходит, мало. Говорим: пятый год перестройки, а где улучшения? И не спрашиваем отчего-то себя: пятый год перестройки, а улучшились ли мы? Обрели гласность и плюрализм, отказались от единомыслия и строевого шага, но так и не научились (да и не хотим, пожалуй, учиться) решать, действовать, отвечать. Это в равной степени можно отнести и к рабочему, и к генеральному директору, к председателю сельсовета и к члену Верховного Совета СССР. Полумеры, полурешения, полуответственность...

Второй Съезд народных депутатов страны, лишенный сценической яркости и эйфории первого, разочаровал, возможно, тех, кто жаждал незыблемой определенности, гарантированного чуда. Справа ли, слева — не важно... Чуда не было. Была работа. Напряженная, дьявольски тяжелая. И не всегда результативная. Порой казалось — увязли депутаты, ни на миллиметр не сдвинутся в решении вопросов. А то вдруг, напротив, поражала поспешность, с которой принимались подавляющим в прямом смысле большинством решения, требующие, на наш взгляд, обкатки и более тщательного, неторопливого обсуждения. В чем-то частности заменяли общее, а общее не детализировалось, как хотелось бы того...

Но становилось ясно: в Верховном Совете СССР, в его комиссиях и комитетах уже сегодня, сейчас депутаты пытаются найти выходы из ситуаций, на первый взгляд,

# ПОДСЧЕТЫ ПОЛУЧИЛИСЬ

**тупиковых: распутать, развязать, а не разрубить узлы проблем, мертво стянутых годами лживого единодушия.**

**Безапелляционность суждений — еще не твердость взглядов и действий. Разумный компромисс порой становится кратчайшим путем к желаемому результату. Это тоже из уроков второго Съезда.**

**Следующий столь необходимый шаг — поименная ответственность — за Слово, Решение, Поступок...**

**И не только депутатов — каждого из нас.**



**МИХАИЛ  
БОЧАРОВ,  
президент  
ассоциации  
«Бутэк»**

Я считаю, что Съезды народных депутатов не нужны. Должен работать нормальный двухпалатный парламент, который может привлекать в свои комитеты, комиссии остальных депутатов. Сегодня проведение Съезда только усугубляет обстановку. Неподготовленные вопросы выносятся на обсуждение. Их невозможно решить за короткий промежуток времени. Тот же Закон о конституционном надзоре, например, вообще не нужен сегодня при старой Конституции. И проблемы экономики не стоило обсуждать на Съезде. Это попытка найти среднее между серьезными революционными преобразованиями и неким подходом, который был в застойные времена...

На мой взгляд, Съезд не движется ни в прогрессивную, ни в регressive сторону. Попытки обсудить поправки к Конституции в области собственности и земли не встретили на Съезде поддержки. Повестка дня второго Съезда не соответствовала требованиям общества, требованиям сегодняшнего, очень сложного положения в стране. Прогресса в развитии мышления большинства депутатов Съезда — не в обиду будет им сказано — не произошло. К сожалению, уровень восприятия, уровень понимания остался таким же, как на первом Съезде народных депутатов.



**ЗДУАРДАС  
ВИЛКАС,**  
академик  
Литовской  
Академии  
наук

На мой взгляд, экономическая программа, предложенная правительством, в общем-то подготовлена людьми знающими, в принципе она имеет все необходимое для стабилизации и улучшения нашей жизни.

И все же я не считаю, что программа достаточно радикальна и смела. Более того, усматриваю опасность, что экономическая реформа может забуксововать, завязнуть, не раскрыть своих новаций.

Согласитесь, в сложившейся ситуации многое решает фактор времени. Он, по сути, определяющий. А как раз временной смелости и не хватает программе — она чересчур растянута. И еще: программа — особенно ее начальный период — во многом зависит от центральных органов, то есть вновь отдается предпочтение командно-административным методам руководства. Предлагаются и разные экономические условия. Для кого-то они хороши, для кого-то не очень, для других они являются тормозом, а в таких условиях экономика, конечно, не может работать синхронно, в одном ключе.

Боюсь, при таком раскладе программа затянется на долгие годы — шести лет, как предусматривается, нам вряд ли хватит. Я бы не стал в очередной раз испытывать терпение народа. Л. И. Абалкин верно заметил: так как правительство пока ничего конкретного не может дать народу, надо как можно больше дать ему свобод и как можно быстрее. Увы, такого подхода в программе я не усмотрел, и в этом, полагаю, ее слабость, изъян. Если, не дай бог, в стране вдруг возникнет напряжение, скажем, из-за природных или социальных катаклизмов, то оно наверняка осложнит политическую обстановку в стране и еще более усугубит экономический кризис.

Нет-нет да услышишь упрек, дескать, увлекаются, излишне много дебатируют. Но ведь парламент для того и существует, чтобы депутаты могли свободно обсудить насущное, высказать что-то личностное, узнать мнение коллег, оппонентов. А вот то, что обсуждаемые вопросы или законы порой повисали, оказывались сырьими, то есть недостаточно проработанными, действительно настораживает. Но это возникало тогда, когда вопросы предлагались не Верховным Советом, не его комиссиями, а парлапаратом. Не без его влияния появлялись законы, в которых обновлялись лишь слова, а их суть оставалась прежней.



**ВИКТОР  
ГУБИН,  
инженер-  
технолог  
производственного  
объединения  
«Соломбальский  
целлюлозно-  
бумажный  
комбинат»**

Казалось бы, внесена ясность в важнейший вопрос: какими путями, методами будем выходить из экономического кризиса, грозящего парализовать страну? Но все ли так ясно?

«Говорим одно, делаем другое, а получается вообще бог знает что», — сказал в сердцах один из моих товарищ по цеху. Такой шутке не улыбнешься...

Не могу избавиться от мысли, что мы вошли в какую-то роковую полосу усугубляющихся несоответствий и парадоксов. Их печатью отмечена и правительственный программа.

Об этом говорит хотя бы тот факт, что на Съезд программы была представлена после хозяйственно-аппаратного одобрения, не пройдя через обсуждение на сессии Верховного Совета, не говоря уже об обсуждении всенародном. Думаю, что если бы начали «сверстывать» не в кабинетных верхах, а в республиках и регионах, на местах, она в итоге была бы наполнена более существенной конкретикой. И стала бы программой не «по оздоровлению», а по «выходу из кризиса», что более соответствовало бы действительному положению вещей.

Схема неотложных мер, предложенных правительством, своевременна. Тут сомнений нет. Но в их оценке мне близка позиция ученого-экономиста Г. Попова, усматривающего опасность в том, что очередность мер не взаимосвязана с принятием законов, которые должны стать новым фундаментом нашей экономики: о собственности, о земле, о социалистическом предприятии, об экономической самостоятельности республик, о местном самоуправлении. Не случится ли так, что наша экономика, получив аппаратную инъекцию, еще более завязнет в замкнутом круге командно-бюрократического управления? Рабочий человек устал ждать перемен в укладе хозяйствования, устал ждать, когда он станет не лозунговым, а реальным хозяином своего труда.

Вот тут-то, на мой взгляд, кроется главный парадокс программы оздоровления. Делая ставку на административные меры, она входит в несоответствие с психологическим состоянием общества.

Люди горячо, близко к сердцу восприняли политические идеи перестройки. А что будет с нынешними, чисто экономическими идеями, по сути дела, откладывавшими экономическую реформу на несколько лет?

«Правительство настроено решительно», — заявил в первый рабочий день нового года пер-

вый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР Ю. Д. Маслюков.

Решительно настроен и народ. Хотя внешне можно заметить и некий спад в его политизации, некую пассивность. И не дай, как говорится, бог, чтобы обнаружилась разность в позициях этого решительного настроя.



**ЕВГЕНИЙ  
ЕВТУШЕНКО,**  
поэт

Несмотря на многие разочарования, которые принес второй Съезд нерешением ряда важнейших вопросов и размытостью плана развития экономики, я отнюдь не принадлежу к пессимистам. Когда мы потеряли Сахарова, многие на Съезде всерьез задумались, и, надеюсь, что этот горький урок не пройдет даром. На втором Съезде уже не было такого злобного улюлюканья и затыкания ртов, Съезд осудил тайный сговор сталинского правительства с гитлеровским, афганскую войну и неоправданную жестокость во время тбилисских событий. На первом Съезде принятие таких исторических решений было бы немыслимым, так что еще один мучительный нравственный шаг к родам демократии сделан.

Важно, чтобы атмосфера этих родов не была взаимоозлобленной. Слишком много разных эгоизмов — национальных, региональных, социальных, политических — сплелось во взаимоусвающий, взаимоудушающий клубок. Клубок эгоизмов не может превратиться в надежную колыбель демократии.

Мы находимся в предродовом периоде, когда демократизация мучительно пытается превратиться в демократию — как эмбрион постепенно сам вырабатывает в себе очертания будущего человека. Это может кончиться выкидышем, как это случилось в 1956 году после антисталинской речи Хрущева на XX съезде, когда затем, всего лишь через несколько месяцев, наши танки подавили венгерское восстание, а наши «идеологии» тяжелыми танковыми гусеницами политических обвинений прошлись по роману Дудинцева «Не хлебом единым» и по статье Померанцева «Об искренности». Это может кончиться и насильтвенным абортом, как в 1963 году, когда после напечатания солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича» и начавшегося общего расцвета искусства под предлогом разгрома «абстракционистов» была заморожена вторая попытка «оттепели».

Показательно, что обе эти регressive акции

связаны с попыткой поссорить руководство страны с интеллигенцией, доносительски обвиняя ее в подрывных, антипатриотических намерениях. Хрущев дважды попадался на эту удочку. Второй раз это закончилось хитро организованным, за спиной дворцовым переворотом. Но кто снял Хрущева? Вовсе не интеллигенция, а те, кто, изолировав Хрущева от нее, взял его, что называется, голыми руками.

Когда сейчас мы снова наблюдаем попытки поссорить руководство с интеллигенцией, то в меня закрадываются небезосновательные подозрения, что это делается с определенной, уже знакомой нам из истории, целью. Под предлогом охранительства «устоев» начинается откровенный подрыв устоев. Если мы загоним интеллигенцию, по недвусмысленному предложению депутата Самсонова, в цеха часового завода, которым он руководит, то часы истории пойдут назад.

Вместо того, чтобы прикрываться лозунгами о «диктатуре рабочего класса» (которой у нас на самом деле никогда не существовало — она была ловко подменена диктатурой бюрократии), надо раз и навсегда понять, что интересы интеллигенции и интересы рабочего класса и крестьянства одинаковы, и враги у них общие. Только когда все они вместе смогут стать акушерами и союзниками при родах демократии, ребенок получится здоровый, крепкий.

Демократия экономическая, лишенная нравственности, приведет общество, даже самое сытое, к распаду. Нравственность и экономика должны быть взаимообеспечены свободой проявления честной трудовой личности. Статья шестая Конституции, вопрос о квоте общественных организаций в Законе о выборах, Закон о печати переплетены чуть ли не биологически с Законами о собственности, земле, аренде. То, что второй Съезд, к сожалению, оставил эти вопросы подвешенными в воздухе, — опасная отсрочка родов демократии. Слишком задержавшиеся роды так же чреваты выкидышем, как роды преждевременные. Но запоздалый выкидыш перезревшего во чреве ребенка если и опасен, то уже смертельно.

Я надеюсь на разум постепенно мужающего Верховного Совета, пока во многом обгоняющего Съезд, надеюсь, что он решит все эти первонасущные вопросы, отложив все второстепенное.

Вопрос о статье шестой непосредственно связан с экономикой. Пока стомиллионная армия беспартийных будет отстранена от руководящих штурвалов, это будет тормозить все общество,



**АЛЕКСАНДР  
КРАЙКО,**  
доктор  
физико-  
математических  
наук,  
профессор

в том числе и партию. Мы, соавторы перестройки, не имеем права отставать в решении этих вопросов от социалистических стран. Мы первыми полетели когда-то в космос, а вот прилунились не мы, а американцы. Неужели наши социалистические соседи прилунятся раньше нас на неизвестной нам волшебной твердой поверхности, где нет очередей?

Я с большим уважением отношусь к Леониду Ивановичу Абалкину, на которого обратил внимание после XIX партконференции. Если помните, тогда речь шла уже о некоторых подвижках к лучшему, а он первым сказал, что все мы движемся к пропасти. Это сказал директор Института экономики АН СССР, а не просто член партии. Тогда его никто не поддержал, но тем не менее он оказался прав. Его аргументация представляется мне убедительной.

От чего нам в какой-то степени удалось отойти? Мы стараемся по-прежнему использовать административно-командные рычаги, потому что общество наше пока еще не готово к включению чисто экономических механизмов. Не руководство, а общество — я подчеркиваю это. Вспомним хотя бы, каких трудов стоило отстоять от закрытия кооперативы на той же сессии... То есть в обществе есть тенденции, с которыми приходится считаться. Мне кажется, что программа правительства — будет она выполнена на 100 процентов или на 90, это, по-моему, не так важно — приведет к стабилизации. А не стабилизировав положения, нельзя проводить реформы. У нас очень взрывоопасная ситуация, и ухудшение материального, экономического положения может привести к тому, что мы... вообще развалимся.

С другой стороны, я понял, что для людей, которые хотят не только стричь купоны за счет договорных цен и т. д., но у которых есть определенные планы и готовность использовать имеющиеся возможности по-настоящему — для расширения производства, для создания новой техники, — у этих людей такие возможности сейчас есть. Так что к правительенной программе я отношусь положительно. Она не обещает маны небесной, но поможет переломить ситуацию, чтобы мы начали чувствовать, что идем в правильном направлении.

...С самого начала я был не согласен с Юрием Афанасьевым, что, дескать, выбрали сталинско-брежневский Верховный Совет. Да кого бы туда

ни выбрали, он по-старому уже работать не может. Что было на первом Съезде? Людям не давали говорить, их сгоняли с трибуны. Повестку дня утвердили меньше чем за полдня. Теперь повестку дня обсуждали целый день. Когда у меня еще до второго Съезда спрашивали, что Съезд мог бы сделать, я отвечал: передать свои законодательные функции Верховному Совету. Я думал, что к большему второй Съезд не готов. Но он, Съезд, оказался готов к этому: важнейшие законодательные функции до третьего Съезда переданы Верховному Совету.

Уверен, что со временем у нас будет по-настоящему многопартийная система. Но все дело в том, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, отмена 6-й статьи с «барабанным боем» привела бы только к дестабилизации обстановки.

Просто отменить 6-ю статью, конечно, можно было на Съезде. Но ее нужно заменить какой-то другой, которая будет констатировать многопартийный характер нашей системы, либо будет говорить о том, что все партии и организации действуют в рамках закона. Если бы Горбачев выступил на Пленуме с инициативой: товарищи, давайте снимем 6-ю статью, ему бы сразу возразили: Михаил Сергеевич, хватит отступать, вы непрерывно отступаете... Вот когда будут результаты обсуждений, что сейчас идут по всей стране, вот тогда он скажет: товарищи, есть предложения от партийных организаций...

Для меня Съезд начался с большой тревоги. Во время регистрации нам вручили доклад Н. И. Рыжкова, и я тотчас же начал его читать. Жадно искал в нем то место, где заложена взрывчатка под административно-командную систему, разжиревшую на наших тотальных дефицитах, на нашей безгласности, на хроническом насилии над экономикой. Но не нашел такого места ни в тексте, ни в подтексте... Тогда я ухватился за спасительную соломинку: не горячись, ведь будет Съезд, будет страстное обсуждение, ведь каждый депутат принес с собой обжигающее душу ожидание радикальных перемен.

Они не промолчат, не проголосуют за этот компромисс в пользу нашего прошлого — ведь опыт у нас уже есть. Вот это и вселяло надежду. Аппарат подготовил доклад по своему образу и подобию, думал я, но депутаты не позволят докладу превратиться в закон. Ведь это уже



**ВЛАДИМИР  
ЯВОРИВСКИЙ,**  
писатель

будет, в случае утверждения, не программа Совмина, а программа высшего органа власти — парламента страны.

Остальные читатели «Смены» видели на экранах своих телевизоров. Добавлю только, что я голосовал «против», точнее — за третье предложение: о недоверии правительству.

Я и сейчас остаюсь при своем мнении: принятая программа создает тепличные условия для командно-административной системы, она словно отклик на вопль одного из депутатов, который заявил: «Дайте покомандовать!» В подтексте его требования, конечно, звучало: «...а не дадите, сами покомандуем, будете мешать — сотрем в порошок».

Но сидеть в оппозиции — это, по-моему, полуоппозиция. Программа правительства большинством голосов стала законом для всей страны. Стало быть, теперь надо искать выходы на радикальное обновление экономики внутри самой программы. Делать это будет трудно. Я еще раз убедился в этом, когда нам, членам комитета по строительству и архитектуре, который возглавляет Б. Н. Ельцин, докладывал о своих планах председатель Госстроя СССР В. Серов. Руководитель огромного ведомства не мог утаить, что перемены будут сугубо косметическими, командное насилие в строительстве пока будет процветать. Правда, комитет дал понять министру: на этот раз спрятаться за спины депутатов не удастся. Вот это и вселяет надежду. Так что борьба за истинные перемены в жизни народа только начинается...

**Материалы подборки подготовили  
В. ГУРИНОВИЧ, С. КАЛЕНИКИН, С. ЛИТВИНОВ,  
В. МАЙОРОВ, С. РОМЕЙКОВ**

Евгений СТЕЦКО  
Фото автора

# ПОЗДНЕ ПОМИКИ



123

СУДЬБЫ

«...вот буржуйки. У вас тоже эти буржуйки были? Мама месила тесто и пекла лепешки. Весна пришла. Отец на зиму сделал землянку, а весна пришла — сколько воды в нее набралось!

Первый класс помню... Бригита сшила мне сумочку тряпочную, она и теперь у меня есть, потом, в Литве уже, отец в ней гвозди держал, а я ее взяла себе и сохранила, мне все, что дорого и памятно, хочется сохранить... А потом уж купили мне портфель. И мне, как дитю, все хотелось узнать, как открывается застежка, а на застежке был кругляшок, я его нечаянно и оторвала. Иду реву, потерялся мой кругляшок, упал где-то по дороге. Кто-то из дома вышел, говорит: «Что ты плачешь, Стеша?» — «Да кругляшок потерялся!»

## БЕЛЫЕ КРЕСТЫ

124

Так говорила Стефания.

Без предисловия ее рассказ трудно понять. Вернее, его можно понять неправильно.

В пятьдесят первом году из деревни Касикенай Шякяйского района Литвы в Красноярский край было выселено большое семейство Палукайтис.

В Сибирь отправили Палукайтиса Пилюса, Палукайтене Антонину и их детей: Палукайтиса Симетаса, Палукайтите Тересу, Люду, Люцию, Стефу, Дану, Палукайтиса Ионаса.

Ионасу было пять месяцев. Он умер сразу.

Несчастье, случившееся несколько лет спустя, унесло Люцию, которую русские называли Людцей..

В пятьдесят седьмом вернулась. Через тридцать два года Стефания, собрав справки и получив разрешение, отправилась, взяв

в помощники своего дядю, за прахом брата и сестры. Они раскопали могилки, вынули из распавшихся гробов черные косточки детей, положили в цинковые коробки и перевезли домой, а дома ждала этот груз мать, и уже были готовы два хороших нарядных гроба... Детей похоронили, как положено.

Когда Стефания пошла на кладбище, ей повстречался человек, который сказал: «Совсем отделяетесь, своих мертвых увозите?» Стефания вернулась в дом, в котором и тридцать лет назад знали литовцев, и сейчас приняли их, и рассказала об этих словах встречного человека.

Вот тогда-то и зашел разговор о том, где правильнее лежать человеку после жизни.

Снимая то, что происходило в Сибири, в деревне, куда приехала Стефания, и в Литве, где хоронили, я время от времени включал диктофон, и теперь вижу, что без этих отрывочных записей мне не обойтись. Вернее, без них не обойтись фотографиям.

Все можно обойти молчанием. Жизнь можно провести в молчании!

Можно молча признаваться в любви и в ненависти.

Нельзя молча хоронить.

На поминках говорят хорошее, но от этого зло жизни не покидает нас.

Какое светлое было детство у Стефании! Голос ее тихий, нежный. Она работает с маленькими детьми в детском саду. И, как с ребенком говоря, она вспоминает...

В Вильнюсе, в историко-этнографическом музее, сразу за порогом направо, установлена большая карта СССР, на ней белыми крестами отмечены литовские могилы ссыльнопереселенцев. В Сибири и севернее. Вокруг озера Балхаш — восточнее.

Сначала присматриваешься

и видишь, что кое-где есть свободные пространства. (Наверное, на эти пространства не хватило уже литовцев?)

Но если б одни литовцы. КТО ВИДЕЛ НАСТОЯЩУЮ КАРТУ?

(... — Чего ты плачешь, Стеша, девочка?

— Да кругляшок потеряла!)

Тридцать лет спустя она вдруг схватилась ладонями за лицо.

## СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО СТЕШИ ПАЛУКАЙТИТЕ

«Мать говорит: не Сталин, так власти. Или жизнь... В деревне у нас в войну дом сгорел. Отец построил хижину, лишь бы какая-то крыша над головой, лишь бы детям под крышей посидеть. Думали: теперь надо дом строить. Не пришлось. Пришлось ехать в Сибирь, все остались. Приехали — начали работать, вот так вот... Тринадцать лет мать проработала дояркой, а потом еще тринадцать — свинаркой. На пенсию ушла, но тоже работала. Только с апреля месяца не работает.

...Конечно, если бы не нужно было ехать в Сибирь, построили бы дом, как следует, и жили бы, неразбросанные.

Но мать правильно говорит: не Сталин, так жизнь и власть. Все бедно жили, все плохо. Мы приехали сюда — русские люди очень бедно жили. У них были налоги на коров. Один раз пришел нам денежный перевод из Литвы на пятьсот рублей. Почтальон принес эти деньги домой, а у нас был бригадир. Он сразу эти деньги взял и унес. Мы ничего не поняли. Но он говорит: выручайте, если я сейчас налог не отдам, корову заберут. А денег у русских, конечно, не было никаких. Откуда у них могли быть деньги? Только когда литовцы приехали и стали покупать у русских картошку, появи-

лись у людей немного денег. А налог все равно денежный. И мы по поведению этого человека поняли, как ему плохо.

Он нам кричал: выручайте корову. Потом отдал понемногу мукой и картошкой. Ведь не мог отдать деньгами.

...В первом классе я впервые ходила в кино. Как хорошей ученице, мне дали бесплатный билет. Вот здесь старый клуб стоял. Не помню, что показывали, но помню, что я так рано ушла в клуб, так ждала. В клубе солдат было много. Они приезжали на уборку. О солдатах помню, что они брали дочку учительницы за руки и качали, и мне бывало так обидно, я думала: вот я, простая девочка, не учительница дочка. Сколько у них дома было игрушек! Учительница мне однажды привезла с Красной Сопки голову куклы, они так продавались, а туловище надо было сделать самому. Радость!

...Тогда я брата попросила, у него руки золотые, он сделал туловище, руки и ноги. Он мне и деревянные куклы делал, а однажды сделал куклу, похожую на Рому Валайтите. Рома — сестра Генуте. Генуте здесь похоронена, рядом с нашими ее могила.

...Мы, дети, жили очень дружно. За нами жило семейство Гоп, девочки у них. Им купили велосипедик. Они приглашали нас на этот велосипедик. Много у нас в классе училось детей Таракан. Помню Любку Таракан. Еще дядю Пашу помню. Когда Баляускасы уехали, дядя Паша купил домик этот, коровы паслись за деревней, я им корову пригоняла. Хороший человек был дядя Паша. Жив он?..»

## БЫЛ ПРАЗДНИК

— А вы помните свадьбу Йона-

са? Помните? Невеста к нему приехала из Литвы. Ах, как это было интересно. Мы все, дети, собрались, печенья набрали, конфет. Думаем: ну, Нееля, что ли, дельться будет?

Йонас, Альфонсас, Ингас — три брата и сестра, а женился здесь один Йонас, и дочка у них родилась здесь. Я мало их знала. Знаю, что Альфонсас за прахом приезжал. Я его видела, по-моему, он так мало изменился за все годы.

— Нет, он тогда был тоненький, худенький, и лицо было похудее, и нос у него казался подлиннее.

— Мы тогда, помню, много работали на строительстве, все были молодые мужчины, все много смеялись и шутили. Жизнь все равно казалась хорошей. Только отец вдруг обопрется на палку и долго остается в раздумчивости. Его наконец и спросят: что с тобой? Он говорит: разве неясно?

— ...а вот я еще помню, что идем со школы и к вам заходим в дом. Вы нам жир на хлеб мажете и сахар посыпаете сверху! Как это вкусно было. А еще: был какой-то праздник...

— Выбора, наверное.

— Стол был накрыт красным полотном. Ой, как красиво.

— Много было красивого тогда в жизни. Никто ничего не знал.

— И ветер вдруг поднялся, и ветром тем сдуло скатерть.

— Не помню. Все солнечно было на выбора.

— Нет. Ветер поднялся, и завернуло скатерть и поволокло все, что с любовью расставили на этой красной скатерти...

а девичья — Иванченко. Ну, вернулся он с армии, мы друг друга не провожали, не прогуливались, а только так: встретимся где-нибудь, поговорим. И поженились, и стала я Жукович. Сначала вместе с братом жили, потом купили вот этот домик. Купили за девяносто рублей, он плохой был, здесь колхозные куры стояли. Мы его покрыли шифером, так и живем сорок три года. Григорий Степанович, когда поженились, работал кладовщиком, а потом стал председателем сельсовета.

Как раз в это время привозили литовцев. Я работала санитаркой в медпункте и помню, что негде их было устроить, негде... Мой хозяин ими занимался, он никому не приказывал брать к себе литовцев, просто просил, и люди не отказывались... Плохого мы от них не знали и не слышали. Они в клуб ходили, танцевали по-своему очень красиво. Мне нравилось, как они танцуют! А спрашивать их было неудобно. Как спросить: за что вас с вашей Литвы убрали?

...Они многое умели. Много нам шили. У меня даже и сейчас есть кофточка, которую мне сшила Урушулля. А жили тесненько, в иных домах их койки стояли двойными, понимаете?

Однаково жили мы все. Однаково...

Уезжали они не потихоньку, а по-человечески, с проводами.

А сейчас за прахом приехали — первыми Афанас и Римас. Афанас все по деревне ходил, его многие помнили и знали, у него друг механик Егор Иванович Коренко, он все с ним разговаривал.

Но я считаю, что земля одна и умершие могли и здесь лежать. Но, видно, у них такой закон, чтобы было на родной земле. Я думала потом, поняла: раз забирают, значит, хотят, чтоб все было дома, все по-родному, на своем языке,

## ОДИНАКОВАЯ ЖИЗНЬ

«Мое фамилие Жукович. Мы поженились в сорок седьмом году,

на своем обычай. Может, они и правы... А кладбище наше видели — мои родители здесь лежат и литовцы. За литовскими могилами ухаживала женщина, особенно за девочкой, она ее помнила, часто ходила, тем более на Пасху, на родительский день. Наверное, ее мучила какая-то вина...

А как хорошо было на праздники! Вот, например, на ноябрьские отбирали таких женщин, что, допустим, хорошо пироги стряпают или квас варят, — и все в одном доме, побригадно, собирались и отмечали весело, с гармошкой...

Все сейчас изменилось. Говорят, люди стали больше воровать, ненавидеть друг друга, стали злые и завистливые, сильно грамотные стали, а раньше были не грамотные, а умные. Да...

А тут Стефа присыпает письмо моей племяннице Тамаре, они дружили в те годы. Что вот, Тамара, хотим так и так сделать. А Тамара-то уже не живет здесь, уехали они. Почтальон дал письмо мне — отошли им. Я письмо забрала, открыла, почитала и отоспала Тамаре, а сама села и Стефе сама написала, что Тамара живет в Омске и что пишу тебе письмо я, тетя Нина, ты, наверное, меня помнишь, которая работала в больнице, приезжай прямо к нам, мы вас с удовольствием примем, раз у вас есть такая мечта...

## БЕССОННИЦА ПАМЯТИ

— Меня зовут Григорий Степанович Жукович. Я в то время работал председателем сельского Совета. Выслали нам разнарядку на десять семей из Литвы, так было записано. Мы с председателем колхоза переговорили. Ну, поехал я на станцию Красная Сопка. Там с района были, комендант районный.

— Это он говорил: «бандиты»?

— Нет... это тут у нас, участковый... был такой. Ну вот. Поезд подошел. Сзади пулемет, охрана кругом. Эти литовские товарищи выгрузились сами и пришли на площадку. Спрашивают: ну, кто кого желает взять. Я сказал: «Мне все равно». Подходит ко мне по фамилии Степанайтис, пожилой мужик, по-русски разговаривает хорошо. Но такой мужик, калеченный, нога у него была больная. Бухгалтер...

— А какое у вас было отношение к ним?

— Я такое отношение, что бандиты, никогда не имел и по седьмнадцатый день не имею. Мы воевали против бандитов, вот это, я считаю, бандиты, которые нас убивали. Вот бандиты! А это... Нет.

— Это вы сейчас так считаете.

— Не-ет! И тогда и сейчас! Это люди, такие же самые люди, как мы. Ну, так... получил я их. Подходит ко мне... ах, как же? — Бразис Иван Трутонович. У него восемь или девять человек детей — вот такие вот все. И раздены... дети! При чем здесь дети? Пускай отец хоть бандит, а дети? Бразис сказал: «Меня нигде не берут». Я говорю: «Давай! Давай, Иван, садись с детьми, накрой их как положено, десять километров ехать по холоду». Отдал свою доху, еще люди дали одежду. Холод детей везти... октябрь! Приехали, расселились. Тут бригадир заходит к старикам Мецкайтисам, сам дед был такой беспокойный Мецкайтис! Бригадир посидел с ними, выпил. Потом про то прознал председатель и давай: «Ты пьешь с бандитами...» Я говорю: «Зачем ты, Андрей Игнатьевич? Зачем вы так говорите? Это люди. Те же самые. Что тебе еще надо — работать эти люди будут. Будут работать! Нельзя к людям относиться с верхней полки». Я про-

шел немножко войну... от Владивостока до Берлина, немножко знаю людей. Я у немцев после войны ночевал — хоть бы кто меня пошевелил! Конечно, есть люди хорошие, а есть так, конечно. Но приедут с района и начинают учить: зачем Степанайтис бухгалтером у нас? Надо было им в нашу жизнь, с района, вмешаться. Так и сняли Степанайтиса. Не дали мужику работать. И ведь вроде умные приезжали мужички.

Я к ним, к литовцам, заходил. Пригласят — приду. Смотрел, как хлебы пекут. Смотрел, как живут, как хату белят... Но у них в Литве я так и не был. Помню, зашел, а Бригита с Ромуней белят, я сказал хозяйке: «Нина, ты же покажи девочкам, они девочки, они не знают, как белить, не поленись, покажи». Хлеб у них был, на мой взгляд, слишком крепко сбитый, как кирпич. Надо бы по-нашему. Но они очень трудолюбивый народ, работали просто отлично, все взрослые мужики были очень правильные и много работали.

А и бедно же мы жили!..

## СВИДЕЛИСЬ...

— ...Вы что ж, все забрали вчера... костики? Ладно, пусть лежат в своей земле. А могилку задели?

— Забрали, могилку задели.

— Я могилку не оставлю, все равно буду заходить, цветочкикласть. Не могу!. Все думала: неужели мы не увидимся? Ты на маму свою так похожа.

— Меня вчера в магазине по маме и узнали.

— Господи, Господи!

— Да, Арину я встретила, она и сказала, что похожа. Но мама тогда моложе была, чем я сейчас, мне теперь сорок один, а маме было тридцать семь. Я теперь старше ее.

— Я тебя помню. Ты была маленькая, хо-ро-шенькая. Помню, как вы все приехали в нашу позднюю осень, уж по снегу в ваших деревяшечках, в ваших обувочках, не дай бог, не дай бог. Да, ты в мать. Я тебя сразу узнала. А ты меня узнала сразу? Го-спо-ди...

## «ДА-РА-ГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!..»

«...мы когда в Литву вернулись, такие разговоры пошли: ну и хорошо, что у нас нету много земли, имеешь клочок, обработал и свободен, а как, мол, раньше все трудились! А здешний председатель, когда уезжали, сказал: литовцы научили нас свиней выращивать. Не умели они ухаживать, все раньше времени полережут, а теперь видели свиней у Жуковичей — о-в-ей какие свиньи!»

А в Москву мы попали как раз на праздники. Возвращались через Москву, там ожидали поезда, даже не знаю, на какой станции, на каком вокзале... Да на Белорусском! Там все было так красиво, так красиво, я не мечтала Москву увидеть, а увидела! Впервые мы попробовали мороженое! Тогда в Москве продавалось такое... в фольге! Эскимо! Это для нас было какое-то чудо. Потом вышли смотреть салют. Октябрьские праздники были, праздник Октябрьской революции. Огни, огни. А вечером сели в поезд и ехали до Каунаса. Несколько дней прожили у родственников, у дяди-ксенда, оттуда съездили в местечко, где жила мать отца, переночевали. Оттуда поехали в колхоз. Остановились у одинокой женщины. Пряя ее звали, Прануте. Потом люди пустили нас в наш дом, и мы вернулись в наш дом, это был ноябрь месяц, сад стоял пустой, конечно...

Ну... так... вот и началась жизнь».

## ЗЛА — НИКОМУ...

— Вот как получилось. Встретились так же, как и жили.

— Да, вот как получилось. Встретились.

— Я перед вами ни в чем никогда не был повинен!

— Мы рады были с вами встретиться.

— Жалко было детей. Дети при чем? Неудобно.

— Это вам — на память.

— Спасибо. Раз на память — спасибо.

— Мы и сегодня ни на кого зла не держим. Никому зла... не имеем на душе. Вот так. «Спецпереселенцы»! Все мы спокойно идем, работаем, дружим...

— Спокойно идем... Ты уж говори до конца: идем к коммунизму.

— Да... Но нет: это уже прошло, коммунизм, кончилось...

— Кончилось (с притворным ужасом, со смехом) — да ты не бось проспал!

— Эхе-хе. Может, и проспал. В снегу-то. А что, может, было уже?

## ДОРОГА БЕЗ КОНЦА

«...только помню, что октябрь и что в саду на ветках еще яблоки. Уже только то помню, что сижу у кого-то на коленях в машине и полно детей. Подняли в машину дочку соседскую, она рассказала, что, когда собирали вещи, один из тех, кого мы называли «Стрейбай», сказал ви: и книги забирай с собой, там тоже надо учиться. Мать ихняя в машине встала в полный рост и стала напевать и приплясывать, говоря: ну наконец-то нам не нужно бояться, что в Сибирь вышлют — вот уже и увозят, уж ничего не страшно!

Потому что долго и давно жили в страхе.

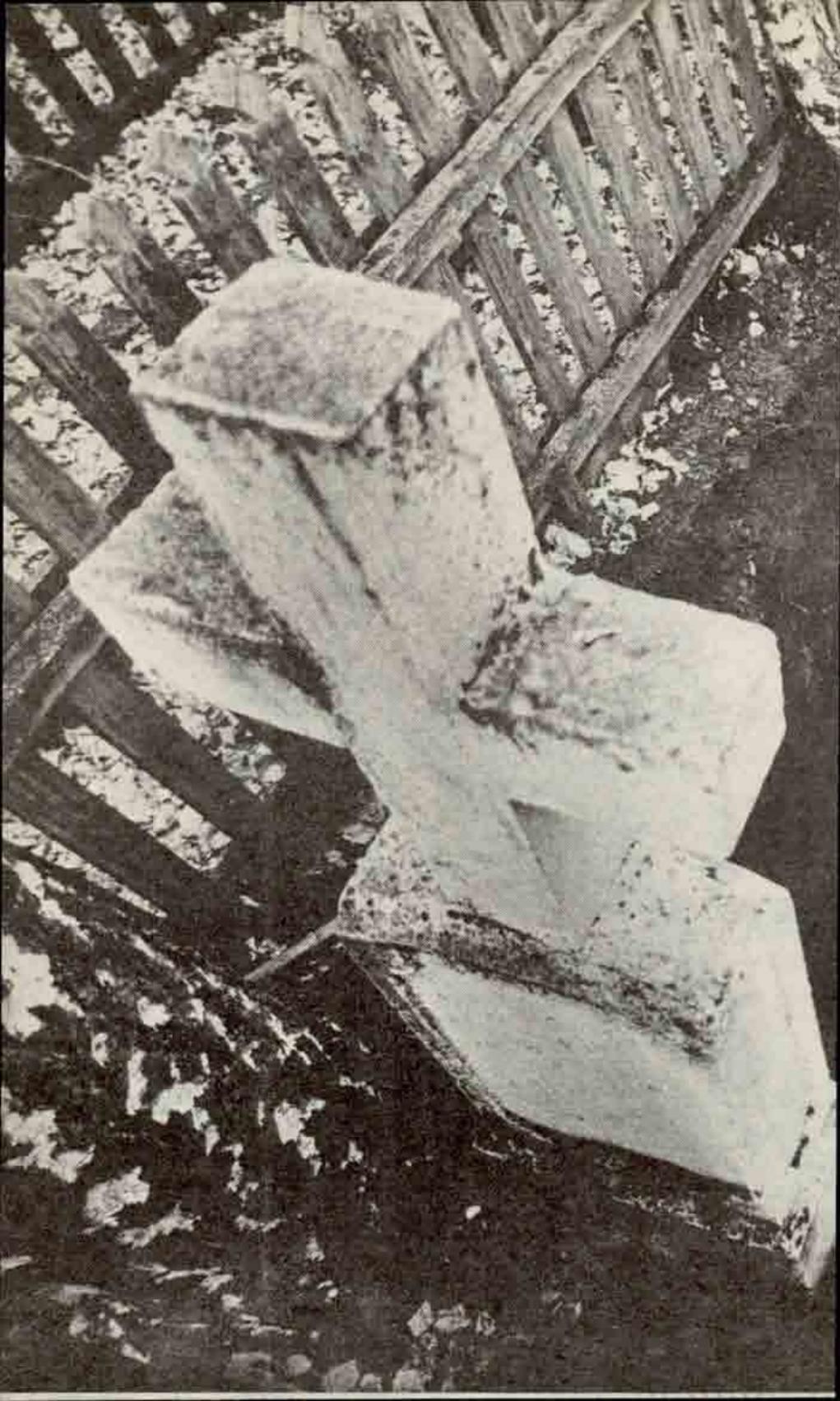
А Генюте, эта девочка с книгами, всю дорогу в поезде стояла у форточки и плакала, как ее сердце знало, что она уж родины своей не увидит больше...

А про людей я ничего плохого сказать не могу. И я помню своих учителей: Гавриила Васильевича, Веру Николаевну, а в третьем классе была Галина... Константиновна.

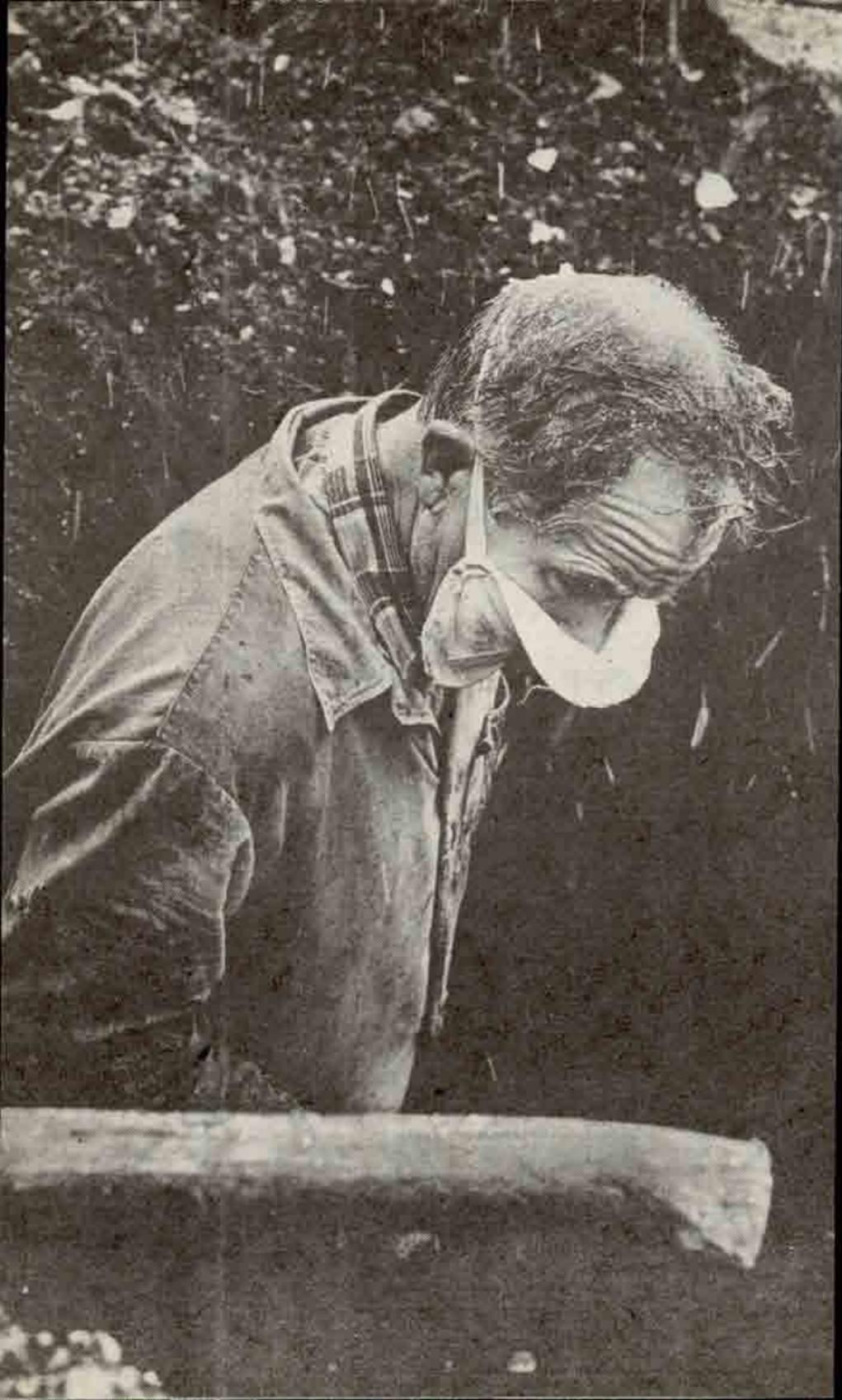
„А уехали мы назад по старой дороге мимо кладбища“.

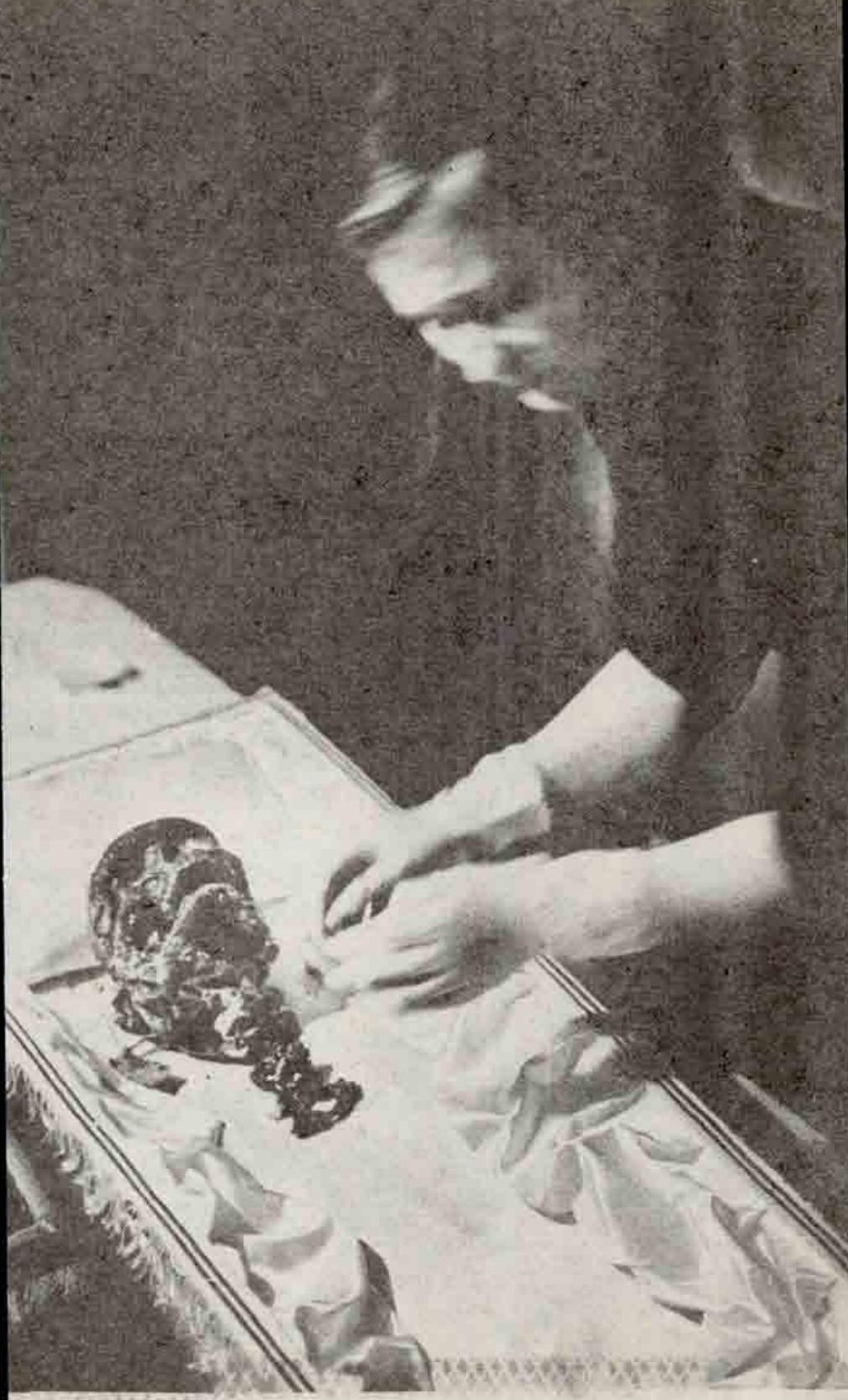






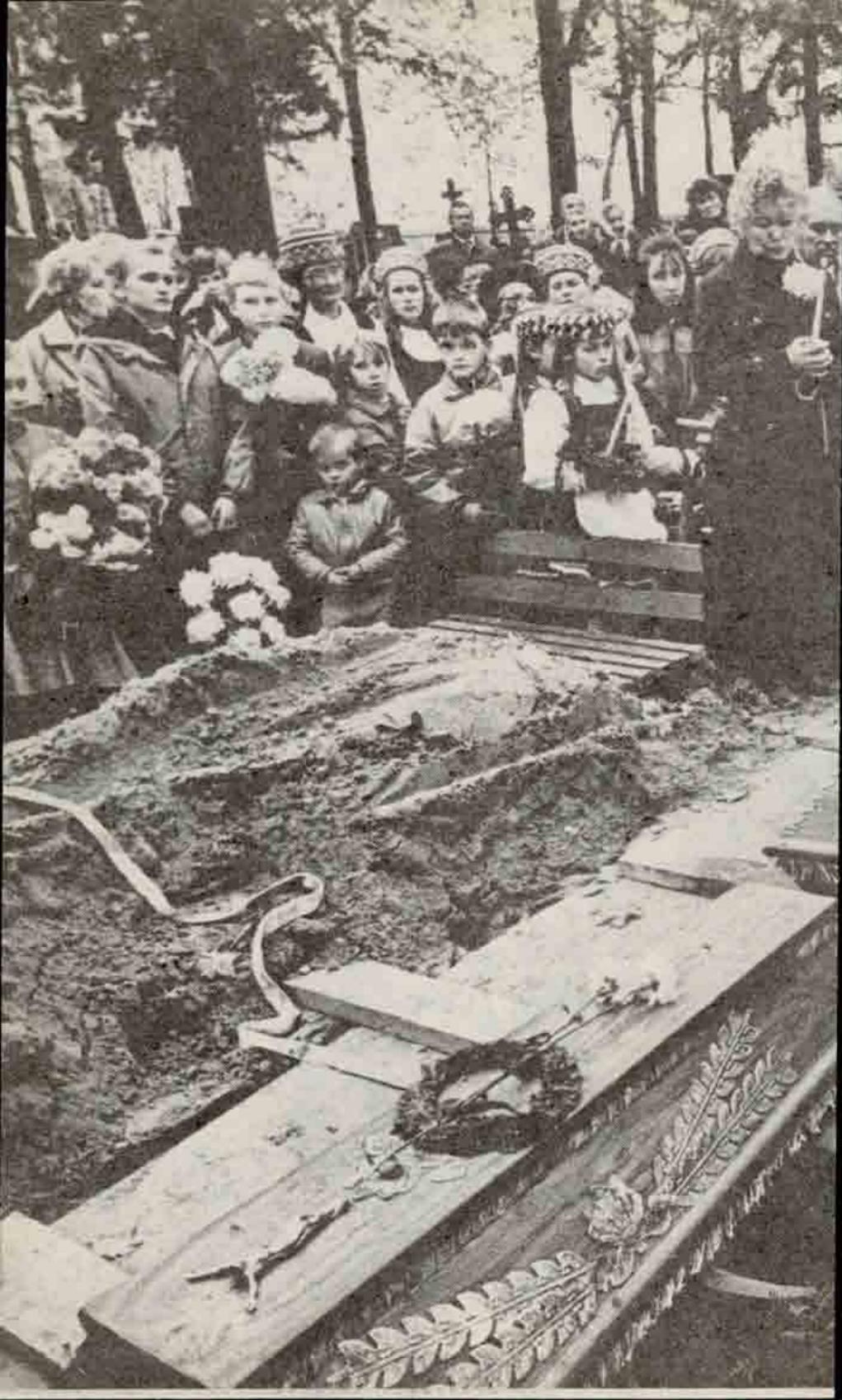


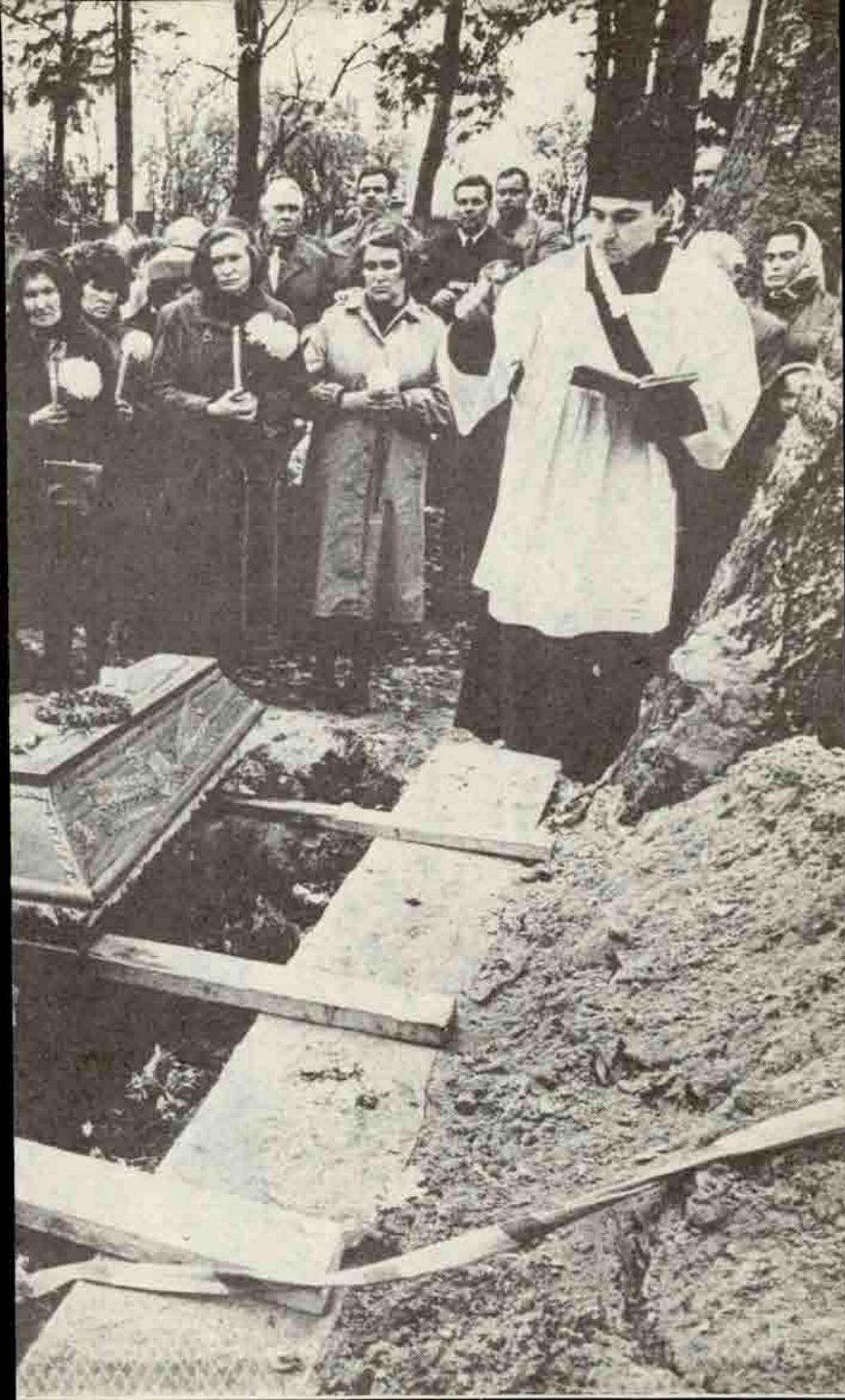
















# ЗНАМ

142

ДЭВИД ЗЕЛЬЦЕР

Здесь мудрость. Кто имеет  
Ум, тот сочти число зверя;  
Ибо это число человеческое.  
Число его  
шестьсот шестьдесят шесть.

(Книга Откровений.)

## Предисловие

Все произошло в тысячную долю секунды. Движение в галактиках, которое должно было бы занять века, свершилось в мгновение ока.

Молодой астроном в обсерватории Кейп Хэтти сидел ошеломленный. Он спохватился слишком поздно, и фотокамера была бессильна запечатлеть случившееся: расщепление трех созвездий, в результате чего появилась сияющая звезда. Частицы вещества из Козерога, Рака и Льва неожиданно стали слетаться навстречу друг другу с поразительной точностью и слились в пульсирующее галактическое тело. Оно становилось все ярче, и созвездия задрожали, а может быть, просто задрожал окуляр — у астронома от обиды затряслись руки.

Он боялся, что оказался единственным, кто видел это. Но глубоко из-под земли послышался гул. Это были голоса, человеческие, но не совсем, усиливающиеся в религиозном экстазе, пока звезда набирала силу. В пещерах, подвалах, открытых

# Он не

полях собирались они: повивальные бабки, ожидающие рождения, и было их двадцать тысяч. Они соединили руки и уронили головы, и голос их возрастал и стал слышен повсюду. Это был звук «ОХМ!», и он звоном взлетал в небеса и падал в самое сердце земли.

Был шестой месяц, шестой день и шестой час. Именно этот момент предсказан в Ветхом Завете. Именно в этот миг должна измениться судьба Земли. Все войны и перевороты были только лишь репетицией, проверкой для того момента, когда человечество будет подготовлено к великим событиям, знаменующим переворот. Книга Откровений давно его предсказывала...

Высоко и далеко в небе разгоралась звезда, и пение людей становилось все громче, и земное ядро задрожало от этой силы.

В древнем городе Меггидо это почувствовал старик Бугенгаген и заплакал, ибо теперь все его записи и свитки стали ненужными. А наверху, в Израиле, группа студентов-археологов на минуту прекратила свою работу. Они опустили лопаты и прислушались: земля под ними начала шевелиться.

В салоне первого класса самолета, выполняющего рейс Вашингтон — Рим, сидел Джереми Торн. Он тоже почувствовал нечто странное и механически застегнул ремни, занятый своими мыслями и делами, ждущими его там, внизу. Но даже если бы он и знал истинную причину этого волнения, то ничего уже не смог бы изменить. Потому что в этот момент в подвале госпиталя Женераль камень размозжил голову его собственного ребенка.

## Глава первая

Ежесекундно в самолетах, находящихся в воздухе, летят тысячи людей. Эта статистика, которую Торн вычитал в журнале Скайлайнер, заинтересовала его, и он тут же разложил людей на тех, кто пребывает в воздухе, и тех, кто остался на земле. Обычно Торн не занимался подобной ерундой, но именно сейчас он цеплялся за все, лишь бы не думать о том, что может ожидать его на Земле. По статистике выходило, что если вдруг земное население по какой-то причине внезапно погибнет, то в живых останется всего сотня тысяч людей, спокойно посасывающих в полете коктейли и смотрящих кино,— они даже не узнают, что стряслось на Земле.

Самолет летел над Римом, и Торн задумался: сколько же тогда останется женщин и мужчин? И как же они, при условии, что смогут благополучно приземлиться, будут восстанавливать здоровое общество? Ведь очевидно, что большинством будут мужчины, причем занимающие в экономике солидные посты, а значит, их деятельность на Земле будет бесполезна, поскольку все рабочие погибнут. Менеджеры останутся, но руководить-то будет некем! Неплохо бы нанять несколько самолетов, которые постоянно возили бы рабочих, чтобы после катаклизма было с чего начинать.

Самолет заложил крутой вираж, и Торн затушил сигарету, рассматривая тусклые огни внизу. Он так часто летал на самолетах в последнее время, что привык к этому зрелищу. Но сегодня оно возбудило его. Двенадцать часов назад в Вашингтоне Торн получил телеграмму, и если что-то за это время случилось, то все уже было позади. Катерина наконец-то родила и нянчит их ребенка в госпитале или же находится в состоянии безнадежного отчаяния. Она уже была два раза беременна, но оба раза случались выкидыши, теперь же беременность продлилась целых восемь месяцев. Он знал, если и сейчас что-то случится, он навсегда потеряет Катерину.

Они были знакомы с детства, и Торн все время замечал какое-то беспокойство в ее поведении. Испуганные глаза, ищащие покровителя, преследовали его, но роль покровителя вполне удовлетворяла. Именно это и лежало в основе их отношений. Только в последнее время, когда Торн значительно продвинулся по службе, у него накапливалось столько неотложных дел, что Катерина осталась одна, совсем одна, и никак не могла свыкнуться с ролью жены видного политического деятеля.

Первый сигнал о душевном смятении жены прошел незаметно. Вместо того, чтобы проявить внимание и заботу, Торн только рассердился, когда Катерина, ни с того ни с сего, взяла ножницы и состригла свои роскошные волосы. Она носила парик с прической «Сессун», пока волосы не отросли, а через год забралась зачем-то в ванну и начала бритвой разрезать себе кончики пальцев, а потом с ужасом вспоминала, зачем она все это делала. Вот тогда-то они и пригласили психиатра, который сидел, тупо уставившись в стену, и ничего не понимал. Через

месяц Катерина перестала его посещать и решила, что ей нужен ребенок.

Она забеременела сразу же, и эти три месяца беременности были лучшими в их супружеской жизни. Катерина чувствовала себя прекрасно и выглядела настоящей красавицей. В довершение всего она даже отправилась с мужем в путешествие по Ближнему Востоку. Но беременность прервалась в самолете, прямо в туалете, и все ее надежды, заглушенные рыданием, унеслись в никуда.

Вторая беременность наступила только через два года, но она расстроила всю сексуальную жизнь, которая была вершиной их отношений. Явился специалист по системе зачатий и назначил им день и час, исходя из менструального цикла жены, но это время было чертовски неудобно для Торна, он чувствовал себя дураком, сбегая со службы раз в месяц, чтобы проделать свою чисто механическую работу. Ему даже предложили заняться мастурбацией, чтобы потом его семя можно было ввести, когда понадобится, но здесь его терпению пришел конец. Если ей так нужен ребенок, пускай усыновит чужого. Но теперь уже не соглашалась она. Катерине был нужен только СОБСТВЕННЫЙ ребенок.

В конце концов одна-единственная клеточка разыскала ту, которая была ей нужна, и в течение пяти с половиной месяцев надежда снова стала хозяйкой в их доме. Ранние схватки застали Катерину в супермаркете, но она продолжала делать покупки и игнорировала боль, пока та стала невыносимой. врачи говорили, что ей сильно повезло, поскольку зародыш был очень слабым, но депрессия ее продолжалась целых полгода. Теперь Катерина была беременна в третий раз, и Торн знал, что это их последняя надежда. Если и на этот раз что-нибудь произойдет, рассудок жены не выдержит.

Самолет коснулся волетной дорожки. «Зачем мы вообще летаем? — подумал Торн. — Неужели жизнь такая дешевая штука?» Он оставался на месте, пока другие пассажиры, толкаясь, пробирались к выходу. Его обслужят быстро в отделе для особо важных персон, и машина уже ждет. Торн был советником президента по вопросам экономики и председателем Всемирной Конференции по экономике, которая недавно перенесла свою штаб-квартиру из Цюриха в Рим. Четырехнедельная программа растянулась на шесть месяцев, и в это время его начали замечать видные люди. Скоро пошел слух, что через несколько лет он станет главной надеждой и опорой президента США.

В свои сорок два года Торн уже вращался в верхах, и карьера сама шла ему в руки. Избрание Председателем и Президентом Всемирной Конференции повысило его в глазах общественности и стало вехой на пути к посту посла, затем к кабинету министра, а там, возможно, он смог бы баллотироваться и на высший пост в стране.

Семейные заводы Торнов процветали во время войны, и Джереми смог получить самое лучшее и самое дорогое образование, не думая о том, как заработаны эти деньги. Но когда умер отец, Джереми Торн закрыл все заводы и объявил, что никогда не

будет поощрять разрушения. Каждая война — это братоубийство. Но и в интересах мира состояние Торна продолжало приумножаться. Он начал развивать строительство в своих поместьях, улучшал районы гетто, давал займы нуждающимся и перспективным дельцам. В нем соединились дар накопления и чувство ответственности перед теми, у кого денег не было. По подсчетам выходило, что личное состояние Торна исчисляется сотней миллионов долларов, хотя проверить это было трудно, даже сам Торн не знал точных данных. Подсчитывать — значит делать пусть короткую, но остановку, а Торн находился в постоянном движении...

Такси остановилось у темного здания госпиталя Женераль. Отец Спиллетто выглянул из своего кабинета на третьем этаже и сразу же понял, что человек, идущий к нему, не кто иной, как Джереми Торн. Волевой подбородок и седеющие виски были знакомы по газетным фотографиям, походка и манера держаться тоже были знакомы. Торн выглядел именно так, как подобает выглядеть человеку в его положении. Выбор сделан правильно, отметил про себя отец Спиллетто. Священник встал, подбирая полы одежды. Стол показался совсем крошечным по сравнению с его могучей фигурой. Шаги Торна уже слышались в коридоре, они гулко звучали в темном здании.

— Мистер Торн?

Торн, уже поднявшийся на первую ступень лестницы, повернулся и поднял глаза кверху, пытаясь разглядеть человека в темноте.

— Да, это я.

— Меня зовут отец Спиллетто. Я послал вам...

— Да. Я получил вашу телеграмму. Я выехал сразу, как только стало возможным.

Священник передвинулся в круг света и навис над лестничной клеткой. Что-то в его движениях, в окружающей его зловещей тишине подсказывало, что здесь не все в порядке.

— Ребенок... родился? — спросил Торн.

— Да.

— А моя жена?..

— Отдыхает.

Священник спустился вниз, и глаза его встретились с глазами Торна, как бы пытаясь подготовить его, смягчить удар.

— Что-нибудь произошло? — спросил Торн.

— Ребенок умер.

Наступила страшная тишина, казалось, пустые кафельные коридоры зазвенели от нее. Торн стоял как громом пораженный.

— Он дышал только одно мгновение, — прошептал священник, — а потом дыхание оборвалось.

Священник наблюдал, как Торн, ничего не видя перед собой, подошел к скамейке, сел на нее, склонил голову и заплакал. Рыдание эхом пронеслось по коридорам, священник же заговорил снова.

— Ваша жена в безопасности, но она больше не сможет рожать.

— Это конец,— прошептал Торн.  
 — Вы можете усыновить ребенка,  
 — Она хотела иметь собственного...

На мгновение установилась тишина, и священник шагнул вперед. У него были грубые, но правильные черты лица, в глазах светилось сочувствие. Только выступивший пот выдавал его волнение.

— Вы очень сильно любите ее,— сказал он.

Торн кивнул. Он был не в силах отвечать.

— Тогда вы должны согласиться с божьей волей.

Из темноты коридора возникла пожилая монахиня, глазами она отозвала священника в сторону. Они отошли и начали о чем-то шептаться по-итальянски, потом женщина ушла, и священник снова повернулся к Торну. Что-то необычное было в его взгляде, Торн напрягся.

— Пути господа неисповедимы, мистер Торн.— Священник протянул вперед руку, Торн невольно поднялся и двинулся за ним.

Палаты для рожениц находились тремя этажами выше, и они пошли туда по запасной лестнице, потом по узкому коридору, освещенному редкими электрическими лампочками. Больничные запахи усилили чувство потери, которое билось во всем теле Торна. Они остановились у стеклянной перегородки, и священник проследил взглядом, как Торн, колеблясь, подошел поближе и взглянул на то, что находилось с другой стороны. Там был ребенок. Новорожденный, похожий на маленького ангелочка. У него были взъерошенные черные волосы и глубоко посаженные голубые глаза, которые инстинктивно тут же отыскали Торна.

— У него никого нет,— сказал священник.— Его мать умерла. Так же, как и ваш ребенок... в один и тот же час.— Торн резко повернулся к нему.— Вашей жене нужен ребенок,— продолжал священник,— а этому ребенку нужна мать.

Торн медленно покачал головой.

— Мы хотели иметь собственного,— сказал он.

— Осмелюсь сказать... он очень сильно похож...

Торн снова взглянул на ребенка и не мог не согласиться с этим. Волосы младенца были такого же цвета, как у Катерины, а черты лица походили на его собственные. Тот же волевой подбородок и даже маленькая ямочка на нем.

— Сеньора никогда об этом не узнает,— сказал священник.

Торн внезапно закрыл глаза, руки у него задрожали.

— А ребенок... здоровый?

— Абсолютно здоров.

— Остались родственники?

— Никого.

Торна и священника обволакивала полная тишина. Это было до того необычно, что безмолвие словно давило на барабанные перепонки.

— Я здесь главный,— сказал священник.— Никаких записей не останется. Никто об этом не узнает.

Торн отвел взгляд, все еще сомневаясь.

— Можно мне... посмотреть на МОЕГО ребенка? — спросил он.

— Что это изменит? — ответил священник. — Отдайте любовь живым.

За стеклянной перегородкой ребенок поднял обе ручки и вытянул их в сторону Торна, как бы желая обнять его.

— Ради вашей жены, сеньор, Бог простит вам этот обман. И ради этого ребенка, у которого иначе никогда не будет дома...

Он замолчал, потому что добавить было уже нечего.

— В эту ночь, мистер Торн... Бог подарил вам сына.

Высоко в небе пульсирующая звезда достигла зенита и задрожала, как от неожиданного удара молнией. А в больничной кровати очнулась Катерина, думая, что просыпается сама. Она ничего не знала об уколе, который ей сделали несколько минут назад. Она рожала в течение десяти часов и помнила все до последних схваток, но потом потеряла сознание и ребенка не видела. Придя в себя, она начала волноваться и попыталась успокоиться, услышав приближающиеся шаги в коридоре. Дверь распахнулась, и Катерина увидела своего мужа. В руках Джереми держал ребенка.

— Наш ребенок, — сказал Торн, и голос его задрожал от радости. — У нас есть сын!

Она протянула руки, взяла ребенка и зарыдала от нахлынувшего счастья. Слезы застилили глаза Торну, и он благодарил Бога за то, что ему подсказали верный путь.

## Глава вторая

Торны были из семей католиков, но сами никогда в Бога не верили. Катерина редко произносила молитвы и посещала церковь только на Рождество и Пасху, но больше по традиции, нежели из-за веры в католические догмы. Сам же Торн относился весьма спокойно в отличие от Катерины к тому факту, что их сына Дэмиена так и не окрестили. Правда, они пробовали сделать это. Сразу же после рождения супруги принесли младенца в церковь, но его страх, как только они вошли в собор, был таким очевидным, что им пришлось остановить церемонию. Священник вышел за ними на улицу, держа святую воду в руках, и предупредил, что если ребенок не будет окрещен, то никогда не сможет войти в Царство Божие, но Торн наотрез отказался продолжать крещение, видя, что ребенок сильно испуган. Чтобы успокоить Катерину, было устроено импровизированное крещение на дому, но она так и не поверила в него до конца, собираясь как-нибудь потом вернуться с Дэмиеном в церковь и сделать все как следует.

Но этот день так и не наступил. Скоро они окунулись в водоворот неотложных дел, и о крещении было забыто. Конференция по вопросам экономики закончилась, и Торны снова вернулись в Вашингтон. Торн приступил к обязанностям советника президента и стал видной политической фигурой. В его поместье в Маслине, штат Вирджиния, начали происходить совещания, о которых писали газеты от Нью-Йорка до Калифорнии, и семья

Торнов стала известной всем читателям национальных журналов. Они были богатыми, фотогеничными и быстро поднимались вверх. Что не менее важно, в их обществе часто можно было видеть и президента. Поэтому ни для кого не было неожиданностью назначение Торна послом США в Великобритании. В этой должности он мог развернуть все свои потенциальные возможности.

Переехав в Лондон, Торны обосновались в Пирфорде, в поместье семнадцатого века. Жизнь их стала походить на прекрасный сон, особенно для Катерины: она была так чудесна и совершенна, что это даже пугало. В своем загородном доме она жила в уединении — счастливая мать с любимым чадом. При желании могла выполнять обязанности жены дипломата и была при этом замечательной хозяйкой. Теперь у нее было все: и ребенок, и любовь мужа. Катерина расцвела, как очаровательный цветок — хрупкий и нежный, удивляющий всех подруг своей свежестью и красотой.

Поместье Пирфорд было очень респектабельным, его существование уходило глубоко в историю Англии. Здесь были погреба, где долгое время скрывался сосланный герцог, пока его не отыскали и не казнили; вокруг простирался лес, в котором король Генрих Пятый охотился на диких кабанов. В доме были подземные переходы и таинственные секретные лазы, но в основном там царила радость, потому что дом был полон смеха и гостей в любое время суток.

Для выполнения домашних дел были наняты слуги, кроме того в доме жила постоянная пара слуг, Гортоны, выполнявшие обязанности кухарки и шофера, — настоящие англичане с не-повторимым чувством собственного достоинства. Когда Катерина была занята своими делами, с Дэмьеном занималась няня — юная пухленькая англичанка по имени Чесса. Она была умницей, знала много игр и обожала Дэмьена, как будто это был ее собственный сын. Они часами были вместе. Дэмьен ходил за ней по большой лужайке или тихо сидел у пруда, пока Чесса ловила ему головастиков и стрекоз, которых они потом в баночках приносили домой.

Ребенок подрастал и, с точки зрения художника, был просто совершенством. Ему исполнилось три года, предсказание о пре-восходном здоровье сбывалось. Кроме того, он поражал своей изумительной силой. Дэмьен обладал таким спокойствием и наблюданностью, которые редко можно встретить у детей его возраста, и гости часто чувствовали себя неуютно под его взглядом. Если ум измерять способностью к внимательному созерцанию, то его можно было считать гением, потому что мальчик мог часами сидеть на маленькой кованой лавочке под яблоней и наблюдать за людьми, проходящими мимо, не упуская из виду ни одной детали. Гортон, шофер семьи, часто брал Дэмьена с собой, когда ему приходилось выполнять различные поручения. Ему нравилось молчаливое присутствие малыша, и он удивлялся способности ребенка с таким вниманием и удовольствием познавать окружающий мир.

— Он похож на маленького марсианина, — сказал как-то Гор-

тон своей жене,— как будто его прислали сюда изучать человечество.

— Мать в нем души не чает,— ответила она.— Не вздумай сказать ей что-нибудь подобное.

— Я не имел в виду ничего плохого. Просто он немного странный.

И еще одно было необычно: Дэмьен редко пользовался голо-  
сом. Радость он показывал широкой улыбкой, отчего на щеках  
проступали ямочки. Когда он грустил, то молча плакал. Одна-  
жды Катерина сказала об этом врачу, но тот успокоил ее,  
рассказав об одном ребенке, который не говорил до восьми лет,  
а однажды произнес за обедом: «Я не люблю картофельного  
пюре». Мать в изумлении спросила, почему же он молчал все это  
время? На что мальчуган ответил, что говорить не было необхо-  
димости, поскольку раньше пюре никогда не подавали.

Катерина рассмеялась и успокоилась насчет Дэмьена. В конце концов Альберт Эйнштейн не говорил до четырех, а Дэмьену было только три с половиной. Кроме его поразительной наблюдательности и молчаливости, в остальном он был совершенным ребенком, достойным плодом идеального союза Катерины и Джереми.

### Глава третья

Человек по имени Габер Дженнингс родился под созвездием Водолея. По гороскопам выходило, что во время его рождения произошло сближение двух небесных тел — Урана и прибывающей Луны. Он всегда отличался отвратительной прической и настойчивостью, доходящей до умопомрачения. Дженнингс был фанатиком в своей работе — работе фоторепортера. Как кошка, выслеживающая мышь, он мог днями лежать в засаде и ждать момента ради одной-единственной фотографии. Его и держали на работе как мастера «оригинального жанра». Он знал, где и когда надо быть, чтобы получить такие фото, какие никто из его коллег не добудет. Репортер жил в однокомнатной квартире в Челси и редко позволял себе роскошь носить дома носки. Но относительно своих фотографий он был так же щепетилен, как Солк в поисках лекарства от полиомиелита.

В последнее время его внимание привлек американский посол в Лондоне. Это была достойная цель, хотя бы из-за его идеального лица. Занимается ли он сексом со своей женой, и если да, то как именно? Дженнингс заявил, что хочет показать их, как он говорил. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА», хотя на самом деле ему мечталось нарисовать всех в наихудшем свете. Чем же они лучше его? Может быть, посол покупает неприличные журналы, а может, у него есть девочка на стороне? Вот эти-то вопросы и интересовали Дженнингса. Хотя ответов на них пока что не было, оставалась надежда, и был смысл ждать и наблюдать.

Сегодня он должен был идти в Пирфорд. Возможно, фотографий не будет, потому что там и без него будет хватать фотографов и гостей, но он сможет пронохать все ходы и определить, кого из слуг можно купить за пару фунтов.

Дженнингс встал рано утром, проверил фотоаппараты, протер линзы салфеткой, а потом ю же выдавил прыщ на лице. Ему было уже тридцать восемь, но прыщи на коже до сих пор преследовали его. Видимо, это было следствием работы — репортер постоянно прижимает камеру к лицу. Он вытащил одежду из-под кровати и облачил в нее свое худое тело.

Перед самым отъездом он порылся в бумагах, отыскивая листок с приглашением. В Пирфорде должно было состояться празднество в честь дня рождения сыну Торна исполнилось четыре года, из всех районов гетто в сторону Пирфорда уже направились автобусы, переполненные сиротами и детьми-кале-ками.

Вести машину по пригороду было легко, и Дженнингс решил покурить опиума, чтобы немного расслабиться. Через некоторое время ему показалось, что дорога сама катится под колеса, а машина стоит на месте, и он позабыл о действительности, полностью отдав себя закоулкам своего подсознания. Его воображение походило на картинки в красочном комиксе, где главным действующим лицом был он сам.

В миле от поместья Торнов стояли полицейские, наблюдавшие за машинами и проверявшие пригласительные карточки. Дженнингс тупо глядел вперед, пока они изучали его приглашение. Он уже привык к этому и знал, что не надо придавать себе чересчур уж достойный вид, будто его карточка не может быть поддельной.

В конце концов он оказался перед большими коваными воротами и постарался стряхнуть с себя опиумный дурман. Во всем поместье бушевал великолепный карнавал: лужайки были разукрашены и кипели жизнью, детишки шныряли между цирковыми палатками и каруселями, а мимо вышагивали лоточники, предлагая всем сладости и фрукты. Их голоса заглушала органная музыка, под которую дети поднимались и опускались на качелях, оседлав розовых лошадок и лебедей. Здесь же была палатка предсказательницы будущего, и многие известные в Лондоне люди уже заняли к ней очередь. Маленькие шотландские пони бегали без привязи по поместью, и был здесь даже маленький слоненок, разрисованный красными яблоками и охотно принимающий орехи из рук веселых ребятишек. По-всюду шныряли, обезумев от удачной вечеринки, фотографы, но Дженнингсу здесь фотографировать было нечего. Разве что фасад здания. Кирпичную стену, которая для всех остальных казалась настоящей.

— Что с тобой, коллега? Кончилась пленка?

Это был Гоби, неизменно представляющий «Геральд Ньюс». Он судорожно заправлял новую ленту, опервшись о столик с горячими сосисками, когда Дженнингс подошел к нему и небрежно загреб изрядное количество еды.

— Жду канонизации, — ответил Дженнингс, набив полный рот.

— Как тебя понимать?

— Не знаю, кого здесь приветствуют: наследника миллионов Торна или же самого Иисуса Христа.

— Дурак, ты же все пропустишь! Не так уж часто приходится нам бывать в подобных местах.

— Ну и что? В случае чего я куплю эти фотографии у тебя.

— А, опять ждешь чего-нибудь необычного?

— А мне другого и не надо.

— Ну ладно, желаю удачи. Хотя вряд ли она тебе улыбнется: Торны — самая лучшая семья по эту сторону Монако.

Исключительное фото. Вот что нужно было Дженнингсу. Вторгнуться во что-то интимное и недоступное. Он выслеживал свои жертвы, но каждый раз не был уверен, что из этого что-нибудь выйдет. Если бы только можно было пробраться ВОВНУТРЬ...

— Эй! Нянюшка! Нянюшка! — закричал вдруг Гоби. — Поммотрите-ка сюда! — И все устремили взгляд на огромный торт, который вывезли из дома.

Няня ребенка была наряжена клоуном, лицо ее было покрыто белой пудрой, а на губах толстым слоем лежала красная помада, изображающая широкую улыбку. Фотографы заплясали и забегали вокруг нее, а она, довольная, кривлялась, обнимала Дэмьена и размазывала по ребенку свой грим.

Дженнингс обежал взглядом толпу и заметил Катерину Торн, стоящую далеко от всех. По ее выражению репортер понял, что она не одобряет происходящего. Через секунду Катерина сняла свою полумаску, и Дженнингс инстинктивно поднял камеру и щелкнул затвором. При виде праздничного торта послышались радостные аплодисменты, Катерина шагнула вперед.

— Пусть ему предскажут судьбу! — выкрикнул один из репортеров. — Давайте сводим его к предсказательнице! — И как единое целое, толпа понеслась вперед, к палатке предсказательницы, увлекая за собой нянюшку вместе с ее любимым чадом.

— Я понесу его, — сказала Катерина, подходя к Чессе.

— Я могу все сделать сама, мэм, — ответила няня.

— Нет, я сама это сделаю, — холодно улыбнулась Катерина.

Через секунду их глаза встретились, и няня молча передала ребенка матери. Никто не обратил на это внимания, толпа понесла их дальше, и только Дженнингс видел все через видеоскатель своей камеры. Толпа прошла мимо, няня осталась одна, позади нее высилась башня поместья, и костюм клоуна еще сильнее подчеркивал ее одиночество. Дженнингс успел сделать два снимка, прежде чем Чесса повернулась и медленно пошла в дом.

Возле палатки предсказательницы Катерина попросила всех репортеров оставаться снаружи, вошла внутрь и вздохнула с облегчением, окунувшись в покой и полумрак.

— Здравствуй, малышка.

Голос доносился из-под капюшона, предсказательница сидела за маленьким зеленым столиком и старалась, чтобы голос казался таинственным. Лицо ее было вымазано зеленым гримом. Дэмьян посмотрел на нее, напрягся и вцепился в плечо матери.

— Не бойся, Дэмьян, — засмеялась Катерина. — Это добрая фея. Правда же, вы добрая фея?

— Конечно,— ответила предсказательница,— я не сделаю тебе больно.

— Она расскажет, что ждет тебя впереди,— пыталась уговорить сына Катерина.

— Иди ко мне,— подозвала его предсказательница,— и дай мне свою ручку.

Но Дэмьеен только сильнее прижался к матери. Тогда предсказательница сняла резиновую маску, под которой скрывалось милое девичье лицо.

— Посмотри на меня. Я такая же, как все. Это совсем не больно.

Дэмьеен успокоился и протянул руку. Катерина оперлась о карточный столик.

— О, какая мягкая, премиленькая ручка! У тебя будет хорошее, очень хорошее будущее.

Но вдруг она запнулась, вглядываясь с недоумением в ладонь.

— Ну-ка, дай мне вторую ручку.

Дэмьеен протянул вторую, и гадалка поразилась еще больше.

— Я никогда такого не видела,— сказала девушка.— Вот уже три года, как я гадаю на детских праздниках, но такое вижу впервые.

— Что вы видите?

— Посмотрите сами. У него нет линий на руках! Одни только складки.

— Что?

Катерина посмотрела на ладони сына.

— Он не обжигался?

— Разумеется, нет.

— Тогда посмотрите на свою руку. Посмотрите на эти мелкие черточки. Они делают каждого из нас неповторимым. Это линии вашей судьбы.

Наступила напряженная тишина, ребенок с удивлением смотрел на свои руки, не понимая, что в них было плохого.

— Посмотрите, какие гладкие у него кончики пальцев,— сказала девушка.— По-моему, у него даже не будет отпечатков!

Катерина присмотрелась и поняла, что это действительно так.

— Ну и хорошо,— рассмеялась девушка.— Если он ограбит банк, то его никогда не найдут.

— Не могли бы вы предсказать его будущее? За этим мы и пришли к вам.— Голос Катерины дрожал, беспокойство никак не покидало ее.

— Конечно.

Когда девушка взяла ребенка за руку, снаружи раздался громкий крик. Няня Чесса звала мальчика:

— Дэмьеен! Дэмьеен! Выходи! У меня есть для тебя сюрприз!

Предсказательница замолчала. В голосе Чессы чувствовалось отчаяние.

— Дэмьеен, иди сюда и посмотри, что я сейчас сделаю ради тебя!

Катерина вышла из палатки, держа Дэмьеена на руках, и посмотрела на крышу дома. Там, наверху, стояла Чесса, держа

в руках прочный канат. Она подняла его, показав, что один конец надет на шею. Толпа внизу начала оглядываться, а маленький клоун наверху встал на край крыши и сложил руки, будто собираясь прыгнуть в бассейн.

— Смотри, Дэмьен! — закричала Чесса. — Это все для тебя! — И шагнула вперед с крыши.

Ее тело тяжело полетело вниз, остановилось, удерживаемое канатом, а потом безвольно повисло. Чесса была мертва.

Люди на лужайке ошеломленно глядели, как маленькое тело раскачивается в такт карусельной музыке. И тут раздался крик ужаса. Кричала Катерина, и четыре человека рванулись к ней, успокаивая и помогая войти в дом.

Дэмьен остался один в своей комнате. Он глядел на пустую лужайку, где стояли только рабочие и продавцы, уставившись наверх, куда поднялся по лестнице мрачный полицейский, чтобы перерезать веревку. Тело упало вниз, задев головой кирпичную кладку. Разбитое, оно лежало на траве, глаза Чессы глядели в небо, а на лице продолжала сиять нарисованная клоунская улыбка.

Дни перед похоронами Чессы были мрачными. Небо над Пирфордом стало серым и постоянно содрогалось от далекого грома. Катерина проводила все время в одиночестве в темной гостиной, уставившись в никуда. Из письменного сообщения следователя выходило, что у Чессы в крови перед смертью был высокий уровень бенадрила, лекарства против аллергии, но это только добавило неясности. Все вокруг только и говорили о самоубийстве няни. Чтобы не давать репортерам пищи для всяческих домыслов по поводу происшедшего, Торн оставался дома, посвящая свое время жене. Он очень боялся, что она впадет в то состояние, которое мучило Катерину несколько лет назад.

— Ты вся извелась, дорогая, — сказал он однажды, войдя в гостиную. — Ведь Чесса не была членом нашей семьи.

— Была, — тихо ответила Катерина. — Она говорила мне, что хотела бы всегда жить с нами.

Торн покачал головой.

— Видимо, она передумала. — Он не хотел, чтобы его слова прозвучали бездушно, и боялся встретиться с Катериной взглядом в темноте.

— Извини, — добавил он, — но мне не нравится, что ты в таком состоянии.

— Я во всем виновата, Джереми.

— Ты?

— На дне рождения был один момент...

Торн пересек комнату и сел рядом.

— На нее все обращали внимание, — продолжала Катерина, — и я начала ревновать. Я забрала у нее Дэмьена, потому что сама хотела быть центральной фигурой.

— По-моему, ты к себе слишком строга. У девушки была рассстроенная психика.

— И у меня тоже, — проговорила Катерина. — Если для меня так важно быть в центре внимания.

Она замолчала. Все уже было сказано. Торн обнял ее и подождал, пока она не заснула. Сон ее был похож на тот, который он наблюдал во времена, когда она принимала либриум, и Торн подумал, что, может быть, смерть Чессы ее так потрясла, что она опять стала его принимать. Он просидел так около часа, а потом аккуратно взял жену на руки и отнес в спальню.

На следующий день Катерина пошла на похороны Чессы и взяла с собой Дэмьена. Народу было очень мало, только семьи девушки и Катерина с Дэмьеном. Все происходило на маленьком кладбище в пригороде. При обряде присутствовал лысеющий священник, который читал отрывки из священного писания и держал при этом над головой сложенную газету, спасаясь от моросящего дождя. Торн отказался присутствовать на похоронах, опасаясь общественного мнения, и предупредил Катерину, чтобы та тоже не ходила. Но она не послушалась, так как любила девушку и хотела проводить ее в последний путь.

За оградой кладбища толились репортеры, сдерживаемые двумя морскими пехотинцами-американцами, которых в последнюю минуту прислал из посольства Торн. Среди газетчиков был и Дженнингс. Закутанный в черный непромокаемый плащ, обутый в высокие сапоги, он основательно устроился в дальних деревьях, наблюдая оттуда за церемонией с помощью длиннофокусного объектива. Это был даже не объектив, а некое чудо-вещицное сооружение, установленное на штативе. С такой штукой можно было запросто сфотографировать спаривающихся мух на Луне. Репортер аккуратно переводил объектив с одного лица на другое: семья в слезах, Катерина в состоянии прострации, рядом с ней ребенок, беспокойный, возбужденный, с горящими, воспаленными глазами.

Именно ребенок заинтересовал Дженнингса, и он стал терпеливо поджидать момента, когда можно будет щелкнуть затвором. Такой случай представился. Блеск в глазах и выражение лица Дэмьена изменились, как будто что-то испугало мальчика, но через минуту он опять был спокоен. Глаза Дэмьена были обращены в сторону дальнего угла кладбища. Дженнингс перевел туда свой телескопический объектив, но ничего, кроме надгробных плит, не увидел. Затем вдали что-то шевельнулось. Темный, расплывчатый предмет возник в объективе, и Дженнингс навел резкость. Это был зверь. Собака. Огромная и черная, с глубоко посаженными на узкой морде глазами. Нижняя челюсть пса выступала вперед, обнажая зубы. Никто больше не заметил ее. Собака замерла, а Дженнингс проклинал себя за то, что зарядил черно-белую плёнку: желтые собачьи глаза делали всю сцену страшной и таинственной. Он поставил диафрагму так, чтобы на фотографии они казались совсем белыми, затем перевел объектив на мальчика и щелкнул затвором.

Для подобной сцены стоило потратить утро, и, упаковывая аппарат, Дженнингс почувствовал себя вполне удовлетворенным, но не совсем спокойным. Он поглядел на вершину холма — гроб уже опускали в могилу. Собака и ребенок казались издали крохотными, но их бессловесная связь была очевидной.

На следующий день произошли два события: дождь пошел сильнее, и появилась миссис Бэйлок, энергичная ирландка, которая подошла к воротам и объявила, что она новая няня. Охранник хотел было задержать ее, но миссис Бэйлок протаранила себе путь, вызвав таким бурным натиском и уважение, и страх.

— Я знаю, вам сейчас нелегко,— сказала она Торнам, снимая пальто в вестибюле,— поэтому я не буду напоминать о вашем горе. Но, между нами говоря, каждый, кто нанимает няней такую молоденскую девочку, сам напрашивается на неприятности.

Она передвигалась быстро, и, казалось, даже воздух зашевелился от движений ее грузного тела. Торн и Катерина молчали, пораженные ее уверенностью.

— А знаете, как определить хорошую няню? — Она рассмеялась.— По размеру груди. Эти маленькие девочки с пупырышками могут сменяться каждую неделю. А с таким размером, как у меня, остаются надолго. Сходите в Гайд-парк и увидите, что я права.

Она на секунду замолчала и подняла чемодан.

— Ну, хорошо. А где же мальчик?

— Я покажу,— сказала Катерина, поднимаясь по лестнице.

— Оставьте нас пока вдвоем, ладно? Мы сами познакомимся,— предложила миссис Бэйлок.

— Дэмьян стесняется незнакомых людей.

— Ну, уж только не меня, поверьте.

— Нет, право же...

— Чепуха. Я попробую.

В ту же секунду она двинулась, и ее массивное тело скрылось из виду. В тишине, наступившей после ее ухода, Торны переглянулись, потом Джереми неопределенно кивнул.

— Мне она нравится,— сказал он.

— И мне тоже.

— Где ты ее нашла?

— Где я ее нашла? — переспросила Катерина.

— Ну да.

— Я ее не находила. Я подумала, что это ты ее нашел.

В ту же секунду Торн позвал новую няню:

— Миссис Бэйлок!

Она вышла на площадку второго этажа и взглянула на Торнов сверху:

— Да?

— Извините... мы не совсем понимаем.

— В чем дело?

— Нам непонятно, как вы сюда попали.

— На такси. Но я его уже отпустила.

— Нет, я имею в виду... кто вас прислал?

— Контора.

— Контора?

— Из газет они узнали, что вы потеряли няню, и прислали другую. Меня.

Торн знал, как трудно сейчас в Лондоне найти работу, и объяснение показалось правдоподобным.

— Они весьма предприимчивы,— сказал он.

— Может быть, я позвоню, чтобы они все это подтвердили? — предложила Катерина.

— Конечно,— холодно ответила женщина.— А мне пока подождать на улице?

— Нет-нет...— постарался сгладить неловкость положения Торн.

— Я похожа на иностранного шпиона? — довольно грозно спросила миссис Бэйлок.

— Да нет, не очень,— натянуто улыбнулся Торн.

— Не будьте так самоуверенны,— ответила большегрудая няня.— Может быть, у меня за корсажем полно магнитофонов. Можно вызвать молоденького солдата — пусть меня обыщет.

Все рассмеялись, и громче всех сама миссис Бэйлок.

— Ладно, идите,— сказал Торн.— Мы потом проверим.

Торны прошли в кабинет, но Катерина все же позвонила в контору. Ей сказали, что у миссис Бэйлок большая практика и хорошие рекомендации. Единственная загвоздка в том, что она числится работающей в Риме. Но, видимо, у нее изменились обстоятельства, и это просто не успели занести в бумаги. Они все выяснят, как только вернется из четырехнедельного отпуска менеджер конторы, направивший ее к Торнам.

Катерина повесила трубку и посмотрела на мужа. Он пожал плечами, но был доволен, что все прояснилось. Миссис Бэйлок казалась несколько эксцентричной, но зато полной жизни, что сейчас было самым необходимым в их доме...

Наверху миссис Бэйлок без улыбки глядела на мальчика, дремавшего в кровати, и губы у нее тряслись, будто она созерцала произведение искусства неповторимой красоты. Ребенок услышал неровное дыхание, открыл глаза и встретился с ней взглядом. Он напрягся и сел в кровати, прижалвшись к спинке.

— Не бойся, крошка,— прошептала новая няня срывающимся голосом.— Я пришла, чтобы защищать тебя.

С небес раздался неожиданный раскат грома. Дождь усиливался.

### Глава четвертая

К июлю в сельской местности Англии все расцвело. Необычно долгий дождливый сезон привел к тому, что все притоки Темзы разлились и вызвали к жизни даже засохшие семена. Откликнулись на это и земли Пирфорда: они густо зазеленели и ожили; леса, начинавшиеся сразу за садами, стали непроходимыми от трав и скрывали множество животных. Гортон, боясь, что дикие кролики скоро начнут выходить из леса и грызть тюльпаны, поставил на них ловушки: пронзительные крики попавших в капканы зверьков можно было слышать по ночам. Но скоро все кончилось, и не только потому, что Катерина настояла на этом, но также из-за того, что Гортону самому было неприятно ходить в лес и собирать останки несчастных кроликов. Кроме того, он чувствовал на себе чей-то взгляд, будто следящий за ним из

зарослей. Когда он признался в этом своей жене, та рассмеялась и сказала, что это скорее всего призрак короля Генриха Пятого. Но Гортону было не до шуток, он отказался ходить в лес, будучи очень озабочен тем, что новая няня, миссис Бэйлок, часто брала туда Дэмьена и находила там бог знает какие вещи, которые развлекали его часами. Гортон также заметил, помогая жене стирать, что на одежде мальчика было много черных волос, будто он возился с каким-то животным. Но он не смог обнаружить связи между волосками и путешествиями в Пирфордский лес и решил считать это еще одной неприятной загадкой дома Пирфорд, которых становилось все больше.

Катерина стала уделять все меньше и меньше времени ребенку, ее заменила новая няня. Миссис Бэйлок и в самом деле была прекрасной гувернанткой, и ребенок полюбил ее. Одно только тревожило и казалось даже неестественным: мальчик предпочитал ее общество обществу своей собственной матери. Все слуги замечали и обсуждали это, им было обидно за хозяйку, которую новая няня вытеснила из сердца сына. Им хотелось, чтобы миссис Бэйлок уехала. Но вместо этого ее положение укреплялось с каждым днем, а влияние на хозяев дома усиливалось.

Катерина чувствовала то же самое, но не могла что-либо изменить. Она не хотела показывать ревность к человеку, которого любил ее ребенок. Она чувствовала себя виноватой в том, что однажды лишила Дэмьена любимого друга, и не хотела, чтобы это повторилось. Когда в конце второй недели миссис Бэйлок попросила перевести ее в комнату напротив спальни Дэмьена, Катерина согласилась. Наверное, у богатых так бывает всегда. Сама Катерина воспитывалась в более скромной семье, и только мать была ее единственным другом и защитником. Но здесь жизнь иная. Она была хозяйкой огромного дома, и, возможно, пришло время для подобных поступков.

Вновь обретенная свобода использовалась Катериной в полной мере: по утрам она занималась благотворительностью, днем посещала чаепития, на которых велись беседы о политике. Муж одобрял ее занятия. Катерина перестала быть хрупким цветком — она стала львицей, обладающей такими энергией и уверенностью, которых он раньше никогда в ней не замечал. Именно такую жену он мечтал иметь, и, хотя резкая перемена ее характера слегка обеспокоила его, он никоим образом не мешал ей. Даже в постели она стала другой — более возбужденной и страстью. Торн не понимал, что это было скорее выражение отчаяния, чем желания.

Работа Торна занимала все его время, с назначением в Лондон он стал центральной фигурой по вопросам нефтяного импорта. Президент США очень рассчитывал на результаты его встречи с нефтяными шейхами. Через несколько недель Торн должен был лететь в Саудовскую Аравию, но один, потому что арабы считали присутствие женщин в деловой поездке проявлением мужской слабости.

— Я не могу понять этого, — сказала Катерина, когда он ей все объяснил.



Рисунки Игоря Гончарука

— Это часть их культуры,— ответил Торн.— Я еду в их страну и должен считаться с национальными обычаями.

— А они не должны считаться с тобой?

— Конечно, должны.

— Но я ведь тоже часть культуры!

— Катерина...

— Я видела этих шейхов. Я видела женщин, которых они покупают. Куда бы они ни шли, вокруг них всегда вертятся проститутки. Может быть, они и от тебя ждут того же?

— Честно говоря, я не знаю.

Они разговаривали в спальне, было уже поздно — не самое лучшее время для споров.

— Что ты имеешь в виду? — тихо спросила Катерина.

— Это очень важная поездка, Кэти.

— И если они захотят, чтобы ты спал с проституткой...

— Если они захотят, чтобы я спал с их евнухом, я буду спать с их евнухом! Ты знаешь, ЧТО поставлено на карту.

Катерина с трудом нашла в себе силы ответить.

— А какова моя роль в этом? — тихо спросила она.

— Ты будешь здесь. То, что делаешь ты, не менее важно.

— Мне не нужен твой покровительственный тон!

— Я просто хочу, чтобы ты поняла...

— Что ты спасешь мир, если будешь делать то, что они захотят?

— Можно сказать и так.

Она взглянула на него пристально. С неприязнью.

— Наверное, все мы проститутки, Джереми. Ты — для них, а я — для тебя. Поэтому пошли в постель.

Он нарочно пробыл в ванне долгое время, надеясь, что, когда вернется, жена уже будет спать. Но она не спала. Она ждала его, и Торн ощущал в воздухе запах духов. Он сел на кровать и долго смотрел на нее. Наконец она улыбнулась и сказала:

— Извини меня. Я все понимаю.

Она взяла его голову и притянула к себе. Потом они стали заниматься любовью, но совершенно по-новому. Катерина отказалась двигаться, но не отпускала мужа, прося, заставляя его довести все до конца. Когда все было закончено, она расслабила руки, и он посмотрел на нее с болью и смятением.

— Иди и спасай мир, — прошептала Катерина. — И делай все, что они тебе прикажут.

В эту ночь Торн не мог заснуть, он сидел у застекленной балконной двери и любовался лунной ночью. Он видел лес, онемевший и застывший, словно некое сонное существо.

Но лес не спал, и Торну вдруг почудилось, будто кто-то смотрит на него. Торн подошел к порогу, взял бинокль и приставил его к глазам. Сначала он не видел ничего, кроме темноты. И вдруг заметил глаза! Два темных светящихся уголька, отражающих свет луны, близко поставленные, темно-желтые. Они были направлены в сторону дома. Торн содрогнулся, опустил бинокль и отступил назад. Он оставался некоторое время в комнате, потрясенный увиденным, а потом босиком спустился по лестнице к входной двери и медленно вышел на улицу. Было

совсем тихо, даже сверчки замолчали. Торн снова двинулся вперед, как будто его что-то влекло к лесу. В чащме он остановился. Никого не было. Два светящихся уголька исчезли. Он повернулся и угодил ногой во что-то теплое и мокрое. У Торна перехватило дыхание, он отступил в сторону и склонился над землей. Это был мертвый кролик, только что убитый. Головы у зверька не было..

На следующее утро Торн встал пораньше и спросил Гортон, продолжает ли тот ставить ловушки на кроликов. Гортон ответил отрицательно, и тогда Торн привел его в лес, к тому месту, где лежали останки животного. Над тельцем крутились мухи, Гортон веткой отогнал их, а потом нагнулся и исследовал трупик.

— Что вы думаете? — спросил Торн. — У нас завелся хищник?

— Не могу понять, сэр. Но сомневаюсь.

Он поднял окоченевшую тушку и с отвращением показал ее Торну.

— Хищники обычно оставляют голову, а не съедают. Тот, кто убил его, сделал это для развлечения.

Торн велел Гортону убрать труп и никому не говорить об этом. Они двинулись вперед, но Гортон вдруг остановился.

— Мне очень не нравится этот лес, сэр. И не нравится, что миссис Бэйлок водит сюда вашего мальчика.

— Скажите ей, чтобы она больше этого не делала, — ответил Торн. — На лужайке тоже много интересного.

Гортон исполнил приказание, и Торн впервые заметил, что в доме не все ладно. Миссис Бэйлок отыскала его вечером в кабинете и выразила свое негодование по поводу того, что приказания ей передаются через слуг.

— Конечно, я все сделаю, — сказала она презрительно, — но считаю, что приказания мне должен давать непосредственно хозяин.

— Не вижу никакой разницы, — ответил Торн. Его удивила ярость, сверкнувшая в глазах женщины.

— Это разница между большим домом и маленьким домишкой, мистер Торн. У меня появляется чувство, что здесь нет главного человека.

Она повернулась на каблуках и вышла, а Торн так и не понял, что она имела в виду. Если она намекала на слуг, то ими командовала Катерина. Кроме того, он часто отсутствовал. Возможно, миссис Бэйлок хотела сказать, что в доме не все так хорошо, как кажется. Что поведение Катерины, возможно, вышло из-под контроля...

В Челси на третьем этаже своего убогого жилища не спал репортер Габер Дженнингс. Он смотрел на растущую галерею фотографий Торнов, украшавшую стену в темной комнате. Фотографии похорон, темные и унылые: крупным планом собака среди надгробий, крупным планом мальчик. Здесь же фотографии, сделанные на дне рождения: Катерина смотрит на няню, няня в клоунском костюме, совершиенно одна. Последняя фотография особенно заинтересовала его, потому что над головой няни темнело пятно. Обычный фотодефект, но сейчас он смотрелся как некое знамение несчастья. Видимо, была поврежде-

на эмульсия, и над головой няни в виде легкого тумана образовался обруч, заходящий на шею. При других обстоятельствах такая испорченная фотография была бы выкинута, но эту стоило оставить. Конечно, при условии, что были известны дальнейшие события, это пятнышко носило символический характер — будто бы над несчастной Чессой нависла тень судьбы. На последней фотографии было запечатлено ее тело, висевшее на веревке,— страшная реальность, которой заканчивалась подборка. Вся эта галерея создавала некую фотозапись кошмара. И это нравилось Дженнингсу. Он изучал Торнов по всем доступным источникам и нашел в их семье нечто необычное, что никто до него еще не находил. Он принял копаться в истории семьи, для чего завел контакты с американцами.

Выяснилось, что Катерина происходила из семьи русских эмигрантов, и ее родной отец покончил жизнь самоубийством: статья в «Миннеаполис Таймс» рассказывала, что он бросился с крыши своей конторы в Миннеаполисе. Катерина родилась через месяц после самоубийства, а ее мать вторично вышла замуж и переехала с мужем в Нью-Гэмпшир. Катерина носила его фамилию, и в скучных интервью, данных ею за все эти годы, она никогда не упоминала об отчиме. У репортера росла уверенность в том, что он попал в нужную струю.

Ему не хватало только фотографии самого посла, и Дженнингс надеялся получить ее на следующий день. В церкви Всех Святых должно было состояться венчание знатных особ, и семья Торнов скорее всего будет на нем присутствовать. Конечно, такое событие было не в стиле Дженнингса, но пока что ему везло, и, может быть, повезет снова.

...За день до венчания Торн оставил свои обычные субботние дела в посольстве и поехал с Катериной за город. Его очень беспокоил их спор и странная близость, которая последовала за ним, поэтому он хотел побывать с ней наедине и выяснить, что с ней происходит. Впервые за последние несколько месяцев Катерина повеселела, наслаждалась поездкой и держала его за руку, пока они бродили на лоне природы. В полдень они очутились в Стрэтфорде-на-Эвон и пошли на любительский спектакль «Король Лир». Катерина была поглощена пьесой и даже прослезилась. Монолог короля Лира: «Зачем собака, крыса дышит... коль у тебя дыханья нет...» растрогал ее до глубины души; она заплакала уже открыто, и Торн долго успокаивал ее в пустом театре, после того как пьеса закончилась и зрители разошлись.

Они вернулись в машину и поехали дальше, Катерина продолжала легонько сжимать руку мужа, и всплеск эмоций вернул близость, которая давно исчезла в их отношениях. Теперь она была чувствительна ко всему, и когда они остановились у реки, Катерина снова расплакалась. Она рассказала о своих страхах, о боязни потерять Дэмыена — она не переживет, если с ним что-нибудь случится.

— Ты не потеряешь его, Кэти, — нежно успокаивал ее Торн. — Жизнь не может быть настолько жестокой.

Он давно уже не называл ее Кэти, и это слово как бы напомнило о расстоянии, увеличивающемся между ними в по-

следние месяцы. Они сели на траву под огромным дубом, и голос Катерины упал до шепота.

— Я так боюсь,— сказала она.

— Бояться совершенно нечего.

Огромный майский жук полз мимо нее, и она смотрела, как он пробирается между травинок.

— Чего ты боишься, Катерина?

— А чего мне не бояться?

Он смотрел на нее, ожидая продолжения.

— Я боюсь хорошего, потому что оно уйдет... Я боюсь плохого, потому что я очень слабая... Я боюсь твоих успехов и неудач. И я боюсь, что не имею никакого отношения к ним. Я боюсь, что ты станешь Президентом Соединенных Штатов, Джереми.. и тебе придется терпеть жену, которая тебя недостойна.

— Ты все делаешь прекрасно,— попытался успокоить ее Торн.

— Но мне это не нравится!

Признание было таким простым и как-то успокоило их, кое-что прояснив.

— Тебя это шокирует? — спросила Катерина.

— Немного,— ответил Джереми.

— Ты знаешь, чего я хочу больше всего?

Он покачал головой.

— Я хочу, чтобы мы вернулись домой.

Он лег на траву, уставившись на зеленые листья дуба.

— Больше всего, Джереми. Уехать туда, где мы будем в безопасности. Туда, где мы родились.

Последовала долгая пауза. Она легла рядом, и Торн обнял ее.

— Здесь тоже безопасно. В твоих объятиях.

— Да.

Катерина закрыла глаза, и на ее лице появилась мечтательная улыбка.

— Это Нью-Джерси, правда? — прошептала она.— А там, на том холме, не наша ли маленькая ферма? Та самая, на которой мы работаем?

— Это очень большой холм, Кэти.

— Я знаю. Знаю. Нам никогда через него не перейти.

Поднялся легкий ветерок и зашевелил листву под ними. Торн и Катерина молча наблюдали, как солнечные зайчики бегают по их лицам.

— Может, Дэмьян сумеет,— прошептал Джереми.— Может быть, он станет процветающим фермером.

— Вряд ли. Он весь в тебе.

Торн не ответил.

— Это правда,— продолжала Катерина.— Как будто я вообще не имею с ним ничего общего.

Торн приподнялся и посмотрел на ее погрустневшее лицо.

— Почему ты так говоришь?

Она пожала плечами, не зная, как это объяснить.

— Он очень самостоятельный. Похоже, ему вообще никто не нужен.

— Так только кажется.

— Он не привязан ко мне, как обычно ребенок привязывает-  
ся к матери. А ты любил свою мать?

— Да.

— А свою жену?

Их глаза встретились, и он погладил ее по лицу. Катерина поцеловала его руку.

— Я не хочу уходить отсюда,— пропела она.— Я хочу лежать так всю жизнь.

— Знаешь, Кэти,— произнес Торн после долгого молчания,— когда я увидел тебя в первый раз, я подумал, что ты самая красивая женщина на свете.

Она благодарно улыбнулась.

— Я до сих пор так думаю, Кэти,— прошептал он.— До сих пор.

— Я люблю тебя,— сказала Катерина.

— Я очень люблю тебя,— ответил Джереми.

Она скривила губы, в глазах заблестели слезы.

— Я даже хочу, чтобы мы с тобой больше ни о чем не говорили. Я хочу запомнить сказанное только что.

...Когда она снова открыла глаза, было уже темно.

Они вернулись в Пирфорд поздно. В доме все спали. Супруги разожгли огонь в камине, налили вина и сели рядом на мягкую, обитую кожей кушетку.

— А чем мы будем заниматься в Белом Доме? — спросила Катерина.

— Он очень далеко.

— А любовью там можно заниматься?

— Почему бы и нет?

— А не будет ли это противно в спальне Линкольна?

— Противно?

— Что мы такие низменные.

— В спальне Линкольна?

— Прямо на его кровати!

— Ну, он, наверное, подвинется.

— О, он может к нам присоединиться.

Торн засмеялся и прижал ее к себе.

— Придется еще как-то привыкать к туристам,— добавила Катерина.— Они проходят через спальню Линкольна три раза в день.

— А мы запрем дверь.

— Нет, так не пойдет. Вот что: будем брать с них дополнительную плату!

Он опять засмеялся, довольный ее хорошим настроением.

— Взгляните сюда,— продолжала дурачиться Катерина.— Посмотрите, как Президент трахает свою жену.

— Кэти!

— Кэти и Джерри вместе. Старик Линкольн переворачивается в гробу.

— Что это на тебя нашло? — попытался урезонить жену Торн.

— Ты.

Она засмеялась, и Торн присоединился к ней. И этот день,

и эта ночь были именно такими, о которых она мечтала всегда.

Следующий день начался прекрасно. К девяти часам утра Торн был уже одет для посещения венчания и весело спустился в гостиную.

— Кэти! — позвал он.

— Еще не готова,— раздался из ванной ее голос.

— Мы опоздаем.

— Наверняка.

— Они будут ждать нас, поэтому поторопись.

— Я стараюсь.

— Дэмьен уже одет?

— Надеюсь, что да.

— Я не могу опаздывать.

— Попроси миссис Гортон приготовить тосты.

— Я не хочу завтракать.

— Я хочу.

— Лучше поторопись.

Гортон уже подал лимузин к подъезду, Торн вышел на улицу и жестом попросил его подождать еще немного, потом быстро вернулся на кухню.

Катерина вышла из комнаты, на ходу завязывая пояс на белом платье, и направилась в комнату Дэмьена, громко говоря:

— Пошли, Дэмьен! Все уже готовы!

В комнате мальчика не было. Она услышала плеск воды в ванной, быстро прошла туда и вскрикнула от негодования: Дэмьен все еще сидел в ванной, а миссис Бэйлок продолжала его мыть.

— Миссис Бэйлок,— грозно сказала Катерина,— я просила вас, чтобы мальчик был одет не позднее...

— Если вы не против, мэм, я думаю, что ему лучше пойти погулять в парк.

— Я сказала, что мы собираемся взять его с собой в церковь!

— Церковь — неподходящее место для маленького мальчика в такой солнечный день.

Женщина улыбалась. Очевидно, она не понимала всей серьезности положения.

— Уж вы простите,— Катерина старалась говорить спокойно,— но нам очень важно быть в церкви.

— Он еще очень мал для церкви. Он там будет шалить,— настаивала на своем миссис Бэйлок.

— Вы, кажется, не понимаете меня? — твердо сказала Катерина.— Я хочу, чтобы он поехал с нами в церковь.

Миссис Бэйлок напряглась, оскорбленная тоном Катерины. Ребенок тоже почувствовал неладное и придвинулся поближе к няне, а та, сидя на полу, смотрела снизу вверх на его мать.

— Он раньше бывал в церкви? — спросила миссис Бэйлок.

— Я не понимаю, какое это имеет значение...

— Кэти! — закричал Торн.

— Иду! — отозвалась она и строго посмотрела на женщину, но та ответила точно таким же взглядом.

— Извините, что я высказываю свое мнение, но неужели вы

думаете, что четырехлетний ребенок поймет церковный бред  
приемом католического венчания?

У Катерины перехватило дыхание.

— Я католичка, миссис Бэйлок, и мой муж тоже!

— Кому-то надо быть католиками,— отшарила женщина.

Катерина стояла, окаменев от внезапного нападения.

— Вам придется одеть моего сына,— произнесла она как можно спокойней,— и привести к машине в течение пяти минут. Или же подыскивайте себе работу в другом месте.

— Возможно, я так и поступлю.

— Это ваше дело.

— Я подумаю.

— Надеюсь.

Наступила напряженная тишина, Катерина вдруг повернулась и собралась уходить.

— Кстати, насчет церкви...— сказала миссис Бэйлок.

— Да?

— Вы пожалеете, что взяли его.

Катерина вышла. Не прошло и пяти минут, как Дэмьян, чистый и одетый, стоял у машины.

Они поехали через Шеппертон, где строилось новое шоссе, и попали в большую пробку. От этого напряжение, и без того царившее в машине, усилилось.

— Что-нибудь случилось? — спросил Торн, посмотрев на жену.

— Ничего особенного.

— Ты очень сердита.

— Ерунда.

— Что случилось?

— Да так.

— Ну, ладно. Рассказывай.

— Миссис Бэйлок,— сказала со вздохом Катерина.

— Что там у нее?

— Мы поговорили.

— О чем?

— Она хотела погулять с Дэмьеном в парке.

— Разве это плохо?

— Вместо церкви.

— Не могу сказать, что я был бы против этого.

— Она делала все, чтобы он с нами не поехал.

— Наверное, ей без него скучно.

— Я не знаю, хорошо ли это.

Торн пожал плечами и невидящим взглядом уставился вперед, в то время как они продвигались в рычащей веренице автомобилей.

— Объехать никак нельзя, Гортон? — спросил он.

— Нет, сэр,— ответил Гортон,— но если вы не против, я хотел бы сказать кое-что о миссис Бэйлок.

Торн и Катерина переглянулись, удивившись такому заявлению.

— Говорите,— сказал Торн.

— Я не хочу говорить в присутствии малыша.

Катерина посмотрела на Дэмьена. Он играл шнурками новых ботинок и, очевидно, не прислушивался к разговору.

— Все в порядке,— сказала Катерина.

— Мне кажется, она плохо на него влияет,— продолжал Гортон.— Она не уважает правила, заведенные в доме.

— Какие правила? — спросил Торн.

— Я не хотел бы вдаваться в подробности, сэр.

— Пожалуйста.

— Ну, вот, хотя бы: у нас принято, чтобы слуги ели вместе, а посуду мыли по очереди.

Торн посмотрел на Катерину. Очевидно, ничего страшного в этом не было.

— Она с нами никогда не ест,— продолжал Гортон.— Наверное, она спускается после того, как все поедят, и берет еду для себя.

— Понимаю,— сказал Торн с напускной озабоченностью.

— И потом оставляет свои тарелки.

— Я думаю, можно попросить ее больше так не делать.

— Также у нас принято не выходить на улицу после того, как в доме погасили свет,— продолжал Гортон,— а я не раз видел, как она среди ночи шла в лес. И шла очень тихо, явно надеясь, что ее никто не услышит.

Торны задумались, сказанное очень удивило их.

— Это как-то странно... — пробормотал Джереми.

— И еще одно деликатное дело. Вы уж меня извините,— сказал Гортон,— но мы заметили, что она не пользуется туалетной бумагой. Мы не меняли рулон в ее кабинке с тех пор, как она появилась.

На заднем сиденье Торны переглянулись. История становилась непонятной.

— Я думаю, что она делает это в лесу, что совсем не похоже на поведение цивилизованного человека.

Наступило молчание. Торны были ошеломлены.

— И еще одно, сэр. Еще одно плохо.

— Что еще, Гортон? — со страхом спросил Торн.

— Она заказывает по телефону разговоры с Римом.

Закончив свою речь, Гортон отыскал свободное место между машинами и быстро выехал из пробки. Пейзаж замелькал перед глазами. Катерина и Торн тихо переговаривались, изредка поглядывая друг на друга.

— Сегодня она вела себя вызывающе,— сказала Катерина.

— Ты хочешь ее уволить?

— Не знаю. А ты?

Торн пожал плечами.

— Похоже, что Дэмьян к ней привык.

— Я знаю.

— С этим надо считаться.

— Да, — вздохнула Катерина.— Конечно.

— Но ты можешь ее уволить, если хочешь.

Катерина помолчала немножко.

— Я думаю, она сама уйдет.

Дэмьян сидел между ними, уставившись в пол. Машина въезжала в город.

Церковь Всех Святых была гигантским строением. Здесь слились воедино элементы архитектуры XVII, XVIII, XIX и XX веков. Огромные входные двери были всегда открыты, внутри днем и ночью горел свет. Сегодня лестница, ведущая к дверям, была покрыта ковром цветов, и по обе ее стороны стояли торжественно одетые шафера. На торжество собралось множество людей, и охранники с трудом сдерживали толпу. Это отнимало много времени, и лимузинам пришлось выстроиться в цепочку в ожидании своей очереди. Они подъезжали к дверям церкви и высаживали пассажиров.

Лимузин Торнов из-за опоздания оказался позади остальных машин. Здесь охраны не было, и люди окружили машину, бесцеремонно заглядывая внутрь. Автомобиль медленно продвигался вперед, а толпа все стучалась. Задремавший Дэмьян очнулся, и его испугали люди, заглядывающие в окна. Катерина прижала мальчика к себе и посмотрела вперед. Людей становилось все больше, они уже начали толкать машину. Уродливая голова гидроцефала приблизилась к окошку, и он начал стучать по стеклу, как будто просился в машину.

Катерина отвернулась, ей стало нехорошо, а урод расхохотался и понес какую-то чушь.

— Боже мой,— сказала Катерина, поборов тошноту.— Что здесь происходит?

— Затор на целый квартал,— ответил Гортон.

— Объехать никак нельзя?

— Машины стоят бампер к бамперу и сзади, и спереди.

Стук по стеклу продолжался, и Катерина закрыла глаза, пытаясь не слышать все усиливающийся неприятный звук.

— Неужели никак нельзя отсюда выбраться? — взмолилась она.

Дэмьян тоже разделял тревогу матери, в его глазах появилось беспокойство.

— Все хорошо... все в порядке,— успокаивал малыша Торн, заметив его тревогу.— Эти люди нас не обидят, они только хотят посмотреть, кто сидит в машине.

Но глаза ребенка начали расширяться от ужаса, только смотрели они не на толпу, а выше,— на поднимающийся совсем рядом шпиль церкви.

— Не надо бояться, Дэмьян,— сказал Торн.— Мы идем смотреть свадьбу.

Страх ребенка усиливался, лицо его напряглось. Машина неумолимо приближалась к церкви.

— Дэмьян...

Торн взглянул на Катерину, не спускавшую глаз с ребенка. Лицо Дэмьяна стало совсем каменным, он весь сжался, хотя толпа давно отступила, и перед ними предстал величественный собор.

— Все в порядке, Дэмьян,— шепнула Катерина.— Люди уже ушли...

Но взгляд ребенка был по-прежнему устремлен на церковь, а в глазах застыл страх.

— Что с ним случилось? — резко спросил Торн.

— Не знаю.

— Что с тобой, Дэмьен?

— Он перепуган до смерти.

Катерина протянула мальчику руку, и он вцепился в нее, с отчаянием заглядывая в глаза то ей, то Тори.

— Это всего лишь церковь, дорогой,— напряженно выговорила Катерина.

Мальчик резко отвернулся. Губы у него пересохли, он начал впадать в панику: дыхание стало прерывистым, кровь отхлынула от лица.

— Боже мой! — ахнула Катерина.

— Ему нехорошо?

— Он весь как лед. Холодный как лед!

Лимузин резко затормозил у церкви, дверца распахнулась: один из шаферов протянул руку Дэмьену, и тот забился в ужасе, вцепившись в платье Катерины.

— Дэмьен! — закричала Катерина.— Дэмьен!

Она пыталась разжать его пальцы, но он держался за платье со все большим отчаянием.

— Джереми! — Катерина теряла самообладание.

— Дэмьен! — крикнул на него Торн.

— Он рвет мое платье!

Торн наклонился к ребенку, но мальчик еще сильнее вцепился в мать, царапая ее по лицу, хватаясь за волосы, отчаянно пытаясь удержаться.

— Помогите! Боже! — взвизгнула Катерина.

— Дэмьен! — заорал Торн, тщетно пытаясь оторвать ребенка.— Дэмьен! Отпусти!

Дэмьен от ужаса пронзительно закричал. Собралась толпа, с любопытством наблюдающая за их схваткой. Гортон, пытаясь как-то помочь, повернулся с переднего сиденья и попытался подтолкнуть его, чтобы вытащить на улицу. Но ребенок превратился в настоящего зверя, он орал, а его пальцы с острыми ногтями вонзились в лицо и голову Катерины. Ему удалось даже вырвать изрядный клок ее волос.

— Уберите его! — закричала Катерина.

В ужасе она начала бить Дэмьена, пытаясь вывернуть руку, вцепившуюся ей в лицо. Резким движением Торн оторвал ребенка, схватил его в охапку и прижал к себе.

— Поехали! — крикнул он, задыхаясь, Гортону.— Поехали отсюда!

Ребенок продолжал биться. Гортон захлопнул двери, лимузин рванулся вперед.

— Боже мой,— всхлипывала Катерина, обхватив голову руками.— Боже... мой...

Лимузин двигался вперед, и судороги ребенка постепенно стихали, его голова запрокинулась в полном изнеможения. Гортон выехал на шоссе, и через несколько минут в машине наступила тишина. Глаза у Дэмьена горели, на лице проступили капельки пота. Торн все еще не отпускал его руки. Рядом сидела потрясенная Катерина, с растрепанными волосами, один ее глаз совсем закрылся. Ехали молча, никто не осмеливался заговорить.

Приехав в Пирфорд, они отвели Дэмьена в его комнату и немного посидели с ним. Лоб ребенка был холодный, и врача вызывать не пришлось. Дэмьян старался не смотреть на них: он, похоже, и сам испугался того, что натворил.

— Я позабочусь о нем,— спокойно сказала миссис Бэйлок, войдя в комнату.

Увидев ее, Дэмьян немного успокоился.

— Он очень перепуган,— сказала Катерина.

— Он не любит церковь,— ответила служанка.— Я же хотела повести его в парк.

— Он стал... совсем диким,— произнес Торн.

— Он просто рассердился.— Миссис Бэйлок прошла вперед и взяла Дэмьена на руки. Он прижался к ней, а Торны молча наблюдали. Затем медленно вышли из комнаты...

— Здесь что-то не так,— сказал ночью Гортон своей жене.

Она молча выслушала его рассказ о том, что произошло днем.

— Что-то не так с этой миссис Бэйлок,— продолжал он,— и что-то не то с этим мальчиком, и что-то не то во всем этом доме.

— Ты слишком серьезно все воспринимаешь,— ответила она.

— Если бы ты это видела, то поняла бы меня.

— Детская вспышка раздражительности.

— Звериная вспышка.

— Он очень горяч, вот и все.

— С каких это пор?

Она покачала головой и не ответила.

— Ты заглядывала когда-нибудь ему в глаза? — спросил Гортон.— Все равно как на зверя смотришь. Эти глаза наблюдают. Они ждут. Они ведают то, чего не знаешь ты. Они помнят места, в которых мы никогда не бывали.

— Опять ты со своими суеверными страхами.

— Подожди, и увидишь сама,— убеждал ее Гортон.— Здесь происходит что-то дурное.

— Что-то дурное происходит везде.

— Мне все это не нравится,— мрачно сказал он.— Я думаю, нам надо отсюда уехать.

В это время Торны сидели во внутреннем дворике. Было уже поздно. Дэмьян спал. Они молчали и смотрели в ночь. Лицо у Катерины припухло, виднелись кровоподтеки, и она ритмично прижимала к больному месту салфетку, смачивая ее время от времени теплой водой из кувшина, который стоял рядом.

— Ну,— сказала она наконец,— самое лучшее, что можно сделать с плохим днем, это покончить с ним. Я иду спать.

— Я еще немного посижу и приду.

Шаги жены затихли, и Джереми остался наедине со своими мыслями.

Он смотрел на лес, но вместо него видел госпиталь в Риме, себя, стоящим у стеклянной перегородки и давшим согласие на усыновление ребенка. Почему он не расспросил о матери Дэмьена? Кто она? Откуда? Кто отец ребенка, и почему он не пришел? За эти годы он делал некоторые предположения, которые усмиряли его страхи. Возможно, настоящая мать Дэмьена была

простой крестьянской девушкой, религиозной, и поэтому пришла рожать в католический госпиталь. Это был дорогой госпиталь, и она, не имея связей, не смогла бы туда попасть. Возможно, она была сиротой, а ребенок родился вне брака,— этим объяснялось и отсутствие отца. Что еще надо было знать? Что еще могло иметь значение? Ребенок родился подвижный, красивый и «совершенно здоровый».

Торн не привык сомневаться в своих поступках и обвинять себя, его мозг упорно настаивал на том, что он все сделал правильно. Тогда он был в отчаянии. Будучи чересчур ранимым и чувствительным, он мог легко поддаться внушению. Возможно, он поступил неправильно. Может быть, следовало узнать побольше?

Ответа на эти вопросы Торн так и не получил.

Только маленькая горстка людей знала их, но теперь они были разбросаны по всему земному шару. Сестра Тереза, отец Спиллетто, отец Тассоне. Только они знали. Лишь на их совести лежала эта тайна. Во мраке той далекой ночи они занимались своим делом, гордые тем, что избрали именно их. За всю историю Земли проделать подобное пытались лишь дважды, но лишь сейчас все должно было получиться. Их было трое, дело продвигалось безукоризненно, и ни одна живая душа не ведала о происходящем здесь. После рождения Дэмыена сестра Тереза подготовила его: вывела депилятором шерсть с рук и лба, припудрила его, чтобы дитя выглядело хорошо к тому моменту, когда появился Торн. Волосы на голове у новорожденного были очень густые, как они и рассчитывали, при помощи фена она распушила их, проверив сначала, есть ли на скальпе родинка. Торн никогда не увидит ни сестру Терезу, ни более мелкую фигуру — отца Тассоне, который тем временем в подвале укладывал в корзины два тела, чтобы увезти их. Первое тело принадлежало ребенку Торна — он замолчал прежде, чем успел закричать, второе — матери того, кто выжил. Снаружи ждал грузовик, готовый увезти трупы в Черветери, где в тишине кладбища Сент-Анджело у гробниц уже ждали могильщики.

План разрабатывался обществом дьяволопоклонников, и Спиллетто был главным. Он выбирал соучастников с большой осторожностью. Сестра Тереза вполне удовлетворяла его, но в последние минуты Спиллетто стал беспокоить отец Тассоне, чья вера рождена была страхом. В последний день он проявил нерешительность, что заставило Спиллетто задуматься. Тассоне был энергичным, но энергия его направлялась на себя самого, он делал все на грани отчаяния. Тассоне забыл о важности их миссии, и вместо этого полностью отдался своей роли. Такое самосознание вело к возбуждению, и Спиллетто хотел вывести Тассоне из игры. Если один из них не выдержит, то отвечать придется всем троим. Но самое главное, это отложится еще на тысячу лет.

В конце концов Тассоне оправдал себя, преданно и усердно выполняя работу, и даже справился со случайностью, которую никто не мог предвидеть. Когда корзину грузили в машину, ребенок не был мертв и издавал звуки. Быстро сняв корзину,

Тассоне вернулся с ней в подвал госпиталя и постарался, чтобы ребенок больше никогда не произнес ни звука. Содеянное сильно потрясло его. Но он сделал это, а остальное было неважно.

В ту ночь все, вокруг казалось обычным: доктора и сестры выполняли свои ежедневные обязанности, ничуть не подозревая о том, что произошло совсем рядом. Все было сделано с тщательной осторожностью, и никто, в особенности Торн, не смог бы ничего узнать.

Он сидел во внутреннем дворике и смотрел в ночь. Вдруг Торн осознал, что Пирфордский лес больше не вызывает у него дурных предчувствий. Теперь лес казался мирным, а сверчки и лягушки создавали обычный шум, успокаивающий и наводящий на размышление о том, что жизнь везде шла своим естественным путем. Джереми перевел взгляд на дом, на комнату Дэмьена. Там горел ночник, и Торн представил себе лицо спящего мальчика. Сейчас, на исходе этого страшного дня, стоило посмотреть на Дэмьена. Джереми поднялся, погасил лампу и направился в спящий дом.

Внутри было совсем темно, тишина звенела в ушах. Торн нащупывал лестницу и поднялся наверх. Он тщетно попытался нащупать выключатель и прошел дальше. Все вокруг него навевало сон, и Джереми медленно продвигался вдоль стены, затем повернул за угол коридора. Впереди находилась комната Дэмьена, слабый от света ночника выполз из-под двери. Торн остановился как вкопанный: ему показалось, что он услышал звук. Этот звук походил на вибрацию или глухой рокот, который сразу же прекратился, прежде чем Торн успел в нем разобраться. Снова воцарилась полная тишина. Торн собрался шагнуть вперед, но звук повторился, на этот раз громче, отчего сердце Джереми чуть не взорвалось от собственного стука. Он глянул вниз и увидел глаза. Дыхание перехватило, и Торн, окаменев, прижался к стене; рычание усилилось, и из тьмы возникла собака, как страж бросившаяся к двери ребенка. Глаза сверкали, уставившись на него, рычание не прекращалось.

— Ну... ну,— выговорил Торн срывающимся голосом, и от звука его зверь сжался, готовясь к прыжку.

— Спокойно,— сказала миссис Бэйлок, выходя из своей комнаты.— Это хозяин дома.

Собака сразу успокоилась, напряжение рассеялось. Миссис Бэйлок дотронулась до выключателя, и коридор тут же наполнился светом. Торн, уставившись на собаку, затянул дыхание.

— Что... это? — выдавил он.

— Сэр? — спокойно спросила миссис Бэйлок.

— Эта собака.

— По-моему, овчарка. Красивая? Мы нашли ее в лесу.

— Собака, неожиданно присмирев, легла у ее ног.

— Кто дал вам разрешение...

— Я подумала, что нам может пригодиться сторожевая собака, и мальчик очень любит ее.

Торна, стоявшего в напряжении у стены, еще трясло, и миссис Бэйлок не смогла сдержать своего любопытства.

— Она вас напугала?

— Да.  
— Видите, какая она хорошая. В смысле, как сторож. Поверьте, вы будете мне благодарны за нее, когда уедете.

— Куда я уеду? — спросил Торн.  
— Разве вы не собираетесь в Саудовскую Аравию?  
— Откуда вам известно про Саудовскую Аравию?  
Она пожала плечами.  
— Я не знала, что это такая тайна.  
— Я никому не говорил о поездке.  
— Миссис Гортон мне рассказала.

Торн кивнул и снова посмотрел на собаку.  
— Она не будет никого беспокоить, — заверила его женщина. — Мы будем кормить ее объедками...

— Я не хочу, чтобы она оставалась, — отрезал Торн.  
Миссис Бэйлок посмотрела на него с удивлением.  
— Вы не любите собак?  
— Когда я захочу иметь собаку, я сам ее выберу.  
— Но мальчику она очень нравится, сэр, она ему нужна.  
— Я сам решу, какая собака ему нужна.  
— Дети считают животных своими защитниками, сэр.  
Остальное их не интересует.

Она посмотрела на него так, будто собиралась сообщить какую-то очень важную вещь.

— Вы... хотите еще что-то сообщить?  
— Я не осмеливаюсь, сэр.  
Но ее вид обеспокоил Торна.  
— Если вы что-то хотите сказать, миссис Бэйлок, я с удовольствием вас выслушаю.

— Нет, сэр. У вас и так много дел...  
— Я сказал, что выслушаю вас.  
— Мне кажется, что ребенок чувствует себя одиноким.  
— Почему он должен быть одиноким?  
— Его мать не очень благожелательно относится к нему.  
Торн застыл при этом замечании.  
— Вот видите? — сказала она. — Мне не надо было говорить.  
— Не очень благожелательно?

— Мне кажется, она не любит его. И он это чувствует.  
Торн промолчал. Он не знал, что сказать.  
— Мне иногда кажется, что у Дэмьена никого нет, кроме меня, — добавила женщина.

— Я думаю, что вы ошибаетесь.  
— А теперь у него есть собака. Она ему нравится. Ради ребенка не выгоняйте ее.

Торн посмотрел вниз на огромного зверя и покачал головой.  
— Мне не нравится эта собака. Завтра же выставите ее.  
— Выставить — куда? — в изумлении спросила она.  
— Отдайте собачникам.  
— Но они же УБИВАЮТ их!  
— Тогда просто вышвырните. Чтобы завтра ее не было.  
Лицо миссис Бэйлок окаменело, и Торн отвернулся. Женщина и собака смотрели ему вслед; в их глазах горела ненависть.

## Глава пятая

Торн провел бессонную ночь. Он сидел на террасе спальни и курил, вкус сигарет был ему уже отвратителен. Из комнаты доносились стоны Катерины, и он задумался над тем, с каким демоном борется она во сне. Не вернулся ли это старый демон депрессии, который снова начинает преследовать ее?

Чтобы не думать о действительности, Торн начал размышлять и погрузился в свои фантазии, позабыв о реальных заботах и тревогах. В мечтах Торн провел всю ночь напролет.

Когда Катерина проснулась, раненый глаз распух еще сильнее и совсем закрылся. Уходя, Торн посоветовал ей все же обратиться к врачу. Больше они ни о чем не говорили. Катерина молчала, а Торн был занят проблемами нового дня. Оставалось собрать кое-какие мелочи для поездки в Саудовскую Аравию, но предчувствие, что ему не следует уезжать, угнетало Торна. Он боялся. За Катерину, за Дэмьена, за самого себя, и не мог понять почему. В воздухе ощущалось напряжение, казалось, что жизнь висит на волоске. Торн раньше никогда не задумывался о смерти, прежде она витала где-то очень далеко. Но сейчас сознание, что его жизнь каким-то образом находилась в опасности, занимало все его мысли.

В лимузине, по дороге в посольство, он небрежно заполнил бланки страховых полисов и набросал кое-какие указания, которые необходимо было соблюсти в случае его смерти. Торн делал это автоматически, не замечая, что подобное происходит впервые в его жизни. И только теперь, закончив писать, Торн вдруг ощутил страх, оцепенев, он просидел в напряженной тишине до тех пор, пока автомобиль не подъехал к посольству. Предчувствие чего-то страшного не покидало Джереми.

Лимузин остановился, и Торн вышел из него, дождавшись, пока машина уедет. Он увидел, как к нему стремительно приближаются двое мужчин. Один щелкнул фотоаппаратом, а другой принял ссыпать вопросами. Торн направился к посольству, но они встали у него на дороге.

- Вы читали сегодняшний «Репортер», мистер Торн?
- Нет, не читал...
- Там есть статья о вашей няне, о той, которая спрыгнула...
- Я не видел.
- В ней пишут, что няня оставила после себя записку.
- Чепуха.
- Посмотрите в эту сторону, пожалуйста.— Это сказал Дженнингс, он быстро передвигался и щелкал фотоаппаратом.
- Дайте мне пройти,— попросил Торн, когда Дженнингс преградил ему дорогу.
- Это правда, что она принимала наркотики? — спросил второй репортер.
- Конечно, нет.
- После вскрытия в крови было обнаружено лекарство.
- Это было лекарство против аллергии,— ответил Торн, стиснув зубы.— У нее была аллергия...

- Говорят, там была передозировка...
- Не двигайтесь секундочку,— попросил Дженнингс.
- Уйдите же с дороги! — зарычал Торн.
- Это наша работа, сэр.

Торн шагнул в сторону, но они продолжали его преследовать и снова преградили путь.

- Она принимала наркотики, мистер Торн?
- Я уже сказал вам.
- А в статье говорится...
- Мне наплевать, что говорится в этой статье!
- Прекрасно! — воскликнул Дженнингс.— Еще секундочку не шевелитесь!

Он слишком быстро придинул фотоаппарат, Торн резко толкнул его и вышиб из рук Дженнингса. Фотоаппарат с грохотом разбился о тротуар, и на какое-то мгновение все застыли, пораженные резкой вспышкой гнева.

- Неужели у вас нет никакого уважения? — выдавил Торн.

Дженнингс опустился на колени и снизу вверх взглянул на него.

- Извините,— удрученно произнес Торн. Голос у него дрожал.— Пришлите мне счет за убытки.

Дженнингс поднял разбитый аппарат, медленно встал и поклонился, глядя в глаза Торну.

- Все в порядке, мистер посол,— сказал он.— Давайте считать... что вы мне «должны».

Из посольства выбежал солдат морской пехоты, но увидел лишь последствия столкновения.

- Он разбил мою камеру,— обратился Дженнингс к солдату.— Посол разбил мою камеру.

Они постояли немного в замешательстве, потом разошлись каждый в свою сторону.

В кабинете Торна царил переполох. Поездка в Саудовскую Аравию была в опасности, потому что Торн отказывался ехать, не давая никаких объяснений. Разработка планов поездки заняла почти две недели, и теперь помощники требовали от него объяснений, считая, что их разыграли, и весь труд пропал даром.

- Вы не можете отменить ее,— убеждал один из помощников.— После всей подготовки вы не можете просто так взять и сказать...

- Она не отменяется,— возразил Торн,— она откладывается.

- Они воспримут это как оскорбление.
- Пусть будет так.

- Но почему?
- Я не могу сейчас уезжать,— сказал Торн.— Сейчас неподходящее время.

- Вы понимаете, что поставлено на карту? — спросил другой помощник.

- Дипломатия,— ответил Торн.
- Гораздо больше.

- Я пошлю кого-нибудь другого.

- Президент хотел, чтобы поехали вы,  
— Я поговорю с ним. Я все объясню.  
— Боже мой, Джереми! Мы планировали две недели!  
— Тогда перепланируйте! — закричал Торн.
- Такая внезапная вспышка гнева заставила всех умолкнуть. Зазвонил селектор, и Торн протянул к нему руку.
- Да?
- Вас хочет видеть отец Тассоне,— раздался голос секретаря.
- Кто?
- Отец Тассоне из Рима. Он говорит, что у него срочное личное дело.
- Я никогда о нем не слышал,— ответил Торн.
- Он говорит, что займет всего минуту. Что-то насчет госпиталя.
- Наверное, попросит пожертвований,— пробормотал один из помощников Торна.
- Или передачи даров,— добавил второй.
- Хорошо,— вздохнул Торн.— Пустите его.
- Я и не знал, что вас так легко растрогать,— заметил один из помощников.
- Общественные дела,— пробормотал Торн.
- Не принимайте окончательного решения насчет Саудовской Аравии. Хорошо? У вас сегодня плохое настроение. Давайте подождем.
- Решение уже принято,— устало ответил Торн.— Или едет кто-то другой, или мы откладываем поездку.
- Откладываем на какой срок?
- На потом,— ответил Торн.— Когда я почувствую, что смогу ехать.
- Двери распахнулись, и в огромном проеме возник маленький человечек. Это был священник. Одежда на нем была в полном беспорядке, и весь вид его говорил о неотложном деле. Помощники обменялись настороженными взглядами, не будучи уверены, могут ли они оставить комнату.
- Можно ли... попросить,— сказал священник с сильным итальянским акцентом,— ...поговорить с вами наедине?
- Это насчет госпиталя? — спросил Торн.
- Si.
- Торн кивнул, и помощники неохотно двинулись к выходу. Когда они вышли, священник закрыл за ними дверь, затем повернулся с выражением боли на лице.
- Да? — с участием спросил Торн.
- У нас мало времени.
- Что?
- Вы должны меня выслушать.
- Священник не двигался, прижавшись спиной к двери.
- И о чем же вы будете говорить? — спросил Торн.
- Вы должны уверовать в Христа, вашего Спасителя. Вы должны уверовать прямо сейчас.
- На секунду воцарилось молчание.
- Пожалуйста, синьор...

— Извините меня,— перебил его Торн.— Если я вас правиль-но понял, у вас ко мне срочное личное дело?

— Вы должны уверовать,— продолжал священник,— выпейте крови Христовой и съешьте его тела, потому что только тогда он будет внутри вас, и вы сможете победить сына дьявола.

Атмосфера в кабинете накалялась. Торн протянул руку к селектору.

— Он уже убил один раз,— прошептал священник,— и убьет еще. Он будет убивать до тех пор, пока все ваше имущество не перейдет к нему.

— Если вы подождете немного в коридоре...

Священник стал приближаться, в голосе его росло волнение.

— Только с помощью Христа вы сможете бороться с ним,— угрожающе произнес он.— Уверуйте в Христа. Выпейте его крови.

Торн нашупал кнопку селектора и нажал ее.

— Я запер дверь, мистер Торн,— сказал священник.

Торн напрягся, его испугал тон священника.

— Да? — раздался в селекторе голос секретаря.

— Пришлите охрану,— ответил Торн.

— Что случилось, сэр?

— Я умоляю вас, синьор,— воскликнул священник,— послушайте, что я вам скажу.

— Сэр? — повторила секретарша.

— Я был в госпитале, мистер Торн,— сказал священник,— в ту ночь, когда родился ваш сын.

Торн застыл. Он не мог отвести взгляда от отца Тассоне.

— Я был... акушером,— сказал священник запинающимся голосом.— Я... был... свидетелем рождения.

Опять послышался голос секретаря, на этот раз в нем звучало беспокойство.

— Мистер Торн? — спросила она.— Извините, я не рассыпала вас.

— Ничего,— ответил Торн.— Просто... будьте на месте.

Он отпустил кнопку, с ужасом глядя на священника.

— Я умоляю вас...— произнес Тассоне, едва сдерживая слезы.

— Что вам угодно?

— Спасти вас, мистер Торн. Чтобы Христос простил меня.

— Что вам известно о моем сыне?

— Все.

— Что вам известно? — строго переспросил Торн.

Священник задрожал, в голосе его чувствовалось крайнее волнение.

— Я видел его мать,— ответил он.

— Вы видели мою жену?

— Его МАТЬ, мистер Торн!

Лицо Торна стало жестким.

— Это шантаж? — тихо спросил он.

— Нет, сэр.

— Тогда что вы хотите?

— РАССКАЗАТЬ вам, сэр.

- Что рассказать?  
— Его мать, сэр...  
— Продолжайте, что там насчет его матери?  
— Его матерью, сэр... была самка шакала! — Священник застонал.— Он родился от шакала. Я сам это видел!

Послышился треск, и дверь распахнулась. В кабинет ворвался солдат, за ним помощники Торна и секретарь. Торн сидел, не шевелясь, мертвенно-бледный. По лицу священника катились слезы.

- Здесь что-нибудь произошло, сэр? — спросил солдат.  
— У вас был странный голос,— добавила секретарь.— А дверь оказалась запертой.  
— Я хочу, чтобы этого человека выпроводили отсюда,— сказал Торн.— А если он когда-нибудь снова появится, посадите его в тюрьму.

Никто не шевельнулся. Солдат не знал, что ему делать со священником. Тассоне медленно повернулся и пошел к двери. Здесь он оглянулся на Торна.

— Уверуйте в Христа. Каждый день пейте кровь Христову,— грустно прошептал он и вышел.

- Что он хотел? — спросил один из помощников.  
— Не знаю,— тихо ответил Торн, глядя вслед священнику.— Он сумасшедший.

На улице рядом с посольством Габер Дженнингс прислонился к автомобилю и проверял запасной фотоаппарат, отложив разбитый в сторону. Он увидел, как солдат сопровождает священника из посольства, и сделал пару снимков. Солдат заметил Дженнингса и подошел поближе, недовольно глядя на него.

— Вам недостаточно хлопот с этой штукой? — спросил он, указывая на аппарат.

— Хлопот? Их никогда не бывает достаточно,— улыбнулся Дженнингс, еще раз сфотографировав маленького священника, прежде чем тот исчез вдали...

Поздно вечером Дженнингс сидел в своей темной комнатке и разглядывал фотографии. Чтобы убедиться в исправности запасной камеры, он сделал тридцать шесть снимков с разной диафрагмой и выдержкой, и три из них вышли неудачными. Это был тот же дефект, что и несколько месяцев назад, когда он снимал нилю на дне рождения в поместье Торнов. Теперь нечто похожее было на снимках со священником. Опять создавалось впечатление, что повреждена эмульсия, но теперь это было не на одном снимке. Брак задевал два негатива, потом шли два хороших кадра, потом опять точно такой же брак. Самым поразительным, однако, было то, что брак, казалось, преследовал определенного человека: странное мутное пятно зависло над головой священника.

Дженнингс вынул из проявителя пять фотографий и принялся рассматривать их вблизи. Два снимка священника с солдатом, два снимка солдата крупным планом и еще один, с удаляющимся священником. На последнем снимке пятно стало меньше, в соответствии с размерами самого священника. Как и раньше, этот брак напоминал какое-то свечение, но в отличие

от пятна на снимке с няней оно было продолговатой формы и зависло над священником. Пятно походило на призрачное копье, готовое вот-вот пригвоздить священника к земле.

Дженнингс достал опиум и погрузился в размышления. В свое время он вычитал, что эмульсия фотопленки очень чувствительна к сильному теплу, так же, как и к свету.

Возможно, тепло, которое вырабатывается при чрезмерном волнении, прорывается через человеческое тело, и его можно заснять на пленку рядом с человеком, находящимся в состоянии сильного стресса.

Все это взволновало Дженнингса, и он стал рыться в справочниках, отыскивая самый чувствительный в мире образец фотопленки — номер Три-Х-600. Пленку начали выпускать только недавно. Чувствительность ее была настолько высока, что позволяла запечатлеть предметы, освещенные пламенем свечи. Видимо, она была также чувствительна к теплу.

На следующее утро Дженнингс купил двадцать четырех кассет пленки Три-Х-600 и набор сопутствующих фильтров, чтобы испытать пленку на улице. Фильтры будут закрывать часть света, но пропускать при этом тепло, и он таким образом скорее обнаружит то, что ищет. Ему надо было найти людей в состоянии сильного стресса, поэтому он направился в больницу и скрытой камерой снимал обреченных на смерть больных. Результаты разочаровали его: из десяти использованных пленок ни на одном кадре не появилось пятна. Теперь стало ясно: что бы ни означали эти пятна, они не связаны с предчувствием смерти.

Результаты этой съемки несколько разрушили теорию Дженнингса, но он не упал духом, интуитивно чувствуя, что находится на верном пути. Вернувшись в свою темную комнату, он отпечатал еще несколько снимков с няней и священником на разной фотобумаге и исследовал каждое зерно этих отпечатков. При большом увеличении было видно, что там на самом деле присутствовало нечто, невидимое невооруженным глазом.

Всю последующую неделю мысли и время Дженнингса были заняты этим таинственным явлением. А потом он решил еще раз выйти на Торна.

Торн выступал на территории местного университета, на деловых завтраках, даже на фабриках, и все могли прийти послушать его. Посол был очень красноречив, говорил страстно и неизменно овладевал аудиторией, где бы ни выступал.

— У нас так много разделений! — выкрикивал посол. — Старые и молодые, богатые и бедные... но самое главное деление — на тех, кто имеет возможность, и на тех, у кого ее нет! Демократия — это равные возможности! А без равных возможностей слово «демократия» превращается в ложь!

Торн отвечал на вопросы и контактировал с публикой во время таких выступлений, но самым ценным являлось то, что он мог заставить людей поверить.

Эта страстность, на которую так охотно откликались люди, рождалась от отчаяния. Торн убегал от самого себя, пытаясь заполнить свою жизнь общественными делами, ибо растущее предчувствие чего-то ужасного стало преследовать его. Два раза

в толпе, собирающейся на его выступления, он замечал знакомую черную одежду священника. Торн не придал серьезного значения словам Тассоне: просто человек, религиозный фанатик, преследующий политического деятеля, сопел с ума, а то, что он упомянул ребенка Торна, могло быть простым совпадением. И тем не менее слова священника врезались в память. Ему пришла в голову мысль, что священник, возможно, потенциальный убийца, но Торн отринул и это предположение. Разве смог бы он куда-нибудь выходить, если бы все время думал, что в толпе его может ожидать смерть? И все же Тассоне был хищником, а Торн — жертвой. Он чувствовал себя, как полевая мышь, постоянно опасающаяся ястреба, кружавшегося над ней высоко в небе.

В Пирфорде все казалось спокойным. Но за внешним спокойствием скрывалось волнение. Торн и Катерина виделись редко: из-за своих выступлений он был постоянно в разъездах. Когда же они встречались, то говорили лишь о мелочах, избегая тем, которые могли бы их расстроить. Катерина стала уделять Дэмьену больше времени. Но это только подчеркивало их отчуждение: в ее присутствии ребенок был замкнут и молчалив, долгие часы томясь в ожидании возвращения миссис Бэйлок.

С нянней Дэмьен играл и смеялся, а Катерина неизменно вызывала в нем оцепенение. Чего только не пробовала Катерина в поисках способа пробить, наконец, его замкнутость. Она покупала детские книжки и альбомы для раскрашивания, конструкторы и заводные игрушки, но он принимал все это с неизменным равнодушием. Правда, один раз ребенок проявил интерес к альбому с рисунками зверей, и вот тогда она решила поехать с ним в зоопарк.

Собираясь на прогулку, Катерина вдруг подумала о том, как резко отличается их жизнь от жизни обычных людей. Ее сыну было уже четыре с половиной года, а он ни разу не был в зоопарке. Семье посла все подавалось на блюдечке, и они редко искали развлечений вне дома. Возможно, именно отсутствие путешествий и переживаний лишило Дэмьена способности веселиться. Но сегодня глаза у него были веселые, и, когда он сел рядом с ней в машину, Катерина почувствовала, что наконец-то сделала правильный выбор. Он даже заговорил с ней: пытался произнести слово «гиппопотам» и, когда оно получилось правильно, рассмеялся. Этой мелочи было достаточно, чтобы Катерина почувствовала себя счастливой. По дороге в город она без умолку болтала, и Дэмьен внимательно слушал ее... Тигры похожи на больших котов, а гориллы — это просто большие мартышки, белки — все равно что мыши, а лошади — как ослики. Ребенок был восхищен, старался все запомнить, и Катерина даже придумала что-то вроде стихотворения, повторяя его по дороге. «Тигры — будто бы коты, а лошадки — как ослы. Белки — словно мышки, гориллы — как мартышки». Она быстро повторила его, и Дэмьен рассмеялся, потом она пересказала его еще быстрей, и он рассмеялся громче. Они хохотали всю дорогу до зоопарка.

В тот зимний воскресный день в Лондоне было солнечно,

и зоопарк был заполнен посетителями до отказа. Звери тоже наслаждались солнцем, их голоса были слышны повсюду, даже у входных ворот, где Катерина взяла напрокат прогулочную коляску для Дэмьена.

Они остановились около лебедей и наблюдали, как ребятишки кормят этих красивых птиц. Катерина с Дэмьеном подошли поближе, но в эту минуту лебеди вдруг прекратили есть и, величественно развернувшись, медленно отплыли к середине пруда. Там они остановились и с царской надменностью смотрели на ребятишек, кидающих им хлеб и зовущих вернуться. Но лебеди не трогались с места. Когда Катерина с Дэмьеном отошли, лебеди снова подплыли к детям.

Подходило время обеда, и людей становилось все больше. Катерина пыталась отыскать клетку, у которой стояло бы поменьше зрителей. Справа висел плакат «Луговые собаки», и они направились туда. По пути она рассказала Дэмьену все, что знала о луговых собачках. Подойдя к вольеру, Катерина увидела, что и здесь народу не меньше.

Неожиданно животные попрятались в свои норы, а толпа разочарованно зашумела и начала расходиться. Когда Дэмьян вытянул шею, чтобы посмотреть на собак, он увидел только кучи грязи и разочарованно взглянул на мать.

— Наверное, они тоже пошли обедать,— сказала Катерина, пожимая плечами.

Они пошли дальше, купили сосиски и булочки и съели их на скамейке.

— Мы пойдем смотреть обезьян,— сказала Катерина.— Ты хочешь посмотреть на обезьян?

Путь до вольера с обезьянами сопровождали таблички с названиями животных, и они подошли к длинному ряду клеток. Глаза у Дэмьена засветились от нетерпения, когда он увидел первое животное. Это был медведь, уныло передвигающийся взад-вперед по клетке, равнодушный к галдящей толпе. Но стоило Катерине с Дэмьеном подойти поближе, медведь встрепенулся. Он остановился, посмотрел на них и сразу же удалился в свое логово. В соседней клетке сидела большая дикая кошка; она застыла, не сводя с них своих желтых глаз. Дальше жил бабуин, который неожиданно оскалился, выделив их из толпы проходящих мимо людей. Катерина ощущала действие, которое они производили на зверей, и, проходя мимо клеток, внимательно наблюдала за животными. Они не сводили глаз с Дэмьена. Он тоже почувствовал это.

— Наверное, ты им кажешься вкусным,— улыбнулась Катерина.— По-моему, это верно.

Она подтолкнула коляску на соседнюю дорожку. Из павильона доносились крики, веселый смех, и Катерина поняла, что впереди вольер с обезьянами. Она оставила коляску у входа и взяла Дэмьена на руки.

Внутри было жарко и противно пахло, ребячий голоса звенели повсюду, и звук этот усиливается, эхом отражаясь от стен. Они стояли у дверей и ничего не видели, но по возгласам посетителей Катерина поняла, что обезьяны играют в самой дальней

клетке. Она протолкнулась вперед и увидела, наконец, что происходило в клетке. Это были паукообразные обезьяны, находившиеся в прекрасном расположении духа: они раскачивались на шинах, бегали по клетке, развлекая публику акробатическими трюками. Дэмьену это понравилось, и он рассмеялся. Катерина продолжала проталкиваться, ей хотелось встать в первом ряду. Обезьяны не обращали внимания на людей, но, когда Катерина и Дэмьен подошли поближе, настроение их резко изменилось. Игра сразу же закончилась, животные начали нервно выискивать кого-то в толпе. Люди тоже замолчали, удивляясь, почему замерли животные. Все, улыбаясь, ждали, что они так же внезапно снова разыграются. Вдруг внутри клетки раздался вой — сигнал опасности и тревоги. К нему присоединились крики других обезьян. Звери заметались по клетке, пытаясь выскочить наружу. Они бросались во все стороны, разламывали проволочную сетку, в безумии царапали друг друга, пуская в ход зубы и когти, на их раненых телах выступила кровь. Толпа в ужасе притихла, а Дэмьен хохотал, указывая на обезьян, и с удовольствием наблюдал за кровавой сценой. Страх внутри клетки разрастался, и одна большая обезьяна кинулась вверх к проволочной сетке на потолке, зацепилась шеей за проволоку, тело ее задергалось, а потом бессильно повисло. Люди в ужасе закричали, многие бросились к двери, но их крики тонули в визге животных. С вытаращенными глазами и оскаленными пастьями обезьяны метались от стены к стене. Одна из них начала биться о бетонный пол и упала, дергаясь в судорогах, остальные прыгали рядом и кричали в страхе. Люди, расталкивая друг друга, рванулись к выходу. Вместо того чтобы убежать от зверей, Катерина продолжала стоять, будто окаменев. Ее ребенок смеялся. Он указывал на истекающих кровью обезьян и заливался смехом. Это именно ЕГО они испугались. Это ОН все сделал. И когда бойня в клетке усилилась, Катерина пронзительно закричала.

### Глава шестая

В Пирфорде ее ждал Джереми. Джереми надеялся, что она приедет в хорошем настроении, и попросил не подавать обеда до ее приезда. Они сидели за маленьким столиком, Торн смотрел на Катерину, пытавшуюся спокойно есть, но напряжение сковывало ее.

- С тобой все в порядке, Катерина?
- Да.
- Ты все время молчишь.
- Наверное, просто устала.
- Много впечатлений?
- Да.

Она отвечала коротко, будто не хотела расспросов.

- Понравилось?
- Да.
- Ты взволнована.
- Разве?

- Что случилось?
- Что могло случиться?
- Я не знаю. Но ты чем-то расстроена.
- Просто устала. Мне надо поспать.

Она попыталась выдавить из себя улыбку, но у нее не получилось. Торн забеспокоился.

- С Дэмьеном все в порядке?
- Да.
- Ты уверена?
- Да.

Он внимательно посмотрел на Катерину.

— Если что-нибудь было не так... ты бы рассказала мне, правда? Я хочу сказать... насчет Дэмьена.

— Дэмьена? Что может случиться с Дэмьеном, Джереми? Что может случиться с нашим сыном? Мы ведь так счастливы!

Катерина слегка улыбнулась, но выражение ее лица оставалось грустным.

— Я хочу сказать, что двери нашего дома открыты только для добра. Темные тучи обходят наш дом стороной.

— Но что же все-таки случилось? — тихо спросил Торн.

Катерина опустила голову.

— Мне кажется... — ответила она, пытаясь совладать с голосом, — ...что мне надо обратиться к врачу. — В глазах ее застыло отчаяние. — У меня... страхи. Причем такие страхи, которых у нормального человека просто не может быть.

— Кэти, — прошептал Торн. — ...Какие страхи?

— Если я тебе расскажу, ты меня запрячешь подальше.

— Нет, — убедительно ответил он. — Нет... я люблю тебя.

— Тогда помоги мне, — взмолилась она. — Найди врача.

По щеке поползла слеза, и Торн взял ее за руки.

— Конечно, — сказал он. — Конечно.

И тут Катерина разрыдалась. То, что произошло днем, осталось камнем лежать на ее сердце.

Психиатра в Англии найти было не так просто, как в Америке, но тем не менее Торну удалось разыскать такого, которому можно было доверять. Он был американец, правда, моложе, чем хотелось бы Торну, но с хорошими рекомендациями и огромным опытом. Его звали Чарльз Гриер. Он учился в Принстоне и работал интерном в Беллеву. Особенно ценным было то, что он некоторое время жил в Джорджтауне и лечил нескольких сенаторских жен.

— Обычная проблема жен политических деятелей — алкоголизм, — сказал Гриер, когда Торн расположился у него в кабинете. — Я думаю, это происходит от чувства одиночества. Чувства собственной неполноценности. Из-за ощущения, что они не представляют цельной личности.

— Вы, конечно, понимаете, что наш разговор строго конфиденциален,— сказал Торн.

— Разумеется,— улыбнулся психиатр.— Люди доверяют мне, и, честно говоря, больше я им ничего не могу предложить. Они не обсуждают свои проблемы с другими, боясь, как бы их откровение не «аукнулось» им. А со мной можно. Не могу обещать многоного, но вот это именно могу.

— Она должна прийти к вам?

— Просто дайте ей мой номер. Не заставляйте ее приходить.

— Да нет, она сама хочет прийти. Она просила меня...

— Хорошо.

Торн поднялся, и молодой врач улыбнулся.

— Вы позвоните после того, как поговорите с ней? — спросил Торн.

— Сомневаюсь,— просто ответил Гриер.

— Я хочу сказать... если вам будет что сказать.

— Все, что мне надо будет сказать, я скажу ЕЙ.

— В смысле, если вы будете БОЯТЬСЯ за нее.

— Она склонна к самоубийству?

— ...Нет.

— Тогда мне нечего за нее бояться. Я уверен, все не так серьезно, как вы предполагаете.

Приободренный, Торн направился к выходу.

— Мистер Торн?

— Да?

— А зачем вы пришли ко мне?

— Чтобы увидеть вас.

— Для чего?

Торн пожал плечами:

— Наверное, посмотреть, как выглядите.

— Вы хотели сообщить что-нибудь важное?

Торн почувствовал себя недоволен. Немного подумав, он покачал головой.

— Вы хотите сказать, что мне самому нужен психиатр? Я так выгляжу?

— А я? — спросил психиатр.

— Нет.

— А у меня есть свой врач,— улыбнулся Гриер.— При моей работе он просто необходим.

Эта беседа расстроила Торна, и, вернувшись в свою контору, он размышлял надней весь день. Сидя у Гриера, он почувствовал, что ему надо все рассказать, все, о чем он никогда никому не говорил. Но что хорошего могло из этого получиться? Этот обман стал уже частью его жизни.

День тянулся медленно, и Торн решил подготовить одну важную речь. Ее предстояло произнести на следующий вечер перед группой известных бизнесменов, там будут присутствовать представители нефтяных компаний. Торн стремился, чтобы его выступление послужило в конечном итоге установлению мира на Ближнем Востоке. Из-за длительного арабо-израильско-

го конфликта Арабский блок все дальше отдалялся от США. Торн знал, что арабо-израильская вражда была исторической и корнями уходила в Священное писание. Для этого он решил проштудировать целых три издания Библии, надеясь выяснить для себя кое-что с помощью вековой мудрости. Кроме того, тут была еще и практическая цель, потому что во всем мире трудно было найти аудиторию, на которую не произвели бы впечатления цитаты из Библии.

В тишине кабинета Торн услышал стон, доносившийся из комнаты наверху. Он повторился дважды и прекратился. Торн вышел из кабинета и тихо прошел наверх, в комнату Катерины. Она спала беспокойно, лицо ее было покрыто потом. Джереми подождал, пока дыхание ее не выровнялось, а потом вышел из комнаты и направился к лестнице. Проходя по темному коридору, он заметил, что дверь миссис Бэйлок была слегка приоткрыта. Огромная женщина, освещенная луной, спала на спине. Торн собрался идти дальше, но вдруг застыл, пораженный ее видом. На лице лежал толстый слой белой пудры, губы были безвкусно намазаны ярко-красной помадой. Ему стало не по себе. Он попытался найти этому объяснение, но ничего не приходило на ум.

Закрыв дверь, Торн вернулся к себе и посмотрел на разложенные книги. Он чувствовал волнение, сосредоточиться никак не удавалось, и глаза его беспечно блуждали по страницам. Маленькая Библия Якова была открыта на книге Даниила, и он молча уставился в нее.

*«...И восстанет на месте его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестию овладеет царством. И полчища будут потоплены им и сокрушены... он будет идти обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершил то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех; доколе не свершится гнев: ибо что предопределено, то исполнится».*

Торн порылся в столе, нашел сигареты, потом налил себе стакан вина, стараясь занять себя рассуждениями и не думать об увиденном наверху. Он снова принялся перелистывать страницы.

*«Горе вам, на земле и на море, ибо дьявол с гневом посыпает зверя, ибо знает, что время его мало... Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое. Число это шестьсот шестьдесят шесть».*

Армагеддон. Конец света.

*«...и придет Господь... и стоять он будет на горе Олив, что напротив Иерусалима, на восточной стороне его... И Господь Бог придет со всеми своими святыми».*

Торн закрыл книги и выключил настольную лампу. Долгое время он просидел в тишине, раздумывая над книгами Библии, над тем, кто их сочинил, и зачем вообще они были написаны, затем прилег на кровать и заснул. Ему приснился страшный сон. Он видел себя в женской одежде, хотя знал, что он мужчина. Он находился на шумной улице. Подойдя к полицейскому, пытался объяснить, что заблудился и ему страшно. Но полицейский не слушал, а продолжал управлять движением. Когда машины приблизились к Торну, он почувствовал ветерок. Ветер усиливался, и машины поехали быстрее. Ему показалось, что он попал в шторм. Ветер стал таким сильным, что он начал задыхаться. Джереми схватился за полицейского, но тот его не замечал. Джереми закричал, но крик потонул в бушующем ветре. Черная машина неожиданно поехала на него, и Джереми не мог сдвинуться с места. Машина приближалась, и он увидел лицо шофера. Ни одной человеческой черты не было на этом лице, шофер начал хохотать, плоть расступилась в том месте, где должен быть рот, оттуда выплынула кровь, и машина наехала на него.

В этот момент Торн проснулся. Он задыхался и был в поту. В доме еще спали. Торн с трудом сдерживался, чтобы не зарыватьсь.

### Глава седьмая

186  
Торн должен был произнести речь перед бизнесменами в отеле «Мэйфер», забитом к семи часам до отказа. Посол заявил помощникам, что хотел бы довести эту речь до прессы, и газеты поместили заметку о собрании в дневных выпусках. Народу собралось много, явилось немало репортеров и даже просто людей с улицы, которым разрешили стоять в задних рядах.

Проходя к своему месту, Торн заметил среди небольшой группы фотокорреспонтеров того, которому он разбил камеру перед посольством. Фотограф улыбнулся и поднял вверх новый аппарат, Торн улыбнулся ему в ответ, обрадованный столь миролюбивым жестом. Потом подождал, пока толпа затихнет, и начал свою речь. Он говорил о мировой экономической структуре и о важности «Общего рынка». В любом обществе, даже в демократическом, рынок играл огромную роль, он был как бы общим знаменателем, подводимым под разные культуры. Когда один хочет продать, а другой купить, появляется основа для мирного сотрудничества. Когда же один хочет купить, а другой отказывается продавать, вот тогда мы и делаем первый шаг к войне. Торн говорил о человечестве, о том, что все люди — братья, наследующие богатства земли, которые должны достаться всем.

— Мы живем все вместе, — сказал он, цитируя Генри Бестона, — в сети времени. Все мы пленники великолепия и тяжелого труда на земле.

Речь захватывала, и публика внимательно ловила каждое слово. Потом посол перешел к вопросам политических беспорядков и их последствий для экономики. Торн заметил в зале группу арабов и обратился непосредственно к ним.

— Легко понять, какое отношение беспорядки имеют к нищете,— сказал он,— но надо еще помнить, что цивилизациям может грозить падение и от избытка роскоши!

Торн говорил страстно, и Дженнингс, стоявший у стены, поймал его в объектив и начал торопливо щелкать аппаратом.

— Есть одна грустная и парадоксальная истинна,— продолжал Торн,— уходящая корнями во времена царя Соломона. Те, кто рожден для богатства и знатного положения...

— Уж вы точно должны кое-что об этом знать,— выкрикнул вдруг кто-то из задних рядов. Торн замолчал, взглядываясь в публику. Крикун умолк, и Торн продолжал:

— Еще во времена фараонов в Египте те, кто родился для богатства и знатного положения...

— Ну-ну, расскажите нам об этом! — опять раздался тот же голос, и на этот раз толпа возмущенно зашевелилась. Торн напряг зрение. Реплики бросал какой-то бородатый студент в драных джинсах.

— Что вы знаете о бедности, Торн? — продолжал он.— Вам же не пришлось гнуть спину ни одного дня в жизни!

Толпа недовольно зашикала на студента, некоторые начали даже покрикивать, но Торн поднял руки, требуя тишины.

— Молодой человек хочет что-то сказать. Давайте его выслушаем.

— Если вы так заботитесь о том, чтобы поделить все богатство, почему не делитесь своим? — громко говорил парень.— Сколько у вас миллионов, вы знаете? А знаете, сколько людей в мире голодают? Вы знаете, что можно сделать на ваши карманы деньги? На ту зарплату, которую вы платите своему шоферу, вы смогли бы кормить в Индии целую семью в течение месяца! А растительностью с вашей сорокаакровой лужайки перед домом можно было накормить половину населения Бангладеш! На деньги, которые вы тратите на устройство вечеринок для своего ребенка, можно было бы основать больницу прямо здесь, на юге Лондона! Если вы призываете людей делиться богатством, покажите пример! Не стойте здесь перед нами в костюме за четыреста долларов и не вещайте о бедности! Действуйте!

Выпад студента понравился публике. Парень явно выигрывал раунд. Раздались даже аплодисменты, и все тут же замерли, ожидая, что ответит Торн.

— Вы закончили? — вежливо спросил он.

— Каково ваше богатство, Торн? — выкрикнул юноша.— Как у Рокфеллера?

— Гораздо меньше.

— Когда Рокфеллера выбрали вице-президентом, газеты сообщили, что его состояние немногим больше трехсот миллионов. Вы знаете, что такое «немногим больше»? Это еще тридцать три миллиона! Это даже и в расчет не берется! Это его карманные деньги, в то время как половина населения Земли умирает от голода! В этом нет ничего оскорбительного? Неужели одному человеку может понадобиться столько денег?

— Я не мистер Рокфеллер...

— Это мы видим!

— Вы позволите мне ответить?

— Один ребенок! Один голодящий ребенок! Сделайте что-нибудь хотя бы для одного голодящего ребенка! Тогда мы вам поверим! Протяните ему руку вместо своих речей, только руку, протяните ее голодющему ребенку!

— Возможно, я уже сделал это,— спокойно ответил Торн.

— Ну, и где же он? — спросил парень.— Где ребенок? Кого вы спасли, Торн? Кого вы пытаетесь спасти?

— Некоторые из нас имеют обязанности, которые выходят далеко за интересы одного голодящего ребенка.

→ Вы не можете спасти мир, Торн, пока не поможете одному единственному голодющему ребенку.

Публика была явно на стороне студента.

— Я в невыгодном положении,— ровным голосом заявил Торн.— Вы стоите в темноте и произносите свои обвинения оттуда...

— Тогда дайте свет на меня, но я начну говорить громче!

Публика засмеялась, прожекторы повернулись, а фотографы поднялись со своих мест. Дженнингс проклинал себя за то, что не взял длиннофокусных объективов, и нацелил аппарат на группу людей, среди которых находился сердитый студент.

Торн вел себя спокойно, но когда прожекторы осветили людей в задних рядах, поведение его сразу же изменилось. Он смотрел не на юношу, а на кого-то рядом с ним. Держа в руках шляпу, там стоял невысокий священник. Это был Тассоне. Торн узнал своего странного посетителя и застыл на месте.

— В чем дело, Торн? — поддразнил его юноша.— Вам нечего сказать?

Весь запал Торна куда-то исчез, волна страха накатила на него, он стоял молча, вглядываясь в темноту. Дженнингс направил камеру туда, куда был устремлен взгляд Торна, и сделал несколько снимков.

— Ну, давайте, Торн! — потребовал студент.— Теперь, когда вы меня видите, что вы можете сказать?

— Я думаю... — начал Торн сбывающимся голосом,— ...вы правы. Мы все должны делиться богатством. Я... я попытаюсь что-нибудь сделать.

Юноша по-детски заулыбался, и напряжение в толпе исчезло. Кто-то попросил, чтобы убрали прожекторы. Торн пытался прийти в себя, но взгляд его то и дело возвращался в темноту, где мелькала знакомая сутана.

Дженнингс вернулся домой поздно вечером и зарядил пленки в бачок для проявки. Посол, как обычно, произвел на него изрядное впечатление и заинтересовал еще больше. Репортер увидел в его глазах страх, он почесал его, как крыса чует сыр. Это не был беспричинный страх. Очевидно, Торн увидел что-то или кого-то в глубине аудитории. Света было очень мало, а угол съемки слишком велик, но Дженнингс надеялся увидеть что-нибудь на проявленной пленке. Ожидая, пока пленка обработа-

ется, он почувствовал голод и разорвал пакет с едой, которую купил на обратном пути из отеля. Вытащив небольшого жареного цыпленка и бутылку шипучки, Дженнингс разложил их перед собой и приготовился к пиществу.

Сработал таймер, и он прошел в темную комнату, вынул щипцами пленки из бачка. Увиденное так сильно обрадовало его, что он даже вскрикнул от радости, затем вставил пленку в увеличитель и при свете стал рассматривать прекрасные кадры перепалки Торна и студента. Далее шла серия снимков, запечатлевших дальнюю часть зала. Ни одного лица или фигуры нельзя было отчетливо различить в темноте, но на каждом кадре виднелся похожий на дым копьеобразный отросток.

На снимках был увековечен какой-то толстяк с сигарой. Отросток вполне мог оказаться простым дымом. Вернувшись к негативам, Дженнингс отобрал лучшие, зарядил их в увеличитель и минут пятнадцать рассматривал пленки с нарастающим вниманием. Нет. Это был не дым. Цвет и текстура были другие, так же как и относительное расстояние до камеры. Если бы это был дым от сигары, то толстяку пришлось бы слишком много курить, чтобы создать подобное облако. Это было бы неудобно для стоящих рядом: они же, напротив, не обращали на курящего никакого внимания и невозмутимо смотрели вперед. Призрачный отросток поднимался откуда-то из конца зала. Дженнингс установил добавочное увеличение и начал изучать снимки подробнее. Под дымом он увидел край одежды, которую носят священники. Репортер поднял руки вверх и издал победный клич. Опять тот же маленький священник! И он каким-то образом давно связан с Торном.

— Священник! — выкрикнул Дженнингс. — Снова чертов священник!

Радуясь, он вернулся к столу, оторвал крылья цыпленку и обгладал их до костей.

— Я найду этого паразита! — расхохотался он. — Я выслежу его!

...На следующее утро репортер взял с собой один из снимков священника, сделанный у посольства. Он показывал его в нескольких церквях, а потом в региональной конторе Лондонского прихода. Но никто не опознал человека на фотографии. Репортера уверили, что если бы священник служил в городе, то его наверняка знали бы. Он был явно из других мест. Дело усложнялось. Дженнингс пошел в Скотланд-Ярд и взял книги с фотографиями преступников, но и там ничего не нашел. Оставалось одно. Впервые он увидел священника, когда тот выходил из здания посольства. Возможно, там о нем знали.

Проникнуть в посольство оказалось сложно. Охранники долго проверяли его документы, но внутрь не пропустили.

— Я бы хотел увидеть посла, — заявил Дженнингс. — Мистер Торн сказал, что возместит мне стоимость фотокамеры, которую он сломал.

Охранники позвонили наверх, а потом, к удивлению Дженнингса, попросили его пройти в вестибюль, сказав, что ему позвонят туда из кабинета. Через несколько секунд Дженнингс

разговаривал с секретаршей Торна, которая интересовалась, какую сумму должен переслать посол и на какой адрес.

— Я бы хотел объяснить ему лично,— сказал Дженнингс.— Я бы хотел показать ему, что можно купить на такие деньги.

Она ответила, что это невозможно, так как у посла сейчас важная встреча, и Дженнингс решил идти напролом.

— Говоря по правде, я надеялся, что он сможет помочь мне по личному вопросу. Может быть, и вы сможете. Я разыскиваю одного священника. Это мой родственник. У него было какое-то дело в посольстве, и я подумал, что, может быть, его здесь видели и могли бы мне помочь в поисках.

Это была очень странная просьба, и секретарша промолчала.

— Он невысокого роста,— добавил Дженнингс.

— Итальянец? — спросила она.

— Я думаю, он провел какое-то время в Италии,— уклончиво ответил Дженнингс, ожидая, какое впечатление произведет такое заявление.

— Его имя не Тассоне?

— Видите ли, я не совсем уверен. Я разыскиваю пропавшего родственника. Понимаете, моя мать и ее брат были разлучены еще в детстве, и он поменил фамилию. Моя мать сейчас при смерти и хочет его разыскать. Мы не знаем его фамилии, у нас есть только внешние приметы. Мы знаем, что он очень маленький, как и моя мать, и что он стал священником. Один мой знакомый увидел, как из посольства примерно неделю назад выходил священник. Приятель утверждал, что тот священник был очень похож на мою мать.

— Здесь был один священник,— сказала секретарша.— Он сказал, что приехал из Рима, и его звали, по-моему, Тассоне.

— Вы знаете, где он живет?

— Нет.

— У него было дело к послу?

— Похоже, что так.

— Может быть, посол знает, где он живет?

— Не думаю. Вряд ли.

— Можно будет его спросить?

— Да, я спрошу.

— А когда?

— Попозже.

— Моя мать очень больна. Она сейчас в госпитале, и я боюсь, что дорога каждая минута.

В кабинете Торна зазвенел сигнал селектора. Голос секретарши осведомился, не знает ли он, как найти священника, который приходил к нему две недели назад. Торн похолодел.

— Кто об этом спрашивает?

— Какой-то человек, который утверждает, что вы разбили его фотокамеру. Он считает, что священник — его родственник.

Помолчав секунду, Торн произнес:

— Попросите его зайти ко мне.

Дженнингс сразу же отыскал кабинет Торна. Все вокруг было обставлено в современном стиле. Кабинет находился в конце длинного коридора, по обеим сторонам которого были развешаны

портреты всех американских послов в Лондоне. Проходя мимо них, Дженнингс с удивлением узнал, что Джон Квинси Адамс и Джеймс Монро занимали этот пост, прежде чем стали президентами США. Неплохое начало карьеры! Может быть, старина Торн волею судьбы тоже станет великим.

— Входите,— улыбнулся Торн, когда репортер открыл дверь в кабинет.— Садитесь.

— Извините, что я врываюсь...

— Ничего.

За все годы работы в амплуа фотоохотника Дженнингс впервые находился так близко от своей жертвы. Попасть сюда оказалось проще, чем он думал. Теперь же его трясло: дрожали колени, учащенно колотилось сердце. Возбуждение было так велико, что почти граничило с сексуальным.

— Мне бы хотелось еще раз принести свои извинения за разбитую камеру,— сказал Торн.

— Она все равно была старая.

— Я хочу возместить вам убытки.

— Нет, нет...

— Мне бы очень хотелось. И вы должны мне в этом помочь. Дженнингс пожал плечами и кивнул.

— Скажите, какая камера самая лучшая, и вам ее доставят.

— Ну... Вы очень великодушны.

— Просто назовите мне самую лучшую.

— Немецкого производства. «Пентафлекс-300».

— Договорились. Скажите моему секретарю, где вас можно найти.

Торн изучал репортера, рассматривал каждую мелочь, от разных носков на ногах до ниток, свисающих с воротника куртки. Дженнингсу нравилось вызывающе одеваться. Он знал, что его внешность ставит людей в тупик. В каком-то извращенном смысле это давало ему нужные зацепки в работе.

— Я видел вас на собрании,— сказал Торн.

— Я всегда стараюсь быть в нужном месте и вовремя.

— Вы очень усердны.

— Спасибо.

Торн встал из-за стола, подошел к бару и откупорил бутылку бренди. Дженнингс наблюдал, как он разливает напиток, потом взял предложенный стакан.

— Вы отлично разговаривали с тем парнем вчера вечером,— сказал Дженнингс.

— Вы так считаете?

— Да.

— А я не уверен.

Они тянули время, и оба это чувствовали, ожидая, что собеседник первый приступит к делу.

— Я с ним согласен,— добавил Торн.— Очень скоро газеты назовут меня коммунистом.

— Ну, вы же знаете цену прессе.

— Да.

— Им тоже надо на что-то жить.

— Верно.

Они пили бренди маленькими глотками. Торн подошел к окну и, выглянув в него, спросил:

— Вы ищете родственника?

— Да, сэр.

— Это священник по имени Тассоне?

— Он священник, но я не уверен в точности имени. Он брат моей матери. Они были с детства разлучены.

Торн взглянул на Дженнингса, и репортер почувствовал в его взгляде разочарование.

— Итак, вы его, собственно, не знаете? — спросил посол.

— Нет, сэр. Я просто пытаюсь его найти.

Торн нахмурился и опустился на стул.

— Можно спросить? — начал Дженнингс. — Если бы я знал, какое у него к вам было дело, я смог бы...

— Это была просьба насчет одного госпиталя. Он просил... пожертвование.

— Какого госпиталя?

— В Риме. Я точно не помню.

— Он не оставил вам свой адрес?

— Нет. Видите ли, я сам немного этим расстроен, так как обещал послать чек и теперь не знаю, куда именно.

Дженнингс кивнул:

— Выходит, мы с вами идем по одному следу.

— Видимо, да, — ответил Торн.

— Он просто пришел и ушел?

— Да.

— И больше вы его не видели?

Лицо Торна напряглось. Дженнингс заметил это и решил, что посол скрывает что-то.

— Больше нет.

— Я подумал... может быть, он бывал на ваших выступлениях?

Взгляды их встретились, и Торн понял, что с ним ведут какую-то игру.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Дженнингс. Габер Дженнингс.

— Мистер Дженнингс...

— Габер.

— Габер. — Торн изучал его лицо, потом отвел глаза и сноваглянул в окно. — Мне тоже очень важно найти этого человека. Этого священника, который был здесь. Мне кажется, я был с ним резок, и мне хотелось бы извиниться.

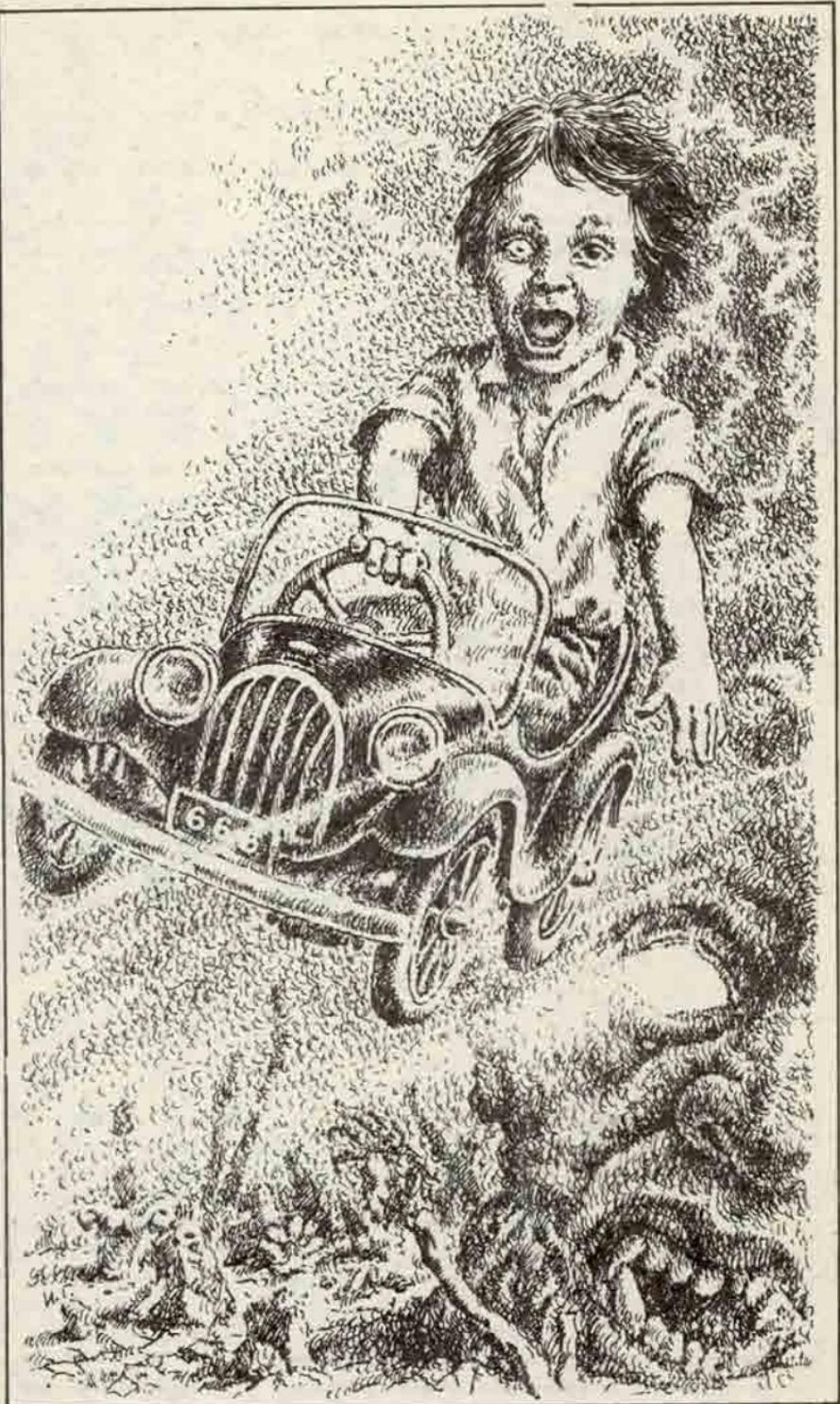
— В каком смысле резок?

— Я довольно грубо его выпроводил, даже не выслушав, что он хотел сказать мне.

— Я уверен, что он привык к этому. Когда приходится просить о пожертвованиях...

— Я хотел бы разыскать его. Для меня это очень важно.

Посмотрев на Торна, можно было легко убедиться, что это действительно так. Дженнингс понял, что он на верном пути, но не знал, куда этот путь его приведет. Все, что он сейчас мог, — это играть в открытую.



— Если я его найду, дам вам знать,— сказал он.

— Будьте так добры.

— Разумеется.

Торн кивнул. Дженнингс поднялся, подошел к Торну и пожал ему руку.

— Вы чем-то взволнованы, мистер посол? Надеюсь, мир не собирается взорваться?

— О нет,— улыбнувшись, ответил Торн.

— Я ваш поклонник. Поэтому и преследую вас.

— Спасибо.

Дженнингс направился к двери, но Торн остановил его.

— Мистер Дженнингс?

— Да, сэр.

— Я хотел бы знать... вы ведь никогда не видели этого священника?

— Нет.

— Вы сказали, что он мог быть на моих выступлениях. Я подумал, что, возможно...

— Что?

— Да нет... Это неважно.

— Можно, я как-нибудь сделаю ваши фотографии дома? — попросил вдруг Дженнингс.— Так сказать, в кругу семьи?

— Сейчас не самое лучшее время для этого.

— Может быть, я позвоню вам через несколько дней?

— Да, пожалуйста.

— Хорошо, я позвоню.

Репортер вышел, и Торн внимательно посмотрел ему вслед. Этот человек определенно что-то знает, но что он может знать о священнике? Было ли простым совпадением, что человек, с которым он познакомился чисто случайно, разыскивает именно того самого священника, который днем и ночью преследует его? Торн долго думал, но так ничего и не решил. Как и многие другие недавние события в его жизни, все это казалось простым совпадением, за которым скрывалось, однако, нечто большее.

## Глава восьмая

Для Эдгаро Эмилио Тассоне жизнь на земле была не лучше, чем жизнь в чистилище. Из-за этого он, как и многие другие, присоединился к обществу католиков в Риме. Сам Тассоне был португальцем, сыном рыбака, который погиб у берегов Ньюфаундленда, вылавливая треску. От детских воспоминаний остался лишь запах рыбы. Тассоне осиротел в восемь лет и был взят в монастырь, где монахи избивали его день и ночь, чтобы он признался во всех своих смертных грехах. К десяти годам он был уже спасен и смог прильнуть к Христу, но зато у него начались боли в позвоночнике — как раз там, куда ему вбивали веру.

Из-за страха перед Богом он посвятил свою жизнь церкви, восемь лет учился в семинарии, день и ночь изучая Библию. Он читал о любви и гневе Бога и в возрасте двадцати пяти лет отправился в свет спасать грешных людей от пламени ада. Он

стал миссионером, сначала поехал в Испанию, потом в Марокко, проповедуя везде слово божье. Из Марокко он отправился на юго-восток Африки, и там обнаружил племена, которые нужно было обратить в веру. Он начал избивать несчастных, как это в свое время делали с ним, и вскоре понял, что их мучения вызывали у него почти физическое наслаждение.

Смерть преследовала его, ходила за ним по пятам, и каждый раз он считал, что станет ее жертвой. В Найроби он познакомился с обходительным священником, отцом Спиллетто, и признался ему в грехах. Спиллетто обещал защитить его и взял с собой в Рим. Именно здесь, на собрании в Риме, он был ознакомлен с догмами поклонников Ада. Сатанисты обеспечивали убежище тем, кто скрывался от гнева божьего. Они жили, наслаждаясь телесными удовольствиями, и Тассоне делил свое тело с теми, кто ему нравился. Это была группа изгоев, которые, объединившись, могли противостоять остальным. Дьявола почитали путем оскорблений Бога.

Именно в это время, в расцвет успешных действий сатанистов, библейские символы указывали на приближение момента, когда история Земли будет внезапно и бесповоротно изменена. В третий раз за время существования планеты Нечистый сможет послать своего потомка и доверить его воспитание до зрелости своим ученикам на земле. Два раза до этого такие попытки были предприняты, и оба раза неудачно: сторожевые псы Христа обнаруживали Зверя и убивали его еще в младенчестве. На этот раз провала быть не должно. План продуман до мелочей.

Неудивительно, что Спиллетто выбрал Тассоне одним из трех исполнителей плана. Этот маленький ученый священник был по-собачьему предан и выполнял приказы без малейшего раздумья и колебания. Поэтому на его долю выпала самая жестокая часть плана: убийство невинного младенца, который, на свое несчастье, тоже был частью плана. Спиллетто должен был найти приемную семью и позаботиться о том, чтобы заветного ребенка приняли в нее. Сестра Мария-Тереза (которую знали раньше под именем Баалок) должна была наблюдать за беременностью и помогать при родах. Тассоне нужно было проследить, чтобы не осталось никаких улик, и захоронить тела на кладбище.

Тассоне с радостью вступил в заговор, потому что понимал, что он уже больше не новичок в секте. Его будут помнить и почтить: он, который когда-то был сиротой-изгнаником, теперь принадлежит к числу Избранных, он вошел в союз с самим Дьяволом! Однако за несколько дней до события что-то начало происходить с Тассоне. Силы покинули его. Давали о себе знать шрамы на спине. Каждую ночь, лежа в кровати, он тщетно пытался заснуть, боли усиливались. Пять ночей он ворочался в постели, отгоняя прочь беспокойные картины, встающие перед глазами. Тассоне начал принимать настойки из трав, вызывающие сон, но ничего не смог поделать с кошмарами, преследовавшими его и во сне.

Он видел Тобу, африканского мальчика, умолявшего его о помощи. Он видел фигуру человека без кожи, глазные яблоки были устремлены на него, на лице были обнажены все связки

и мышцы, безгубый рот кричал, молил о помиловании. Тассоне увидел себя мальчиком: он стоит на берегу и ждет, когда вернется отец. Потом он увидел свою мать на смертном одре. Она молила его простить ее за то, что умирает и оставляет его одного таким беззащитным наедине с судьбой. Той ночью он проснулся в слезах, как будто сам был матерью, молящей о прощении. А когда сон снова одолел его, фигура Христа появилась у его кровати. Христос во всей своей чистой красоте, со шрамами на стройном теле, встал на колени у кровати Тассоне и сказал, что путь в царство Божье для него не закрыт, что он может быть прощен. Нужно только покаяться.

Эти кошмары так потрясли Тассоне, что Спиллетто заметил его напряжение. Он вызвал его к себе, надеясь выяснить, что произошло. Но Тассоне зашел уже слишком далеко и знал, что его жизнь может оказаться в опасности, если он покажет, что у него зародились сомнения. Тассоне объяснил, что его очень мучают боли в спине, и Спиллетто дал ему пузырек с таблетками, успокаивающими боль. До самого последнего момента Тассоне пребывал в состоянии наркотического транса, и видения Христа перестали преследовать его.

Наступила ночь на шестое июня. Шестой месяц, шестое число, шестой час. Свершились события, которые будут потом мучить Тассоне до конца его дней. У матери Антихриста начались схватки, и она стала подвывать. Сестра Мария-Тереза успокоила ее эфиром, и гигантский плод прорвался сквозь матку. Тассоне покончил с роженицей камнем, который дал ему Спиллетто. Он размозжил ей голову и таким образом подготовил себя к тому, что ему надо было совершить и с человеческим сыном. Но когда ему принесли новорожденного, он замешкался, потому что ребенок был необычайно красив. Он посмотрел на них: два младенца лежали рядом. Один, покрытый густой шерстью, весь в крови, и рядом с ним — нежный, розовый, прекрасный ребенок, смотрящий на Тассоне с безграничным доверием. Тассоне знал, что ему надо было совершить, и сделал это, но сделал неудачно. Нужно было повторить, и он плакал, открывая корзину. На какое-то мгновение Тассоне почувствовал безудержное желание схватить ребенка и бежать с ним, бежать подальше, туда, где они будут в безопасности. Но он увидел, что младенец уже почти безнадежен, и на голову младенца еще раз опустился камень. И еще раз. И еще. Пока плач не прекратился, и тело не застыло в неподвижности.

В темноте той самой ночи никто не видел слез, струящихся по щекам Тассоне; более того, после этой ночи никто не видел его больше в секте. На следующее утро он скрылся из Рима и четыре года жил, как во тьме. Он уехал в Бельгию и работал среди бедняков, потом пробрался в клинику, где нашел доступ к наркотикам. Теперь они нужны были ему не только для того, чтобы успокоить боль в спине, но и противостоять воспоминаниям той ночи, преследовавшим его. Силы постепенно оставляли Тассоне. Когда же он наконец пошел в больницу, его диагноз быстро подтвердился. Боли в спине были вызваны злокачественной опухолью. Операция была невозможна.

Тассоне умирал и хотел получить прощение от Бога.

Собрав остатки сил, он поехал в Израиль, захватив с собой восемь пузырьков с морфином, чтобы успокаивать пульсирующую боль в спине. Ему нужен был человек по имени Бугенгаген. Это имя связано с Сатаной с самого начала истории Земли. Именно Бугенгаген в 1092 году разыскал первого потомка Сатаны и изобрел средство уничтожить его. И в 1710 году другой Бугенгаген нашел второго потомка и лишил его возможности проявить какую бы то ни было власть на Земле. Это были религиозные фанатики, настоящие сторожевые псы Христа. Их задачей было не допустить власти Дьявола на Земле.

Семь месяцев потребовалось Тассоне, чтобы разыскать последнего потомка Бугенгагенов, укрывшегося в крепости под землей. Здесь он, как и Тассоне, ждал своей смерти, мучимый беспорядками века и тем, что не исполнил своей миссии. Он знал, что времени осталось мало, но был беспомощен и не мог воспрепятствовать рождению сына Сатаны на Земле.

Тассоне нашел старика и рассказал ему всю историю, упомянув о своем участии в рождении зверя. Бугенгаген слушал с отчаянием, но не мог вмешиваться в ход событий, не осмеливаясь выйти из своей подземной тюрьмы. К нему должен был прийти человек, непосредственно связанный с ребенком.

Боясь упустить драгоценное время, Тассоне поехал в Лондон, чтобы разыскать Торна и убедить его посетить Бугенгагена.

Он снял однокомнатную квартиру в Сохо и превратил ее в крепость, такую же надежную, как церковь. Главным его оружием было священное писание. Он заклеил все стены и окна страницами Библии. На это у него ушло семьдесят Библей. Повсюду висели кресты, он старался не выходить на улицу, если на кресте, усеянном осколками зеркала, который висел у него на шее, не отражался солнечный свет. Боль в спине усиливалась, встреча в кабинете Торна оказалась неудачной. Теперь Тассоне ходил за послом по пятам, и отчаяние его росло. Сегодня он с утра наблюдал за Торном, который с группой высокопоставленных чиновников передавал в дар обществу будущий жилой дом в бедном районе Челси.

—...Я счастлив начать осуществление именно этого проекта... — громко говорил Торн, превозмогая шум ветра и обращаясь к толпе, наблюдавшей за ним, — ...так как это представляет волю самого общества улучшить уровень жизни.

При этих словах он копнул лопатой землю. Ансамбль аккордеонистов заиграл польку, и Торн направился к железному забору пожать руки зрителям, просовывающим их через решетку. Он старался пожать каждую протянутую руку и пару раз даже пригнулся к забору, чтобы его поцеловали тянувшиеся губы. Неожиданно Торн застыл: чьи-то руки с необычной силой притянули его за отвороты пиджака к самому забору.

— Завтра, — тяжело задышал Тассоне прямо в лицо перепуганному послу. — В час дня, в Кью Гарденс...

— Отпустите меня! — задохнулся Торн.

— Пять минут, и вы больше никогда меня не увидите.

— Уберите свои руки...

— Ваша жена в опасности. Она умрет, если вы не придетете. Торн отпрянул, и священник так же неожиданно исчез.

Торн долго размышлял, как ему поступить. Он мог бы послать на встречу полицейских, но его беспокоило обвинение, которое он должен будет предъявить. Священника начнут допрашивать, дело станет достоянием общественности. Нет, это не выход. По крайней мере, не сейчас. Торн никак не мог понять, о чем хочет рассказать ему священник. Он говорил что-то о рождении ребенка: страшное совпадение заключалось как раз в том, что именно в этом вопросе Торн был вынужден прятать свою тайну. Возможно, вместо полиции можно будет послать на встречу какого-нибудь человека, который либо заплатит священнику, либо запугает его так, чтобы тот исчез. Но и в этом случае придется кого-то впутывать.

Он вспомнил о Дженнингсе, фотографе, и почувствовал не преодолимое желание позвонить ему и сообщить, что нашелся человек, которого тот ищет. Но этот вариант тоже не пойдет. Нет ничего более опасного, чем впутывать представителя прессы. И все же ему хотелось, чтобы с ним был еще хоть кто-нибудь, с кем можно было бы поделиться. Он был по-настоящему напуган, боялся того, ЧТО мог рассказать ему священник.

На следующее утро Торн взял свою машину, объявив Гортону, что хочет некоторое время побывать один, и все утро провел за рулем, избегая появляться в офисе. Ему пришло в голову, что он может просто проигнорировать требование священника, и такой отказ, возможно, заставит священника потерять к нему интерес и исчезнуть. Но и это не удовлетворило его, так как Торн сам искал встречи. Он должен встретиться с этим человеком лицом к лицу и выслушать все, что тот скажет. Священник сказал, что Катерина в опасности и умрет, если Торн не придет. Катерина не могла быть в опасности, но Торна очень беспокоило, что и она теперь стала одной из центральных фигур в воспаленном мозгу ненормального человека.

Торн приехал в двенадцать тридцать, припарковал машину за углом и с напряжением принялся ждать.

Ровно в час Торн внутренне собрался и медленно пошел в парк. Он надел плащ и темные очки, чтобы его не узнали, но попытка изменить внешность еще более усиливала его возбуждение. Торн стал взглядом искать фигуру священника. Тассоне в одиночестве сидел на скамейке спиной к нему. Торн легко мог уйти и остаться незамеченым, но вместо этого двинулся вперед и подошел к священнику.

Тассоне вздрогнул от неожиданного появления Торна. Лицо его напряглось и покрылось испариной, как будто он страдал от невыносимой боли. Долгое время они молчали.

— Мне надо было прийти сюда с полицией,— коротко бросил Торн.

— Они вам не помогут.

— Говорите. Что вы хотели мне сообщить?

Тассоне заморгал, руки у него затряслись. Он был весь во власти сильнейшего напряжения, одновременно борясь с болью.

— ...Когда еврей в Сион придет... — прошептал он.

— Что?

— Когда еврей в Сион придет. И небеса пошлют комету. И Рим познает свой восход. Мы больше... не увидим света.

Сердце у Торна оборвалось. Этот человек определенно сумасшедший! Он читал стихи, лицо его было неподвижным, как в трансе, а голос постепенно повышался.

— Из вечного моря зверь тот восстанет. И войско придет, чтобы биться до смерти. Убьет брата брат, и свой меч не оставит. Пока не умолкнет последнее сердце!

Торн наблюдал за священником, а тот в экстазе с трудом выдавливал слово за словом.

— Книга Откровений предсказала все это! — крикнул он на конец.

— Я здесь не для того, чтобы выслушивать религиозные проповеди, — сухо сказал Торн.

— Только через человека, находящегося полностью в его власти, сможет Сатана повести свое последнее и самое страшное наступление. Евангелие от Даниила, Евангелие от Луки...

— Вы сказали, что моя жена в опасности.

— Езжайте в город Меггидо, — с натугой произнес Тассоне. — В старом городе Джезриль вы найдете старика Бугенгагена. Только он один может рассказать, как должен умереть ребенок Сатаны.

— Видите ли...

— Тот, кого не спасет Агнец, будет разорван Зверем!

— Прекратите!!!

Тассоне замолчал, обмяк и дрожащей рукой стер пот, обильно выступивший у него на лбу.

— Я пришел сюда, — тихо сказал Торн, — потому что вы сказали, что моя жена в опасности.

— У меня было видение, мистер Торн.

— Вы сказали, что моя жена...

— Она беременна!

Торн замолчал и отступил.

— Вы ошибаетесь.

— Нет. Она на самом деле беременна.

— Это не так.

— ОН не даст этому ребенку родиться. ОН убьет его, пока тот спит в утробе.

Священник застонал от боли.

— О чём вы говорите? — спросил Торн. Ему было трудно дышать.

— Ваш сын, мистер Торн! Это СЫН САТАНЫ! Он убьет неродившегося ребенка, а потом убьет и вашу жену! А когда убедится, что все ваше богатство переходит к нему, тогда, мистер Торн, он убьет и ВАС!

— Довольно!

— Обладая вашим богатством и властью, он создаст свое страшное царство здесь, на Земле, получая приказы непосредственно от Сатаны.

— Вы сумасшедший, — прохрипел Торн.

— Он ДОЛЖЕН умереть, мистер Торн!

Священник задохнулся, и слезы покатились из его глаз.

— Пожалуйста, мистер Торн...

— Вы просили пять минут...

— Езжайте в город Меттидо,— умолял Тассоне.— Найдите Бугенгагена, пока не поздно!

Торн покачал головой, указав дрожащим пальцем на священника.

— Я вас выслушал,— сказал он с ноткой предупреждения в голосе,— теперь я хочу, чтобы вы выслушали меня. Если я еще когда-нибудь вас увижу, вы будете арестованы.

Резко повернувшись, Торн зашагал прочь. Тассоне крикнул ему вслед сквозь слезы:

— Встретимся в аду, мистер Торн! Мы там вместе будем отбывать наказание!

Через несколько секунд Торн скрылся, а Тассоне остался один. Все кончено, он проиграл.

Медленно поднявшись, священник оглядел опустевший парк. Вокруг стояла зловещая тишина. И тут Тассоне услышал какой-то звук. Звук несся откуда-то издали, будто рождаясь в его собственном мозгу, и постепенно нарастал, пока не заполнил собой все вокруг. Это был звук «ОХМ!». И когда он стал громким до боли, Тассоне схватился руками за распятое и в страхе оглядел парк. Тучи на небе сгущались, поднялся ветерок, постепенно набирающий силу, и кроны деревьев грозно задвигались.

Зажав крест в обеих руках, Тассоне пошел вперед, отыскивая безопасное местечко на улице. Но ветер неожиданно усилился, бумаги и прочий уличный мусор завертелись у его ног, священник пошатнулся и чуть не задохнулся от порыва ветра, кинувшегося ему в лицо. На другой стороне улицы он заметил церковь, но ветер с ураганной силой набросился на него. Звук «ОХМ!» звенел теперь у него в ушах, смешиваясь со стоном усиливающегося ветра. Тассоне пробирался вперед. Туча пыли не позволяла ему разглядеть дорогу. Он не увидел, как перед ним остановился грузовик, не услышал скрип огромных шин в нескольких дюймах от себя. Автомобиль рванулся в сторону автостоянки и резко замер. Раздался звук битого стекла.

Ветер неожиданно стих, и люди, крича, побежали мимо Тассоне к разбитому грузовику. Тело шофера бессильно привалилось к барабанке, стекло было забрызгано кровью. Тассоне стоял посередине улицы и плакал от страха. В небе прогремел гром; вспышка молнии осветила церковь, и Тассоне, повернувшись, снова побежал в парк. Рыдая от ужаса, он поскользнулся и упал в грязь. В тот момент, когда Тассоне пытался подняться на ноги, яркая молния сверкнула рядом и превратила ближайшую скамейку в пылающие щепки. Повернувшись, он пробрался через кустарник и вышел на улицу.

Всхлипывая и пошатываясь, маленький священник двинул się вперед, смотря прямо в грозное небо. Дождь пошел сильнее, обжигая его лицо, город впереди расплывался в сплошном потоке прозрачной воды. По всему Лондону люди разбегались в поисках убежища, закрывали окна, и через шесть кварталов от

парка учительница никак не могла справиться со старомодным шестом для закрывания фрамуг, а ее маленькие ученики наблюдали за ней. Она никогда не слышала о священнике Тассоне и не знала, что судьба связет ее с ним. А в это время по скользким и мокрым улицам Тассоне неотвратимо приближался к зданию школы. Задыхаясь, он брел по узеньким переулкам, бежал без определенной цели, чувствуя на себе неотступный гнев. Силы у Тассоне иссякали, сердце отчаянно колотилось. Он обошел угол здания и остановился передохнуть, раскрыв рот и жадно глотая воздух. Маленький священник и не думал бросить взгляд наверх, где в этот миг неожиданно произошло легкое движение. На высоте третьего этажа прямо у него над головой железный шест для закрывания оконных фрамуг выскользнул из рук женщины, тщетно пытавшейся удержать его, и ринулся вниз. Его наконечник рассекал воздух с точностью копья, которое метнули с небес на землю.

Шест пробил голову священника, прошел сквозь все его тело и пригвоздил человека к земле.

И в этот момент дождь неожиданно прекратился. Из окна третьего этажа школы выглянула учительница и закричала. С другой стороны парка люди несли мертвого шофера разбитого грузовика, на лбу которого отпечатался кровавый след от руля.

Тучи рассеялись, и солнечные лучи коснулись земли. Стайка детей собралась вокруг священника, висящего на шесте. Капли воды стекали по его шляпе, по лицу, на котором застыло выражение крайнего удивления. Рот у того, кого звали Тассоне, был открыт. Рядом пружжал слепень и сел на его раскрытые губы.

На следующее утро из ящика у входных ворот в Пирфорде Гортон вынул газеты и принес их в комнату, где в это время завтракали Торн и Катерина. Уходя, Гортон заметил, что лицо у миссис Торн было усталым и напряженным. Она выглядела так уже несколько недель, и он полагал, что это связано с ее посещением врача. Сначала он думал, что у нее какая-то телесная болезнь, но потом в вестибюле больницы на табличке прочел, что ее врач, мистер Гриер, специалист по психиатрии. Сам Гортон никогда не испытывал нужды в психиатре и не знал людей, которые обращались бы к ним. Он всегда считал, что психиатры существуют только для того, чтобы сводить людей с ума. Когда в газетах писалось о людях, совершивших какие-нибудь зверства, обычно тут же сообщалось, что они обращались к психиатру. Причина и следствие вполне очевидны. Теперь, наблюдая за миссис Торн, он видел только подтверждение своей теории. Какой бы жизнерадостной ни казалась Катерина по дороге в Лондон, на обратном пути она всегда молчала и выглядела крайне плохо.

С тех пор, как начались эти визиты, настроение ее ухудшилось, и теперь она пребывала в постоянном напряжении. Отношение ее к слугам выражалось в резких приказах, а в отношениях с ребенком было все, кроме материнских чувств. Самое ужасное заключалось в том, что ребенок теперь сам искал с ней

контакта. Долгие недели, когда она пыталась вернуть его любовь, не прошли даром. Но теперь, когда Дэмьян искал мать, ее нигде не было.

Для самой Катерины психотерапия казалась пугающей: под внешними страхами она обнаружила бездонную пропасть волнений и отчаяния. Она не понимала, кто же она такая на самом деле. Она помнила, кем была РАНЬШЕ, помнила свои желания, но теперь все прошло, и она не видела для себя будущего. Каждый пустяк приводил ее в состояние страха: звонок телефона, звук срабатывавшего таймера на плите, свисток чайника... Все вокруг будто требовало внимания. Она находилась в таком состоянии, что общаться с ней стало почти невозможно, а в этот день было особенно трудно, потому что она обнаружила нечто, требующее немедленных действий. Необходим был серьезный разговор с мужем, на который она все не решалась, а теперь, помимо всего, сюда вмешивался ребенок. Он начал линчить к ней по утрам, пытаясь привлечь ее внимание. Сегодня Дэмьян с шумом и грохотом катался на педальном автомобильчике по паркету, постоянно натыкаясь на ее стул и вопя во время игры на манер паровозного гудка.

— Миссис Бэйлок!!! — закричала Катерина.

Торн, сидящий напротив жены и приготовившийся развернуть газету, был поражен яростными нотками в ее голосе.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Это все Дэмьян. Я не выношу такого шума!

— По-моему, не так уж и громко.

— Миссис Бэйлок! — снова крикнула она.

В дверях показалась грузная женщина.

— Мэм?

— Уберите его отсюда, — скомандовала Катерина.

— Но он же только играет, — воспротивился Торн.

— Я сказала, уберите его отсюда!

— Да, мэм, — ответила миссис Бэйлок.

Она взяла Дэмьяна за руку и вывела из комнаты. Ребенок посмотрел на мать, в глазах его застыла обида. Торн заметил это и с досадой повернулся к Катерине. Она продолжала есть, избегая его взгляда.

— Почему мы решили иметь ребенка, Катерина?

— Наш образ жизни... — ответила она.

— ...Что?

— А как бы мы могли без ребенка, Джереми? Ты разве слышал, чтобы в прекрасной семье не было прекрасного ребенка?

Торн, пораженный ее словами, не ответил.

— Катерина...

— Это ведь верно, да? Мы просто не думали, что значит воспитывать ребенка. Мы просто вычисляли, как будут выглядеть наши фотографии в газетах.

Торн удивленно посмотрел на нее, она спокойно выдержала этот взгляд.

— Верно? — спросила она.

— Об этом с тобой врач говорил?

— Да.  
— Тогда и мне надо будет с ним побеседовать.  
— Да, он тоже хотел с тобой встретиться.  
Она говорила открыто и холодно. И Торн вдруг испугался того, что она может ему сейчас сказать.

— О чём же он мне расскажет? — спросил он.  
— У нас есть проблема, Джереми, — сказала она.  
— ...Да?  
— Я больше не хочу иметь детей. Никогда.  
Торн внимательно смотрел на неё.  
— Хорошо?  
— Если ты этого так хочешь... — ответил он.  
— Тогда ты дашь согласие на аборт.  
Торн застыл. Он был поражен.  
— Я беременна, Джереми. Я узнала об этом вчера утром.  
Наступила тишина. У Торна закружилась голова.  
— Ты меня слышишь? — спросила Катерина.  
— Как это могло случиться? — прошептал Торн.  
— Спираль. Она иногда не помогает.  
— Ты беременна?  
— Недавно.

Торн побледнел. Он уставился на стол, руки у него затряслись.

— Ты кому-нибудь говорила об этом?  
— Только доктору Гриеру.  
— Ты уверена?  
— В том, что я не хочу больше иметь детей?  
— Что ты беременна...  
— Да.

Зазвонил телефон, и Торн автоматически снял трубку.  
— Да? — Он замолчал, не узнавая голоса. — Да, это я. — Потом удивленно посмотрел на Катерину. — Что? Кто говорит? Алло, алло!

В трубке послышались короткие гудки. Торн не шевелился, глаза его наполнились тревогой.

— Что там? — спросила Катерина.  
— Насчет газет...  
— И что же насчет газет?  
— Кто-то сейчас позвонил... и сказал «прочитайте газеты». Он посмотрел на сложенную газету, медленно открыл ее и сжался, увидев фотографию на первой странице.  
— Что там? — спросила Катерина. — Что случилось? — Она взяла газету у него из рук и обратила внимание на фотографию. Это был снимок священника, пронзенного оконным шестом. Заголовок под ним гласил: «В смерти священника повинен лишь случай».

Катерина посмотрела на мужа и увидела, что он дрожит. Она в смущении взяла его за руку. Рука была ледяная.

— Джерри...  
Торн медленно поднялся.  
— Ты знал его? — спросила Катерина.  
Но он не ответил. Катерина снова взглянула на фотографию

и, читая статью о происшествии, услышала, как занелась и отъехала от дома машина Торна. В статье было сказано:

«Для миссис Джеймс Акрюан, учительницы третьего класса в Бишопс Индастриал Скул, день начался, как обычно. Была пятница, и, когда пошел дождь, она готовила класс к чтению вслух. Хотя капли дождя и не попадали в класс, учительница решила закрыть окно, чтобы было не так шумно. Она и раньше жаловалась на старинные окна, потому что не могла дотянуться до верхних фрамуг и всегда вставала на табуретку, даже имея в руках шест. Не попав на этот раз в металлическое кольцо на окне крючком шеста, она высунула шест наружу, нажимаясь достать внешнюю часть фрамуги и подтащить ее к себе. Шест выскользнул у нее из рук и пронзил случайного прохожего, остановившегося у здания, очевидно, в поисках убежища от дождя. Личность погибшего устанавливается в настоящий момент полицией с целью розыска его родственников».

Катерина ничего не могла понять. Она позвонила в контору Торна и попросила, чтобы он перезвонил ей, как только появится. Потом Катерина позвонила доктору Гриеру, но он был так занят, что даже не смог подойти к телефону. После этого она связалась с больницей, чтобы договориться насчет абортов.

### Глава девятая

Увидев фотографию священника, Торн сразу же поехал в Лондон, судорожно перебирая в мозгу все, что могло помочь разобраться в этом деле. Катерина БЫЛА беременна, священник оказался прав. И теперь Торн уже не мог игнорировать остальные слова Тассоне. Он попытался припомнить их встречу в парке: имена, места, куда он должен был поехать по настоянию Тассоне. Он попытался успокоиться, вспомнить все недавние события: разговор с Катериной, анонимный телефонный звонок. «Прочтите газеты», — сказал знакомый голос, но Торн никак не мог припомнить, кто это мог быть. Кто вообще знал, что он был связан со священником? Фотограф! Это был его голос! Габер Дженнингс!

Приехав в офис, Торн заперся в кабинете. Он соединился с секретаршей по селектору и попросил ее позвонить Дженнингсу. Дженнингса не было дома. Она доложила об этом Торну и добавила, что звонила Катерина, но он решил перезвонить ей попозже. Она захочет поговорить об abortе, а он еще не был готов ответить ей со всей определенностью.

«Он убьет его», — вспомнил Торн слова священника. «Он убьет его, пока тот спит в утробе».

Торн быстро отыскал телефон Чарльза Гриера и объяснил ему, что им необходимо срочно увидеться.

...Визит Торна не удивил Гриера. Между беспокойством и отчаянием Катерины теперь почти не было границы, и доктор видел, что несколько раз она уже переступала эту черту. Страхи женщины росли, и он беспокоился, как бы Катерина не решилась на самоубийство.

— Никогда нельзя угадать, как далеко зайдут эти страхи,—

сказал врач Торну в кабинете.— Но, честно говоря, я должен сознаться, что она готовит себя к серьезнейшему эмоциональному потрясению.

Торн напряженно сидел на жестком стуле, а молодой психиатр сильно затягивался табачным дымом, стараясь поддержать огонь в трубке, и расхаживал по комнате.

— Ей стало хуже? — спросил Торн дрожащим голосом.

— Скажем так: болезнь прогрессирует.

— Вы можете чем-нибудь помочь?

— Я вижу ее два раза в неделю и считаю, что ей нужны более частные консультации.

— Вы хотите сказать, что она сумасшедшая?

— Она живет в мире своих фантазий. Эти фантазии очень страшны, и она реагирует на этот кошмар.

— Что за фантазии? — спросил Торн.

Гриер помолчал, раздумывая, стоит ли все рассказывать или нет. Он тяжело опустился на стул и прямо взглянул в глаза Торна.

— Во-первых, она выдумала, что ее ребенок на самом деле не ее.

Эта фраза поразила Торна, как гром среди ясного неба. Он застыл и ничего не мог ответить.

— Честно говоря, я рассматриваю это не как страх, а как желание. Она подсознательно хочет быть бездетной. Так я это трактую. По крайней мере на эмоциональном уровне.

Торн сидел ошеломленный и продолжал молчать.

— Конечно, я не могу даже предположить, что ребенок для нее не имеет значения, — продолжал Гриер. — Наоборот, это единственное и самое важное для нее на свете! Но почему-то она считает, что ребенок — угроза для нее. Я не знаю, откуда именно идет этот страх, от чувства материнства, эмоциональной привязанности или просто мыслей, что она неполнценна. Что ей не справиться.

— Но она сама хотела ребенка, — выдавил наконец Торн.

— Ради вас.

— Нет...

— Подсознательно. Она старалась доказать, что достойна вас. А как это лучше доказать, чем родить вам ребенка?

Торн смотрел прямо перед собой, в глазах его горело отчаяние.

— А теперь обнаруживается, что она не справляется с реальной жизнью, — продолжал Гриер. — И она пытается отыскать причину, чтобы не считать себя неполнценной. Она выдумывает, что ребенок не ее, что ребенок — зло...

— ...Что?

— Что она не может полюбить его, — объяснил Гриер. — Потому ищет причину, отчего он недостоин ее любви.

— Катерина считает, что ребенок — зло?

Торн был потрясен, на лице его отражался страх.

— Сейчас ей необходимо это чувствовать, — объяснил Гриер. — Но дело также и в том, что другой ребенок был бы для нее гибелью.

— Все же в каком смысле ребенок — зло?

— Это только ее фантазия. Так же, как и то, что этот ребенок не ее.

Торн стало трудно дышать, к горлу подступил комок.

— Не стоит отчаиваться,— ободрил его Гриер.

— Доктор...

— Да?

Торн не мог продолжать.

— Вы хотели что-то сказать? — спросил Гриер.

На лице доктора появилась озабоченность. Человек, сидевший перед ним, просто-напросто боялся говорить.

— Мистер Торн, с вами все в порядке?

— Мне страшно,— прошептал Торн.

— Конечно, вам страшно.

— Я хотел сказать... я боюсь.

— Это естественно.

— Что-то... ужасное происходит.

— Да. Но вы оба это переживете.

— Вы не понимаете...

— Понимаю.

— Нет.

— Поверьте мне, я все понимаю.

Почти плача, Торн схватился за голову руками.

— У вас тоже сильное переутомление, мистер Торн. Очевидно, более сильное, чем вы предполагаете.

— Я не знаю, что мне делать,— простонал Торн.

— Во-первых, вы должны согласиться на аборт.

Торн поднял глаза на Гриера.

— Нет,— сказал он.

— Если это исходит из ваших религиозных принципов...

— Нет.

— Но вы легко должны понять необходимость...

— Я не дам согласия,— твердо сказал Торн.

— Вы должны.

— Нет!

Гриер откинулся на стуле и с ужасом посмотрел на посланца.

— Я бы хотел знать причины,— тихо произнес он.

Торн смотрел на него и не шевелился.

— Мне предсказали, что эта беременность прервется. Я хочу доказать, что этого не произойдет.

Доктор уставился на него в крайнем изумлении.

— Я знаю, что это звучит нелепо. Возможно, я... сошел с ума.

— Почему вы так говорите?

Торн тяжело посмотрел на него и заговорил, с трудом выдавливая слова.

— Потому что эта беременность должна продолжаться, чтобы я сам не начал верить...

— Верить...?

— Как и моя жена. Что ребенок — это...

Слова застряли у него в горле, он поднялся и почувствовал беспокойство. Дурное предчувствие охватило его. Торн ощущал, что сейчас должно что-то случиться.

- Мистер Торн?
- Извините меня...
- Пожалуйста, садитесь.

Резко тряхнув головой, Торн вышел из кабинета и торопливо пошел к лестнице, ведущей на улицу. Очнувшись на улице, он кинулся к машине, на ходу вынимая ключи. Чувство панического страха усиливалось. Ему надо скорее вернуться домой. Включив мотор, Торн развернулся так резко, что завизжали шины, и рванул по направлению к шоссе. До Пирфорда было полчаса езды, и он почему-то боялся, что не успеет вовремя. Улицы Лондона были переполнены транспортом, он постоянно сигнализировал машинам, обгонял их, проезжал на красный свет, и чувство беспокойства все сильнее охватывало его...

Катерина тоже почувствовала гнетущее беспокойство и решила заняться домашними делами, чтобы подавить страх. Она стояла на лестничной клетке третьего этажа с кувшином в руке и раздумывала, как ей полить цветы, подвешенные над перилами. Ей не хотелось расплескать воду на кафельный пол. В детской, за ее спиной, Дэмьен катался на своей машине, пыхтя как паровоз, и звук этот становился все громче по мере того, как он набирал скорость. Незаметно для Катерины миссис Бэйлок встала в дальнем углу комнаты и закрыла глаза, как бы молясь про себя...

По шоссе с предельной скоростью несся Торн. Он уже выбрался на магистраль М-40, ведущую прямо к дому. Лицо его было напряжено, он изо всех сил сжимал руль, каждая клеточка тела словно старалась подогнать машину, заставить ее ехать еще быстрее. Автомобиль мчался по шоссе, Торн сигнализировал машинам, и все пропускали его вперед. Он подумал о полиции и взглянул в зеркальце дальнего вида. Увиденное потрясло его: по пятам следовал громадный черный автомобиль — катафалк. Катафалк приближался к машине, и лицо Торна окаменело...

В Пирфорде Дэмьен все сильнее разгонял свою игрушечную машину, подпрыгивая на ней, как на скаковой лошади. В коридоре Катерина встала на табуретку. В комнате Дэмьена миссис Бэйлок пристально смотрела на ребенка, направляя его действия усилием воли и заставляя его ездить все быстрее и быстрее. Мальчик разгонялся, глаза и лицо отражали безумие.

В автомобиле Торн застонал от напряжения. Стрелка спидометра показывала девяносто миль, потом сто десять, но катафалк не отставал, настойчиво преследуя его. Торн уже не мог остановить себя, не мог допустить, чтобы его обогнали. Двигатель машины ревел на пределе, но катафалк приближался и наконец поравнялся с бежевым автомобилем Торна.

— Нет... — простонал Торн. — Нет!

Некоторое время они ехали рядом, потом катафалк начал медленно уходить вперед. Торн налег на руль, приказывая машине ехать быстрее, но катафалк продолжал удаляться. Гроб, установленный в нем, медленно раскачивался...

В доме Торнов Дэмьен разогнался еще сильней, его машина наклонялась, когда он бешено носился по комнате, а в коридоре

Катерина пошатнулась и протянула руки вперед, стараясь удержаться на табуретке.

На шоссе катафалк неожиданно резко поддал газу и рванулся вперед. Торн испустил страшный крик. В этот момент Дэмьян пулей вылетел из своей комнаты и столкнулся с Катериной. Она упала с табуретки, судорожно пытаясь ухватиться за что-нибудь, сбила рукой круглый аквариум с золотыми рыбками, который полетел вслед за ней. Послышался глухой удар. Через мгновение аквариум упал и разлетелся на маленькие кусочки.

...Катерина лежала, не шевелясь. Рядом с ней на кафельном полу билась золотая рыбка...

Когда Торн приехал в больницу, там уже успели собраться репортеры. Они засыпали его вопросами и слепили вспышками фотокамер, а он отчаянно пытался пройти сквозь их строй к двери с табличкой «Интенсивная терапия». Приехав домой, он нашел миссис Бэйлок в состоянии истерики: она только и успела сказать ему, что Катерина упала и «скорая» отвезла ее в городскую больницу.

— Скажите что-нибудь о состоянии жены, мистер Торн! — закричал один из репортеров.

— Убирайтесь отсюда!

— Говорят, что она упала.

— С ней все в порядке?

Газетчики пытались остановить Торна, но он прошел через двойные двери и побежал по коридорам, оставляя репортеров позади.

Навстречу ему быстро шел врач.

— Меня зовут Беккер, — сказал он.

— С ней все в порядке? — в отчаянии спросил Торн.

— Она поправится. У нее сотрясение мозга, перелом ключицы и небольшое внутреннее кровоизлияние.

— Она беременна.

— Боюсь, что уже нет.

— Был выкидыш? — задохнулся он.

— Прямо на полу, когда она упала. Я хотел сделать исследование, но ваша служанка все убрала к нашему приезду.

Торн вздрогнул и обмяк, прислонившись к стене.

— Естественно, — продолжал врач, — подробности мы сообщать не будем. Чем меньше людей об этом узнает, тем лучше.

Торн уставился на него, и врач понял, что он ничего не знает.

— Вы же ЗНАЕТЕ, что она сама бросилась вниз, — сказал он.

— ...Бросилась?

— С третьего этажа. На глазах у ребенка и его няни.

Торн тупо посмотрел на него, потом повернулся к стене. У него затряслись плечи, и врач понял, что Торн плачет.

— При подобном падении, — добавил врач, — обычно больше всего страдает голова. В каком-то смысле можно считать, что вам повезло.

Торн кивнул, пытаясь сдержать слезы.

— Вообще вам во многом повезло, — сказал врач. — Она жива и при правильном лечении никогда этого больше не повторит. Жена моего брата тоже была склонна к самоубийству. Однажды

она залезла в ванну и взяла с собой тостер. Решила включить его и убить себя электричеством.

Торн повернулся к врачу.

— Дело в том, что ей удалось выжить, и она больше ничего подобного не делала. Прошло уже четыре года, и с ней все в порядке.

— Где она? — спросил Торн.

— Живет в Швейцарии.

— Моя жена!

— Палата 44. Она скоро придет в себя.

В палате Катерины было тихо и темно. В углу с журналом в руках сидела сестра. Торн вошел и остановился, потрясенный увиденным. Вид Катерины был страшен: бледное, распухшее лицо, капельница с плазмой. Рука была загипсована и причудливо вывернута. Застывшее лицо не подавало признаков жизни.

— Она спит, — сказала сестра. Торн медленно подошел к кровати. Словно почувствовав его присутствие, Катерина застонала и медленно повернула голову.

— Ей больно? — дрожащим голосом спросил Торн.

— Она сейчас на седьмом небе, — ответила сестра. — Пентотал натрия.

Торн сел рядом, уткнулся лбом в спинку кровати и заплакал. Через некоторое время он почувствовал, что рука Катерины коснулась его головы.

— Джерри... — прошептала она.

Он посмотрел на нее. Катерина с трудом открыла глаза.

— Кэти... — выдавил он сквозь слезы.

— Не дай ему убить меня.

Потом она закрыла глаза и забылась сном.

Торн приехал домой после полуночи и долго стоял в темноте фойе, глядя на то место кафельного пола, куда упала Катерина. Он устал, напряжение не спадало, и Торн очень хотел заснуть, чтобы хоть на некоторое время забыть о произошедшей трагедии.

Торн не стал включать лампы и некоторое время постоял в темноте, смотря наверх, на площадку третьего этажа. Он попробовал представить Катерину, стоящую наверху и обдумывающую свой прыжок. Почему же она, серьезно решив покончить с жизнью, не прыгнула с крыши? В доме было много таблеток, бритвенных лезвий, десятки других вещей, помогающих покончить жизнь самоубийством. Почему именно так? И почему на глазах у Дэмьена и миссис Бэйлок?

Он снова вспомнил о священнике и его предостережении. «Он убьет неродившегося ребенка, пока тот спит в утробе. Потом он убьет вашу жену. Потом, когда он убедится, что унаследует все, что принадлежит вам...» — Торн закрыл глаза, пытаясь вычеркнуть эти слова из памяти. Он подумал о Тассоне, произнесенном шестом, о телефонном звонке Дженнингса, о безумной панике, охватившей его во время гонок с катафалком. Психиатр был прав. Он переутомился, и такое поведение только подтверждает это. Страхи Катерины начали распространяться и на него, ее фантазии в какой-то степени оказались заразными. Но больше

он не допустит этого! Теперь, как никогда, ему надо быть в полном разуме.

Чувствуя физическую слабость, он пошел наверх по лестнице, нащупывая в темноте ступени. Он высится и утром проснется свежим, полным энергии и способным действовать.

Подходя к своей двери, Торн остановился, глядя в сторону спальни Дэмьена. Бледный свет ночника пробивался из-под двери. Торн представил себе невинное лицо ребенка, мирно спящего в своей комнате. Поддавшись желанию посмотреть на мальчика, он медленно подошел к комнате Дэмьена, убеждая себя, что здесь ему нечего бояться. Но открыв комнату, он увидел нечто такое, что заставило его содрогнуться. Ребенок спал, но он был не один. По одну сторону кровати сидела миссис Бэйлок, сложив руки и уставившись в пространство перед собой, по другую были видны очертания огромного пса. Это был тот самый пес, от которого он просил избавиться. Теперь собака сидела здесь, охраняя сон его сына. Затаив дыхание, Торн тихо прикрыл дверь, вернулся в коридор и пошел в свою комнату. Здесь он попытался успокоить дыхание и понял, что его трясет. Неожиданно тишина взорвалась телефонным звонком, и Торн бегом кинулся к трубке.

— Алло!

— Это Дженнингс,— раздался голос.— Помните, тот самый, у которого вы разбили фотокамеру.

— Да.

— Я живу на углу Гросверном и Пятой в Челси, и думаю, что вам лучше всего приехать прямо сейчас.

— Что вы хотите?

— Что-то происходит, мистер Торн. Происходит нечто такое, о чем вы должны знать.

Квартира Дженнингса находилась в дешевом, запутанном районе, и Торн долго разыскивал ее. Шел дождь, видимость была плохой, и он почти совсем отчаялся, прежде чем заметил красный свет в башенке наверху. В окне он увидел Дженнингса, тот помахал ему, а потом вернулся в комнату, решив, что ради такого выдающегося гостя можно было бы немного прибраться. Он кое-как запихнул одежду в шкаф и стал дожидаться Торна. Вскоре появился посол, задыхающийся после пешего похода по пяти лестничным пролетам.

— У меня есть бренди,— предложил Дженнингс.

— Если можно.

— Конечно, не такой, к какому вы привыкли.

Дженнингс закрыл входную дверь и исчез в алькове, пока Торн мельком рассматривал его темную комнату. Она была залита красноватым светом, струящимся из подсобной комнатки, все стены были увешаны фотографиями.

— Вот и я,— сказал Дженнингс, возвращаясь с бутылкой и стаканами.— Выпейте немного и перейдем к делу.

Торн принял у него стакан, и Дженнингс разлил бренди. Потом Дженнингс сел на кровать и указал на кипу подушек на полу, но Торн продолжал стоять.

— Не хотите ли закурить? — спросил Дженнингс.

Торн покачал головой, его уже начинал раздражать беспечный домашний тон хозяина.

- Вы говорили, будто что-то происходит.
- Это так.
- Я бы хотел узнать, что вы имели в виду.
- Дженнингс пристально посмотрел на Торна.
- Вы еще не поняли?
- Нет.
- Тогда почему вы здесь?
- Потому, что вы не захотели давать объяснений по телефону.

Дженнингс кивнул и поставил стакан.

- Я не мог объяснить, потому что вам надо кое-что увидеть.
- И что же это?
- Фотографии.— Он встал и прошел в темную комнату, жестом пригласив Торна следовать за ним.— Я думал, вы захотите сначала поближе познакомиться.

- Я очень устал.
- Ладно, сейчас у вас появятся силы.

Он включил небольшую лампу, осветившую серию фотографий. Торн вошел и сел на табуретку рядом с Дженнингсом.

- Узнаете?

Это были снимки того дня рождения, когда Дэмьену исполнилось четыре года. Детишки на каруселях, Катерина, наблюдающая за ними.

- Да,— ответил Торн.
- Теперь посмотрите сюда.

Дженнингс убрал верхние фотографии и показал снимок Чессы, первой няни Дэмьена. Она стояла одна в клоунском костюме на фоне дома.

- Вы видите что-нибудь необычное? — спросил Дженнингс.
- Нет.

Дженнингс коснулся фотографии, обводя пальцем едва заметный туман, зависший над ее головой и шеей.

- Сначала я подумал, что это дефект пленки,— сказал Дженнингс.— Но теперь смотрите дальше.

Он достал фотографию Чессы, висящей на канате.

- Не понимаю,— сказал Торн.
- Следите за ходом мысли.

Дженнингс отодвинул пачку фотографий в сторону и достал другую. Сверху лежала фотография маленького священника Тассоне, уходившего из посольства.

- А как насчет этой?
- Торн с ужасом посмотрел на него.
- Где вы ее достали?
- Сам сделал.
- Я считал, что вы разыскиваете этого человека. Вы говорили, что он ваш родственник.

— Я сказал неправду. Посмотрите на снимок.

Дженнингс снова коснулся фотографии, указывая на туманный штрих, видневшийся над головой священника.

- Вот эта тень над его головой? — спросил Торн.

— Да. А теперь посмотрите сюда. Этот снимок сделан на десять дней позже первого.

Он достал другую фотографию и положил ее под лампу. Это был крупный план группы людей, стоявших в задних рядах аудитории. Лица Тассоне не было видно, только контуры одежды, но как раз над тем местом, где должна быть голова, нависал тот же продолговатый туманный штрих.

— Мне кажется, что это тот же самый человек. Лица не видно, зато хорошо видно то, что над ним висит.

Торн изучал фотографию, глаза его выражали недоумение.

— На этот раз он висит ниже,— продолжал Дженнингс.— Если вы мысленно очертите его лицо, станет очевидным, что туманный предмет почти касается его головы. Что бы это ни было, оно опустилось.

Торн молча уставился на фотографию. Дженнингс убрал ее и положил на стол вырезку из газеты, где был запечатлен священник, пронзенный копьеобразным шестом.

— Начинаете улавливать связь? — спросил Дженнингс.

Сзади зажужжал таймер, и Дженнингс включил еще одну лампочку. Он встретил взволнованный взгляд Торна.

— Я тоже не мог этого объяснить,— сказал Дженнингс.— Поэтому и начал копаться.

Взяв пинцет, он повернулся к ванночкам, вынул увеличенный снимок, стряхнул с него капли фиксажа, прежде чем поднести к свету.

— У меня есть знакомые в полиции. Они дали мне несколько негативов, с которых я сделал фотографии. По заключению патолога-анатома, у Тассоне был рак. Он почти все время употреблял морфий, делая себе уколы по два-три раза в день.

Торн взглянул на фотографии. Перед ним предстало мертвое обнаженное тело священника в разных позах.

— Внешне его тело совершенно здорово и нет ничего странного,— продолжал Дженнингс,— кроме одного маленького значка на внутренней стороне левой ноги.

Он передал Торну увеличительное стекло и подвел его руку к последнему снимку. Торн внимательно приглядился и увидел знак, похожий на татуировку.

— Что это? — спросил Торн.

— Три шестерки. Шестьсот шестьдесят шесть.

— Концлагерь?

— Я тоже так думал, но биопсия показала, что знак буквально вгравирован в него. В концлагере этого не делали. Я полагаю, что это он сделал сам.

Торн и Дженнингс переглянулись.

— Смотрите дальше,— сказал Дженнингс и поднес к свету еще одну фотографию.— Вот комната, где он жил. В Сохо, квартира без горячей воды. Она была полна крыс, когда мы зашли внутрь. Он оставил на столе недоеденный кусок соленого мяса.

Торн начал рассматривать фотографию. Маленькая каморка, внутри которой был лишь стол, шкафчик и кровать. Стены были покрыты какими-то бумагами, повсюду висели большие распятия.

— Вот так все и было. Листочки на стенах — это страницы из Библии. Тысячи страниц. Каждый дюйм на стенах был ими заклеен, даже окна. Как будто он охранял себя от чего-то.

Торн сидел пораженный, уставившись на странную фотографию.

— И кресты тоже. На одной только входной двери он прикрепил их сорок семь штук.

— Он был... сумасшедший? — прошептал Торн. Дженнингс посмотрел ему прямо в глаза.

— Вам видней.\*

Повернувшись на стуле, Дженнингс открыл ящик стола и вынул оттуда потрепанную папку.

— Полиция посчитала его помешанным, — сказал он. — Поэтому они разрешили порыться в его вещах и забрать все, что может оказаться нужным. Вот так я достал это.

Дженнингс встал и прошел в жилую комнату. Торн последовал за ним. Здесь фотограф раскрыл папку и вытряхнул ее содержимое на стол.

— Во-первых, здесь есть дневник, — сказал он, вынимая из кипы бумаг обветшалую книжечку. — Но в нем говорится не о священнике, а о ВАС. О ВАШИХ передвижениях: когда вы ушли из конторы, в каких ресторанах вы питаетесь, где вы выступали...

— Можно мне взглянуть?

— Конечно.

Торн дрожащими руками взял дневник и перелистал его.

— В последней записи говорится, что вы должны встретиться с ним, — продолжал Дженнингс, — в Кью Гарденс. В тот же день он погиб.

Торн поднял глаза и встретил взгляд Дженнингса.

— Он был сумасшедшим, — сказал Торн.

— Неужели?

В тоне Дженнингса прозвучала скрытая угроза, и Торн замер под его взглядом.

— Что вам угодно?

— Вы с ним встретились?

— Н-нет...

— У меня есть еще кое-что, мистер посол, но я ничего не скажу, если вы будете говорить мне неправду.

— Какое вам дело до всего этого? — хрюкнуло спросил Торн.

— Я ваш друг и хочу вам помочь, — ответил Дженнингс.

Торн продолжал напряженно смотреть на него.

— Самое главное вот здесь, — продолжал Дженнингс, указывая на стол. — Так вы будете говорить или уйдете?

Торн стиснул зубы.

— Что вы хотите узнать?

— Вы виделись с ним в парке?

— Да.

— Что он вам сказал?

— Он предупредил меня.

— О чём?

— Он говорил, что моя жизнь в опасности.

- В какой опасности?  
— Я не совсем понял.  
— Не дурачьте меня.  
— Я говорю серьезно. Он непонятно выражался.
- Дженнингс отодвинулся и посмотрел на Торна с недоверием.
- Это было что-то из Библии,— добавил Торн.— Какие-то стихи. Я не помню их. Я подумал, что он ненормальный. Я не помню стихи и не мог их понять!
- Дженнингс скептически посмотрел на него.
- Думаю, вам стоит довериться мне,— сказал Дженнингс.  
— Вы говорили, что у вас есть еще кое-что.  
— Но я еще не все от вас услышал.  
— Мне больше нечего сказать.

Дженнингс кивнул, показав, что этого хватит, и вернулся к бумагам на столе. Включив лампочку без плафона, подвешенную над столом, он нашел газетную вырезку и протянул ее Торну.

— Это из журнала «Астролоджерс Монтли». Заметка астролога о необычном явлении. Комета, которая превратилась в сияющую звезду. Как звезда Бетельгейзе две тысячи лет тому назад.

Вытирая пот со лба, Торн изучал заметку.

— Только ЭТО произошло над ДРУГИМ полуширением,— продолжал Дженнингс.— В Европе. Четыре с небольшим года тому назад. Точнее, шестого июня. Это число вам что-нибудь говорит?

— Да,— прохрипел Торн.

— Тогда вы узнаете вторую вырезку,— ответил Дженнингс, поднимая еще одну бумажку со стола,— с последней страницы римской газеты.

Торн взял заметку и сразу же вспомнил ее. Точно такая же хранилась у Катерины в записной книжке.

— Это сообщение о рождении вашего сына. Это ТОЖЕ произошло шестого июня, четыре года назад. Я бы сказал, что это совпадение. А вы?

У Торна тряслись руки, бумажка дрожала так, что он с трудом мог прочитать ее.

— Ваш сын родился в шесть часов утра?

Торн повернулся к нему, в его глазах светилась невыносимая боль.

— Я хочу выяснить, что это за знак на ноге у священника. Три шестерки. Я думаю, он как-то связан с вашим сыном. Шестой месяц, шестой день...

— МОЙ сын УМЕР! — выпалил Торн.— МОЙ сын УМЕР. Я не знаю, кого я воспитываю.

Он закрыл лицо руками, отвернулся и тяжело задышал. Дженнингс не сводил с него глаз.

— Если вы не против,— тихо произнес он,— я мог бы помочь выяснить это.

— Нет,— простонал Торн.— Это мое дело.

— Здесь вы ошибаетесь, сэр. Теперь это и МОЕ дело.

Торн повернулся к нему, и их глаза встретились. Дженнингс медленно прошел в темную комнату и вернулся оттуда с фотографией. Он протянул ее Торну.

— В углу каморки у священника было небольшое зеркало,— с трудом выговорил Дженнингс.— Случайно в нем отразился я сам, когда делал фотографии. Довольно необычный эффект, вы не находите?

Он придинул лампочку поближе, чтобы было виднее. На фотографии Торн увидел небольшое зеркало в дальнем углу комнаты, где жил Тассоне. В зеркале отражался Дженнингс с поднятым к лицу фотоаппаратом. Ничего необычного в том, что фотограф поймал свое изображение, не было. Но на этом снимке явно чего-то не хватало.

У Дженнингса не было шеи.

Его голова была отделена от туловища темным пятном, похожим на дымку...

### Глава десятая

После того как стало известно о несчастье с Катериной, Торну легко было объяснить свое отсутствие в офисе в течение нескольких дней. Он сказал, что поедет в Рим за травматологом, хотя на самом деле цель поездки была иной. Дженнингс убедил его, что начинать надо с самого начала, то есть поехать в тот самый госпиталь, где родился Дэмьян. И там они начнут по крохам восстанавливать истину.

Все было устроено быстро и без лишнего шума. Торн нанял частный самолет, чтобы выехать из Лондона, не привлекая внимания публики. За несколько часов до отлета Дженнингс подобрал кое-какой материал для исследования: несколько вариантов Библии, три книги по оккультным наукам. Торн вернулся в Пирфорд, чтобы собрать вещи и захватить большую шляпу, которая делала его неузнаваемым.

В Пирфорде было необычайно тихо, машины стояли в гараже в таком виде, будто на них больше никто не собирался ездить. Гортоны отсутствовали.

— Они оба уехали,— пояснила миссис Бэйлок, когда он вошел в кухню.

Женщина стояла у раковины и резала овощи, точно так же, как это делала раньше миссис Гортон.

— Как уехали? — спросил Торн.

— Совсем. Собрались и уехали. Они оставили адрес, чтобы вы могли переслать туда зарплату за последний месяц.

Торн был поражен.

— Они не объяснили причину? — спросил он.

— Это неважно, сэр. Я сама справлюсь.

— Они должны были объяснить...

— Мне, во всяком случае, они ничего не сказали. Хотя они вообще со мной мало разговаривали. Мистер Гортон настаивал на отъезде. Мне показалось, что миссис Гортон хотела остаться.

Торн обеспокоенно посмотрел на миссис Бэйлок. Ему было страшно оставлять ее с Дэмьеном. Но другого выхода не было. Он должен был срочно уехать.

— Вы здесь справитесь одна, если я уеду на несколько дней?

— Думаю, что да, сэр. Продуктов нам хватит на несколько недель, а мальчику не помешает тишина в доме.

Торн кивнул и хотел выйти, но вдруг остановился:

— Миссис Бэйлок...

— Сэр?

— Та собака.

— Да, я знаю. К концу дня ее уже не будет.

— Почему она до сих пор здесь?

— Мы отвели ее в лес и там отпустили, но она сама нашла дорогу обратно. Она сидела на улице вчера после... после несчастья, а мальчик был так потрясен и попросил, чтобы собака осталась с ним в комнате. Я сказала Дэмиену, что вам это не понравится, но при таких обстоятельствах я подумала...

— Я хочу, чтобы ее здесь не было.

— Я сегодня же позвоню, сэр, чтобы ее забрали.

Торн повернулся к выходу.

— Мистер Торн?..

— Да?

— Как ваша жена?

— Поправляется.

— Пока вас не будет, можно с мальчиком навестить ее?

Торн задумался, наблюдая за женщиной, вытиравшей руки кухонным полотенцем. Она была настоящим олицетворением домохозяйки, и он удивился, отчего так не любит ее.

— Лучше не стоит. Я сам с ним схожу, когда вернусь.

— Хорошо, сэр.

Они попрощались, и Торн поехал в больницу. Там он проконсультировался с доктором Беккером, сообщившим ему, что Катерина не спит и чувствует себя лучше. Доктор спросил, можно ли пригласить к ней психиатра, и Торн дал ему номер Чарльза Гриера. Потом он прошел к Катерине. Увидев его, она слабо улыбнулась.

— Привет,— сказал он.

— Привет,— прошептала она.

— Тебе лучше?

— Немного.

— Говорят, что ты скоро поправишься.

— Я знаю.

Торн пододвинул стул к кровати и сел. Он был удивлен тем, насколько она казалась красивой даже в таком состоянии. Солнечный свет проникал в окно, нежно освещая ее волосы.

— Ты хорошо выглядишь,— сказала она.

— Я думал о тебе,— ответил он.

— Представляю, как выгляжу я,— натянуто улыбнулась она.

Торн взял ее руку, и они молча смотрели друг на друга.

— Странные времена,— тихо сказала она.

— Да.

— Неужели когда-нибудь все наладится?

— Думаю, что да.

Она грустно улыбнулась, и он протянул руку, поправляя прядь волос, упавших ей на глаза.

— Мы ведь добрые люди, правда, Джереми?

— Думаю, что да.

— Почему тогда все против нас?

Он покачал головой не в состоянии ответить.

— Если бы мы были злыми,— тихо сказала Катерина,— я считала бы, что все в порядке. Может быть, это то, что мы заслужили. Но что мы сделали неправильного? Что мы когда-нибудь сделали не так?

— Я не знаю,— с трудом ответил он.

Она казалась такой несчастной, что чувства переполняли его.

— Ты здесь в безопасности,— прошептал Торн.— А я уезжаю на несколько дней.

Она не ответила. Она даже не спросила, куда он едет.

— Дела. Это неотложно.

— Надолго?

— На три дня. Я буду звонить тебе каждый день.

Катерина кивнула, он медленно поднялся, потом нагнулся и нежно поцеловал ее поцарапанную бледную щеку.

— Джерри?

— Да?

— Они сказали мне, что я сама спрыгнула.— Она взглянула на него по-детски удивленно и невинно.— И ТЕБЕ они так же сказали?

— Да.

— Зачем мне надо было это делать?

— Я не знаю,— прошептал Торн.— Но мы выясним.

— Я сошла с ума?— просто спросила она.

Торн посмотрел на нее и медленно покачал головой.

— Может быть, мы все сошли с ума,— ответил он.

Она приподнялась, и он снова наклонился, прижимаясь лицом к ее лицу.

— Я не прыгала,— шепнула она.— Меня... столкнул Дэмьян.

Наступило долгое молчание, и Торн медленно вышел из палаты.

Шестиместный самолет «Лир» вез только Торна и Дженнингса. Он несся по направлению к Риму сквозь ночь, и внутри него было тихо и напряженно. Дженнингс разложил вокруг себя книги и заставлял Торна вспомнить все, что говорил ему Тассоне.

— Я не могу,— мучительно произнес Торн.— У меня все как в тумане.

— Начните заново. Расскажите мне все, что помните.

Торн повторил рассказ о своем первом свидании со священником, о дальнейшем преследовании, наконец, о встрече в парке. Во время этой встречи священник читал стихи.

— Что-то насчет... восхождения из моря...— бормотал Торн, пытаясь припомнить.— О смерти... и армии... и Риме...

— Надо постараться вспомнить получше.

— Я был очень расстроен и подумал, что он сумасшедший! Я в общем-то и не слушал его.

— Но вы все слышали. Значит, вы можете вспомнить. Давайте же!

— Я не могу!

— Попробуй еще!

Лицо Торна выражало отчаяние. Он закрыл глаза и пытался заставить себя вспомнить то, что ему никак не удавалось.

— Я помню... он умолял меня принять веру. «Пей кровь Христа». Так он сказал. «Пей кровь Христову»...

— Для чего?

— Чтобы побороть сына дьявола. Он сказал: «Пей кровь Христову, чтобы побороть сына дьявола».

— Что еще? — не унимался Дженнингс.

— Старик. Что-то насчет старика...

— Какого старика?

— Он сказал, что мне надо увидеться со стариком.

— Продолжайте...

— Я не могу вспомнить!..

— Он назвал имя?

— М... Магдо. Магдо. Меггио. Нет, это название города.

— Какого города? — не отступал Дженнингс.

— Города, куда мне, по его словам, надо было поехать. МЕГГИО. Я уверен в этом. Мне надо поехать в Меггио.

Дженнингс возбужденно начал рыться в своем портфеле, отыскивая карту.

— Меггио... — бормотал он. — Меггио...

— Вы слышали о нем? — спросил Торн.

— Могу поспорить, что это в Италии.

Но его не было ни в одной европейской стране. Дженнингс рассматривал карту добрых полчаса, а потом закрыл ее, покачивая в отчаянии головой. Он посмотрел на посла, увидел, что тот заснул, не стал будить его, а принялся за свои книги по оккультизму. Маленький самолет ревел в ночном небе, а Дженнингс погрузился в предсказания о втором пришествии Христа. Оно было связано с пришествием Антихриста, сына Нечистого, Зверя, Дикого Мессии.

«...и придет на землю дикий Мессия, потомок Сатаны в обличье человеческом. Родительницей его будет изнасилованное четвероногое животное. Как юный Христос нес по свету любовь и доброту, так Антихрист понесет ненависть и страх... получая приказы прямо из Ада...»

Самолет приземлился, и Дженнингс кинулся собирать книги, рассыпавшиеся во все стороны.

В Риме шел дождь. Быстро пройдя через пустой аэропорт, они вышли к стоянке такси. Пока машина везла их на другой конец города, Дженнингс слегка прикорнулся, а Торн, глядя на освещенные статуи на Виа Венто, вспомнил, как он и Катерина, еще молодые и полные надежд, бродили по этим улицам, держась за руки. Они были невинны и любили друг друга. Он вспомнил запах ее духов, ее обворожительный смех. Влюбленные открывали для себя Рим, как Колумб когда-то открывал Америку. Они считали город своей собственностью. Здесь они впервые отдались друг другу. Вглядываясь в ночь, Торн подумал, будут ли они вообще когда-нибудь заниматься любовью...

— Госпиталь Женераль,— сказал водитель такси и резко затормозил.

Дженнингс проснулся. Торн выглянул в окно.

— Это не то,— сказал Торн.

— Si. Госпиталь Женераль.

— Нет, тот был старый. Кирпичный. Я же помню.

— У вас правильный адрес? — спросил Дженнингс.

— Госпиталь Женераль,— повторил шофер.

— E differente<sup>1</sup>, — настаивал на своем Торн.

— Fuoco<sup>2</sup>. — ответил шофер.— Tre anni più o meno<sup>3</sup>.

— Что он говорит? — спросил Дженнингс.

— Пожар,— ответил Торн.— «Фуоко» значит «пожар».

— Si,— добавил водитель.— Tre anni.

— Что там насчет пожара? — спросил Дженнингс.

— Очевидно, старый госпиталь сгорел. А теперь его перестроили.

— Tre anni più o meno. Molto morte.

Торн посмотрел на Дженнингса.

— Три года назад. Многие умерли.

Они заплатили таксисту и попросили его подождать. Тот начал отказываться, но, разглядев, сколько ему дали, охотно согласился. На ломаном итальянском Торн объяснил ему, что они хотели бы пользоваться его услугами, пока не уедут из Рима.

В госпитале их ждало разочарование. Было поздно, начальство отсутствовало. Дженнингс решил разыскать хоть кого-нибудь, а Торн в это время встретил монашку, говорящую по-английски, которая подтвердила, что пожар три года назад разрушил госпиталь до основания.

— Но он же не мог уничтожить все,— настаивал Торн.— Записи... Они должны были сохраниться...

— Меня в то время здесь не было,— объяснила она на ломаном английском.— Но люди говорят, что огонь спалил все.

— Но, возможно, какие-то бумаги хранились в другом месте?

— Я не знаю.

Торн был в отчаянии, а монашка пожала плечами, показав, что ей больше нечего сообщить.

— Послушайте,— сказал Торн.— Для меня это очень важно. Я здесь усыновил ребенка, и мне нужны сведения о его рождении.

— Здесь не было усыновлений.

— ОДНО здесь было. То есть это было не совсем усыновление...

— Вы ошибаетесь. У нас все усыновления проходят в Агентстве по делам освобождения от ответственности и оказания помощи.

— У вас сохранились записи о рождении? Вы храните документы о детях, которые здесь рождаются?

<sup>1</sup> Это другое место (итал.)

<sup>2</sup> Пожар (итал.)

<sup>3</sup> Примерно три года назад (итал.)

— Да, конечно.

— Может быть, если я назову число...

— Бесполезно,— прервал его Дженнингс. Он подошел к Торну, и тот увидел на его лице выражение крайнего разочарования.

— Пожар начался именно в зале документации. В подвале, где лежали все бумаги. Потом огонь распространился вверх по лестнице, и третий этаж превратился в ад.

— Третий этаж?..

— Родильное отделение,— кивнул Дженнингс.— Остался один пепел.

Торн поник и прислонился к стене.

— Извините меня...— сказала монашка.

— Подождите,— попросил ее Торн.— А служащие? Наверняка ведь КТО-ТО выжил.

— Да. Немногие.

— Здесь был один высокий мужчина. Священник. Настоящий великан.

— Его звали Спиллетто?

— Да,— возбужденно ответил Торн.— Спиллетто.

— Он был здесь главным.

— Да, главным. Он...

— Он выжил.

В сердце Торна вспыхнула надежда.

— Он здесь?

— Нет.

— А где же?

— В монастыре в Субьяко. Многих пострадавших отправили туда. Многие умерли там, но он выжил. Я помню, говорили, что это просто чудо, ведь во время пожара он был на третьем этаже.

— Субьяко? — переспросил Дженнингс.

Монашка кивнула.

— Монастырь Сан-Бenedetto.

Кинувшись к машине, они сразу же начали рыться в картах. Городок Субьяко находился на южной границе Италии, и чтобы попасть туда, пришлось бы ехать на машине всю ночь. Таксисту нарисовали маршрут на карте красным карандашом, чтобы он мог спокойно ехать, пока они будут спать.

Монастырь Сан-Бenedetto был наполовину разрушен, но огромная крепость сохранила свою мощь и величие. Она веками стояла здесь, на юге Италии, и выдержала не одну осаду. Во время второй мировой войны немцы, занявшие монастырь под штаб, казнили в нем всех монахов. В 1946 году сами итальянцы обстреляли его из минометов, как бы в отместку за зло, происходившее в его стенах.

Несмотря на все испытания, Сан-Бenedetto оставался священным местом, величественно возвышаясь на холме, и эхо молитв в течение веков пропитало его стены.

Маленькое, забрызганное грязью такси подъехало к стенам монастыря. Шоферу пришлось расталкивать уснувших пассажиров.



— Сеньоры?

Торн зашевелился. Дженнингс опустил стекло и вдохнул утренний воздух, озираясь по сторонам.

— Сан-Бенедетто,— пробурчал усталый шофер.

Торн протер глаза и увидел величественный силуэт монастыря на фоне красноватого утреннего неба.

— Посмотри-ка туда... — прошептал Дженнингс в благоговейном страхе.

— Нельзя ли подъехать поближе? — спросил Торн.

Шофер отрицательно мотнул головой.

Предложив ему высаться, Торн и Дженнингс побрали дальше пешком и скоро оказались по пояс в траве, вымочившей их до нитки. Идти стало трудно, одежда не соответствовала такой прогулке: она постоянно липла к телу, пока они пробивались вперед через поле. Тяжело дыша, Дженнингс на секунду остановился, взял камеру и отснял полупленки кадров.

— Невероятно,— прошептал он.— Невероятно, черт возьми.

Торн нетерпеливо оглянулся, и Дженнингс поспешил догнать его. Они пошли вместе, прислушиваясь к собственному дыханию и к далеким звукам пения, как стон, доносящийся изнутри монастыря.

— Как много здесь грусти,— сказал Дженнингс, когда они подошли ко входу.

Звук внушал трепет, монотонное пение исходило, казалось, от самих стен, в каменных коридорах и арках. Они медленно продвигались вперед, оглядывая окружающее пространство и пытаясь обнаружить источник звука.

— Я думаю, сюда,— сказал Дженнингс, указывая в сторону длинного коридора.— Посмотри, какая грязь.

Впереди виднелась коричневая тропинка. Люди, ходившие здесь многие столетия подряд, ногами протерли в камне ложбинку, и во время ливней сюда стекала вода. Тропинка вела к огромной каменной ротонде с закрытой деревянной дверью. Они подошли поближе, и пение стало громче. Приоткрыв дверь, Торн и Дженнингс с благоговением уставились на происходящее внутри ротонды. Казалось, они неожиданно перенеслись в средневековые, так сильно ощущалось присутствие Бога и духовной святости. Они увидели просторный древний зал. Каменные ступени вели к алтарю, на котором возвышался деревянный крест с фигурой распятого Христа, высеченной из камня. Сама ротонда была сложена из каменных блоков, украшенных виноградными лозами и сходившихся в центре купола. Теперь с вершины купола пробивался солнечный свет и освещал фигуру Христа.

— Священное место,— прошептал Дженнингс.

Торн кивнул и продолжал осматривать помещение. Взгляд его упал на группу монахов в капюшонах, стоявших на коленях и произносящих молитву. Пение их было очень эмоциональным, оно то затихало, то усиливалось. Дженнингс достал экспонометр и в полу值得一 попытался разобрать его показания.

— Убери,— прошептал Торн.

— Надо было захватить вспышку.

— Я сказал, убери это.

Дженнингс взглянул на Торна с удивлением, но повиновался. Торн выглядел чрезвычайно расстроенным, у него дрожали колени, будто тело приказывало опуститься на них и принять участие в молитве.

— С тобой все в порядке? — шепнул Дженнингс.

— ...Я католик, — тихо ответил Торн.

Вдруг взгляд его застыл, уставившись куда-то в темноту. Дженнингс увидел инвалидное кресло-коляску и сидящего в нем неуклюжего человека. В отличие от остальных, стоящих на коленях с опущенными головами, этот в коляске сидел прямо, голова его словно окаменела, руки были согнуты, как у парализованного.

— Это он? — шепнул Дженнингс.

Торн кивнул, глаза его широко раскрылись, как от дурного предчувствия. Они подошли ближе, и Дженнингс поморщился, когда увидел лицо инвалида. Половина его была как будто расплавлена, мутные глаза слепо смотрели вверх. Вместо правой руки из широкого рукава торчала изуродованная кульята.

— Мы не знаем, может ли он видеть и слышать, — сказал монах, стоящий рядом со Спиллетто во внутреннем дворике монастыря. — После пожара он не произнес ни слова.

Они находились в заросшем саду, который был завален осколками статуй. После окончания службы монах вывез коляску Спиллетто из ротонды, и оба путешественника последовали за ними.

— Братья за ним ухаживают, — продолжал монах, — и мы будем молиться за его выздоровление, когда кончится епитимья.

— Епитимья? — спросил Торн.

Монах кивнул.

— «Горе пастуху, который покидает своих овец, Пускай же правая рука его иссохнет, а правый глаз его ослепнет».

— Он согрешил? — спросил Торн.

— Да.

— Можно спросить, как именно?

— Он покинул Христа.

Торн и Дженнингс удивленно переглянулись.

— Откуда вам известно, что он покинул Христа? — спросил Торн у монаха.

— Исповедь.

— Но он не разговаривает.

— Это была письменная исповедь. Он может шевелить левой рукой.

— И что это было за признание? — не отступал Торн.

— Можно мне узнать причину ваших расспросов?

— Это жизненно важно, — искренне признался Торн. — Я умоляю вас о помощи. На карту поставлена жизнь.

Монах внимательно посмотрел на Торна и кивнул.

— Пойдемте со мной.

Келья Спиллетто была совсем пуста: только соломенный матрас и каменный стол. От вчерашнего ливня на полу осталась лужа воды. Торн заметил, что и матрас был влажным. Неужели,

подумал он, все они терпят подобные лишения, или же это было частью епитимии Спиллетто?

— Рисунок на столе,— сказал монах, когда они прошли внутрь.— Он нарисовал его углем.

Коляска скрипела, передвигаясь по неровным камням. Они окружили небольшой столик, рассматривая странный символ, начертанный священником.

— Он сделал это, когда впервые оказался здесь,— продолжал монах,— мы оставили уголек на столе, но больше он ничего не рисовал.

На столе была коряво нацарапана неуклюжая фигурка. Она была согнута и искажена, голова обведена кругом. Внимание Дженнингса сразу же привлекли три цифры, начертанные над головой согнувшейся фигуры. Это были шестерки. Их было три. Как отметка на ноге Тассоне.

— Видите эту линию над головой? — сказал монах.— Она означает капюшон монаха.

— Это автопортрет? — спросил Дженнингс.

— Мы так считаем.

— А что это за шестерки?

— Шесть — это знак дьявола,— ответил монах.— Семь — идеальное число, число Христа. А шесть — число Сатаны.

— А почему их три? — спросил Дженнингс.

— Мы считаем, что это означает дьявольскую Троицу. Дьявол, Антихрист и Лжечесар.

— Отец, Сын и Святой дух,— заметил Торн.

Монах кивнул.

— Для всего сиятого есть свое нечистое. В этом сущность искушения.

— Но почему вы считаете, что это исповедь? — спросил Дженнингс.

— Вы назвали рисунок автопортретом или что-то в этом роде. Он символически окружен Троицей ада.

— Но ведь вы не знаете конкретно, что он хотел рассказать?

— Детали не так важны,— сказал монах.— Самое главное, что он раскаивается.

Дженнингс и Торн пристально взглянули друг на друга. Торн овладело отчаяние.

— Можно мне поговорить с ним? — спросил он.

— Это вам не поможет.

Торн посмотрел на Спиллетто и содрогнулся при виде его застывшего, обезображенного лица.

— Отец Спиллетто,— твердо сказал он.— Меня зовут Торн.

Священник смотрел вверх. Он не шевелился и не слышал Джереми.

— Бесполезно,— сказал монах.

Но остановить Торна было уже невозможно.

— Отец Спиллетто,— повторил Торн.— Помните того РЕБЕНКА? Я хочу знать, откуда он.

— Я прошу вас, сеньор,— предупредительно произнес монах.

— Вы сознались ИМ,— закричал Торн,— теперь сознайтесь МНЕ! Я хочу знать, откуда тот ребенок!

— Мне придется попросить вас...

Монах хотел взяться за кресло Спиллетто, но Дженнингс преградил ему путь.

— Отец Спиллетто! — заорал Торн в немое, неподвижное лицо. — Я умоляю вас! ГДЕ ОНА? КТО ОНА?! Пожалуйста! Отвечайте же!

Вдруг все загудело. В церкви начали звонить колокола. Звук был невыносимый, Торн и Дженнингс содрогнулись при страшном звоне, отражающемся от каменных монастырских стен. Торн взглянул вниз и увидел, как рука священника начала подниматься.

— Уголь! — закричал Торн. — Дайте ему уголь!

Дженнингс моментально кинулся вперед, схватил кусок угля со стола и сунул его в тряущуюся руку. Колокола продолжали звонить, рука священника, дергаясь, чертила на столе корявые буквы, каждый раз вздрагивая при звуке колокола.

— Это какое-то слово, — возбужденно вскричал Дженнингс. — Ч... Е... Р...

Священник затрясся всем телом, пытаясь чертить дальше, боль и напряжение переполняли его, он раскрыл рот, и оттуда послышался какой-то звериный стон.

— Продолжайте же! — настаивал Торн.

— В... — читал Дженнингс. — Е... Т...

Неожиданно колокольный звон оборвался. Священник выронил уголь из судорожно сжатых пальцев, и голова его упала на спинку кресла. Измученные глаза уставились в небо, лицо было покрыто потом.

Все стояли в тишине, вглядываясь в слово, нацарапанное на столе.

— Червет?... — спросил Торн.

— Червет, — отозвался Дженнингс.

— Это по-итальянски?

Они обернулись к монаху, тоже смотревшему на слово.

— Вам это слово о чем-нибудь говорит? — спросил Торн.

— Черветери, — ответил монах. — Я думаю, что это Черветери.

— Что это? — спросил Дженнингс.

— Это старое кладбище. Этрусское. Кладбище ди Сантандже-ло.

Тело священника снова задрожало, он застонал, пытаясь что-то сказать, но потом внезапно затих.

Торн и Дженнингс посмотрели на монаха, тот покачал головой и произнес с отвращением:

— Черветери — это сплошные развалины. Остатки гробницы Течалка.

— Течалка? — переспросил Дженнингс.

— Этруссский дьяволобог. Они сами были почитателями дьявола. Место его захоронения считалось священным.

— Почему он написал это? — спросил Торн.

— Я не знаю.

— Где оно находится? — спросил Дженнингс.

— Там ничего нет, сеньор, кроме могил и... одичавших собак.

— Где оно? — нетерпеливо переспросил Дженнингс.

— Ваш шофер должен знать. Километров пятьдесят к северу от Рима.

Гроза из Рима перенеслась за город, сильный дождь замедлял их движение, особенно после того, как они свернули с главного шоссе на более старую дорогу, грязную и всю в рытвинах. Один раз машина застряла, въехав задним левым колесом в канаву, им всем пришлось выходить и толкать ее.

Приближалось утро, небо светлело. Дженнингс заморгал, пытаясь разглядеть, куда же они заехали. Постепенно до него дошло, что это уже Черветери. Перед ним возвышался железный забор, а за ним на фоне светлеющего неба виднелись силуэты надгробий.

Дженнингс вернулся к машине, открыл багажник, отыскал свой аппарат и зарядил новую пленку. Взгляд его упал на железный ломик, валявшийся в углу багажника среди промасленных тряпок. Дженнингс достал его, оглядел и заткнул за пояс, потом осторожно закрыл багажник и пошел в сторону ржавого железного забора. Земля была сырья, Дженнингс замерз и дрожал, двигаясь вдоль забора в поисках ворот. Но их не было. Проверив еще раз фотоаппарат, он влез с помощью дерева на забор, на секунду потерял равновесие и порвал пальто, неудачно приземлившись с другой стороны. Поправив камеру и поднявшись, Дженнингс направился в глубь кладбища. Небо становилось все светлей, и теперь он мог разглядеть вокруг могилы и разбитые статуи. Они были сделаны довольно искусно, хотя и подверглись сильному разрушению. Изуродованные каменные лица холодно и отрешенно взирали на снующих внизу грызунов.

Несмотря на заморозки, Дженнингс почувствовал, что вспотел. Он нервно оглядывался, продолжая идти дальше. Дженнингса не покидало ощущение, что за ним наблюдают. Пустые глаза статуй, казалось, следили за ним, когда он проходил мимо. Дженнингс остановился, чтобы успокоиться, и посмотрел вверх. Прямо перед ним высилась огромная фигура идола, уставившаяся на Дженнингса сверху вниз, лицо истукана застыло в гневе. У Дженнингса перехватило дыхание, выпученные глаза идола как будто требовали, чтобы он убирался отсюда. Заросший волосами лоб, мясистый нос, яростно открытый рот с толстыми губами. Дженнингс поборол в себе чувство страха, поднял аппарат и сделал три снимка со вспышкой, молнией освещившей каменное лицо идола...

Торн открыл глаза и обнаружил, что Дженнингс исчез. Он вышел из машины и увидел перед собой кладбище, разбитые статуи были освещены первыми лучами солнца.

— Дженнингс?!

Ответа не последовало. Торн подошел к забору и снова позвал Дженнингса. Вдали послышался звук. Торн схватился за скользкие прутья и с трудом перелез через забор.

— Дженнингс?..

Звуки затихли. Торн искал Дженнингса в лабиринте полураз-

рушенных статуй. Он медленно брел вперед. Ботинки хлюпали в грязи. Полуразваленная скульптура горголи вдруг выросла перед Торном, и ему стало не по себе. Кладбищенская тишина давила. Все вокруг, казалось, внезапно застыло. То же ощущение Торн испытывал и раньше. Тогда, в Пирфорде, он заметил два сверкающих глаза, следящих за домом. Торн остановился, решив, что и на этот раз за ним могут следить. Он осмотрел статую и заметил рядом большой крест, врытый в землю. Джереми замер. Откуда-то из-за куста послышался шум. Звук шагов быстро приближался. Торн бросился бежать, но ноги не слушались, и он остановился как вкопанный с расширившимися от ужаса глазами.

— Торн!

Это был Дженнингс. Задыхаясь, с диким взглядом, он прорвался сквозь кусты и быстро подошел к Торну, сжимая в руках железный ломик.

— Я нашел! — выпалил он.— Я нашел!

— Что нашел?

— Пошли! Пошли со мной!

Они двинулись вперед. Дженнингс легко прыгал через надгробия, Торн из последних сил пытался не отставать от него.

— Вот! Посмотри сюда! Это те самые! — воскликнул Дженнингс и остановился на пустой площадке около двух могил, вырытых рядом. В отличие от всех остальных эти могилы были выкопаны сравнительно недавно, одна из них была обычных размеров, другая — маленькая. Надгробия выглядели скромно: на них упоминались только даты и имена.

— Видите число? — возбужденно спросил Дженнингс.— Шестое июня. Шестое июня! Четыре года назад. Мать и ребёнок...

Торн медленно подошел к могилам и встал, глядя на холмики.

— Эти — единственно свежие на всем кладбище, — гордо заявил Дженнингс.— Другие настолько древние, что даже надписи не разберешь.

Торн не ответил. Он встал на колени и стряхнул с камней присохшую грязь, чтобы прочитать надписи.

— ...Мария Аведичи Сантойя... Младенец Сантойя... In Morte et in. Nate Amplexa rantur Generationes.

— Что это значит?

— Латынь.

— Что там написано?

— ...В смерти... и рождении... поколения объединяются.

— Вот так находка!

Дженнингс опустился на колени рядом с Торном и удивленно обнаружил, что его товарищ плачет. Торн, склонивши голову, рыдал. Дженнингс подождал, пока тот успокоится.

— Вот он,— простонал Торн.— Теперь я знаю. Здесь похоронен мой ребенок.

— И, возможно, женщина, родившая ребенка, которого вы сейчас воспитываете.

Торн посмотрел на Дженнингса.

— Мария Сантойя,— сказал Дженнингс, указывая на надгробия.— Здесь мать и ребенок.

Торн покачал головой, пытаясь вникнуть в смысл слов.

— Послушай,— сказал Дженнингс.— Мы ведь требовали, чтобы Спиллетто рассказал, где мать. Вот мать. А это, возможно, ваш ребенок.

— Но почему здесь? Почему в таком месте?

— Я не знаю.

— Почему в этом ужасном месте?!

Дженнингс посмотрел на Торна. Он сам ничего не понимал.

— Есть только один способ узнать. Главное, мы нашли их, теперь можно разузнать и остальное.

Он поднял лом и воткнул его глубоко в землю. Лом вошел по рукоятку и с глухим звуком остановился.

— Это не так сложно. Они всего где-то на фут под землей.

Он разрыхлил ломиком землю, а потом взялся разгребать ее руками.

— Ты не хочешь мне помочь? — спросил он Торна, и тот без особого желания принялся помогать онемевшими от холода пальцами.

Через полчаса, грязные, мокрые от пота, они очищали последний слой земли с бетонных плит. Закончив разгребать, Торн и Дженнингс уставились на гробовые плиты.

— Чувствуете запах? — спросил Дженнингс.

— Да.

— Наверное, все делалось в спешке, правила не соблюдались. Торн не отвечал, переживая страшные мучения.

— Какую сначала? — спросил Дженнингс.

— Может быть, не надо этого делать?

— Надо.

— Но это как-то не по-человечески.

— Если хотите, я позвоню шоферу.

Торн стиснул зубы и покачал головой.

— Тогда начнем,— сказал Дженнингс.— Сначала большую.

Дженнингс подсунул домкрат под плиту. Потом, используя его в качестве рычага, отодвинул крышку гроба ровно настолько, чтобы под нее можно было просунуть пальцы.

— Ну, давай, черт возьми! — закричал он, и Торн пришел на помощь. Руки его тряслись от напряжения, когда он вместе с Дженнингсом поднимал тяжелую крышку.

— Весит не меньше тонны! — промычал Дженнингс. Навалившись на плиту всем телом, им удалось приподнять ее и удерживать, пока глаза изучали темную яму.

— Боже мой! — вырвалось у Дженнингса.

В гробу лежал труп шакала.

Личинки и насекомые облепили его со всех сторон, ползая по останкам плоти и шкуры, каким-то образом еще сохранившейся на скелете.

Торн вздрогнул и отпрянул назад. Плита выскользнула из рук и с грохотом упала в склеп, разбившись на куски. Туча мух взмыла вверх. Дженнингс в ужасе кинулся к Торну, поскольз-

нулся в грязи и, схватив его, попытался увести подальше от склепа.

— Нет!!! — заорал Торн.

— Пошли!

— Нет! — продолжал орать Торн.— ВТОРУЮ!

— Для чего? Мы видели все, что нам было нужно.

— Нет, другую,— в отчаянии простонал Торн.— Может, там тоже зверь!

— Ну и что?

— Тогда, может быть, мой ребенок где-нибудь живет!

Дженнингс остановился под обезумевшим взглядом Торна и попытался ломом приподнять маленькую крышку. Торн подошел к нему, просунул под плиту пальцы. Через секунду она слетела, и лицо Торна исказилось от горя. В маленьком склепе лежали останки ребенка, его крошечный череп был разбит на кусочки.

— Голова...— всхлипывал Торн.

— ...Боже...

— Они убили его!

— Пошли отсюда.

— Они убили моего сына! — закричал Торн изо всех сил. Крышка упала, и оба посмотрели на нее в диком ужасе.

— Они убили его! — рыдал Торн.— Они убили моего сына!

Дженнингс поднял Торна на ноги и силой потащил его прочь. Но неожиданно он остановился, вздрогнув от страха.

— Торн, смотри.

Торн глянул туда, куда указывал Дженнингс, и увидел впереди голову черной немецкой овчарки. У нее были близко посаженные светящиеся глаза, из полуоткрытой пасти текла слюна. Где-то рядом послышался злобный рык. Торн и Дженнингс не двигались, зверь медленно вышел из-за кустов и наконец стал виден полностью. Он был тощий, весь в шрамах, на боку виднелась свежая рана. Соседние кусты зашевелились, и показалась еще одна собачья морда, серая и изуродованная. Потом появилась еще, и еще одна, все кладбище пришло в движение. Отовсюду возникали темные силуэты, теперь их было не меньше десятка — бешеных голодных псов. С морд стекала слюна.

Дженнингс и Торн замерли на месте, боясь даже взглянуть друг на друга. Воющая стая держалась пока на расстоянии.

— Они чуют... трупы...— прошептал Дженнингс.— Надо идти... назад.

Сдерживая дыхание, они начали медленно отступать, в тот же момент собаки двинулись на них, низко пригнув головы и как бы выслеживая добычу. Торн споткнулся и невольно вскрикнул. Дженнингс тут же вцепился в него и, пытаясь сохранить спокойствие, прошептал:

— Не бежать... им нужны... только трупы...

Но, миновав вскрытые могилы, собаки не остановились, следя глазами только за живыми людьми. Расстояние между людьми и собаками сокращалось, звери подходили все ближе. Торн остыпался и ухватился за Дженнингса, обоих колотила дрожь. Они продолжали отступать, спины их уперлись во что-то твердое.

Вздрогнув, Торн оглянулся. Они стояли у подножия каменного идола, это была западня. Собаки окружили людей, перекрыв все доступы к побегу. На какое-то мгновение и хищники, и их жертвы, стоявшие в кругу оскаленных пасть, застыли. Солнце уже взошло и красноватым отблеском освещало надгробия. Собаки замерли, ожидая сигнала броситься вперед. Шли секунды, люди теснее и теснее прижимались друг к другу, собаки пригнулись, готовясь к прыжку.

Испустив боевой клич, Дженнингс замахнулся ломиком на вожака стаи, и собаки тут же кинулись на них. Дженнингса сбили с ног, звери подбирались к его шее. Репортер катался по земле, ремни фотоаппарата крепко прилегали к его шее, а звери сновали рядом, пытаясь добраться до его плоти. Беспомощно отбиваясь от них, Дженнингс почувствовал у подбородка камень. Захрустели линзы в собачьих зубах, звери рвали ее, пытаясь отодрать от Дженнингса.

Торну удалось отбежать к забору, в этот момент огромная собака бросилась на него, и челюсти ее сомкнулись на его спине. Джереми упал на колени, и тут другие собаки кинулись на него. Щелкали челюсти, брызгала слюна. Торн отбивался, пытаясь подползти поближе к забору. Он сжался в комок, чувствуя на себе яростные, жалящие укусы. На какую-то долю секунды ему удалось разглядеть Дженнингса, который катался по земле, и собак, пытавшихся в бешенстве добраться до его шеи. Торн не чувствовал боли, в нем кипело одно лишь страстное желание — убежать! Джереми встал на четвереньки — собачьи клыки впивались ему в спину — и так продолжал подбираться к забору. Рука его нащупала что-то холодное. Это был ломик, брошенный Дженнингсом. Он сжал его и ткнул назад, туда, где были звери. Раздался страшный визг, и он понял, что попал. Кровь хлынула ему на плечи, и, обернувшись, Торн увидел, что у одного пса выбит глаз. Это придало ему храбрости, он начал бить ломом направо и налево и вскоре смог подняться на ноги.

Дженнингс откатился к дереву. Собаки разъяренно продолжали наскакивать на него, разрывая зубами ремни фотоаппарата. Во время схватки внезапно сработала вспышка, и звери в ужасе отскочили. Торн был уже на ногах и яростно размахивал ломом, отступая к заграждению. Дженнингс, пятаясь, пробирался к забору, выставив перед собой вспышку, и всякий раз, когда собаки оказывались слишком близко, нажимал на кнопку. В конце концов ему удалось добраться до забора.

Он быстро пошел к Торну, вспышкой сдерживая собак. Торн влез на забор и там, неудачно повернувшись, напоролся подмышкой на один из ржавых прутьев. Вскрикнув от боли, он дернулся, подался вперед и рухнул на землю с другой стороны забора. Дженнингс последовал за ним, время от времени нажимая на спуск вспышки, а потом, спрыгивая с забора, швырнулся камеру в собак. Торн шатался. Дженнингс с трудом дотащил его до машины. Шофер, оцепенев от ужаса, смотрел на них. Он попытался завести автомобиль, но ключей на месте не оказалось. Тогда он выскоцил из машины, помог Дженнингсу усадить Торна на заднее сиденье. Дженнингс подбежал к багажнику,

чтобы достать ключ зажигания, и тут его взгляд опять упал на собак. Они кидались на забор и выли от злобы, одна из них пыталась перескочить заграждение и почти преодолела его, но один из прутьев проткнул ей горло, кровь из раны хлынула фонтаном. Остальные собаки, почуяв кровь, бросились на нее и заживо разорвали на части.

Машина рванула вперед. Захлопала незакрытая дверь, шофер со страхом смотрел в зеркальце на своих пассажиров. Их тела составляли в этот момент единое месиво из крови и лохмотьев. Тесно прижавшись друг к другу, Торн и Дженнингс рыдали, как дети.

### Глава одиннадцатая

Шофер такси подвез их к отделению неотложной помощи, вытащил из машины их багаж и уехал. Торн был настолько потрясен случившимся, что на все вопросы отвечал Дженнингс. Он назвал выдуманные имена и изложил историю, которая вполне удовлетворила больничные власти. Он рассказал, что они изрядно выпили и забрели в частные владения, где висели предупредительные таблички об охране территории сторожевыми собаками. Это было в пригороде, но где именно, он не помнил, там был высокий железный забор, с которого свалился его приятель. Им обработали раны, сделали уколы против столбняка и велели вернуться через неделю на анализ крови, чтобы проверить, подействовало ли лекарство. Они переоделись и ушли, потом отыскали небольшую гостиницу и подписались вымышленными именами. Консьерж потребовал, чтобы они заплатили деньги вперед, и после этого выдал им ключ.

Торн принял тут же звонить по телефону и, пока Дженнингс метался по комнате, безуспешно пытался соединиться с Катериной.

— Они могли бы убить тебя, но не убили,— испуганно говорил Дженнингс.— Они преследовали МЕНЯ, пытались добраться до моей шеи.

Торн поднял руку, умоляя Дженнингса замолчать, сквозь рубашку просвечивало темное кровавое пятно.

— Ты слышишь, что я тебе говорю, Торн?! Им нужна была моя шея!!

— Это больница? Да, она в палате 4А.

— Боже мой, если бы не моя камера...— продолжал Дженнингс.

— Подожди, пожалуйста, у меня срочный звонок.

— Мы должны что-то делать, Торн. Слышишь?

Торн обернулся к Дженнингсу и взгляделся в раны на его шее.

— Найди мне город Мегтидо,— тихо сказал он.

— Как, черт возьми, я его найду?

— Не знаю. Сходи в библиотеку.

— В библиотеку? Иисусе Христе!

— Алло?— сказал Торн в трубку.— Катерина?

Катерина, чувствуя озабоченность в голосе мужа, приподнялась и села на больничной кровати. Она держала трубку здоровой рукой, другая, загипсованная, лежала неподвижно.

- С тобой все в порядке? — спросил Торн в отчаянии.  
— Да. А с тобой?  
— Да. Я просто хотел убедиться...  
— Где ты?  
— Я в Риме. В гостинице «Император».  
— Что случилось?  
— Ничего.  
— Ты не болен?  
— Нет, я боялся...  
— Возвращайся, Джерри.  
— Я не могу сейчас вернуться.  
— Мне страшно.  
— Тебе нечего бояться.  
— Я звонила домой, но там никто не подходит.

Торн посмотрел на Дженнингса. Тот переодевал рубашку и собирался уходить.

— Джерри, — сказала Катерина. — Я думаю, мне лучше пойти домой.

— Оставайся на месте, — попросил Торн.

— Я волнуюсь за Дэмьена.

— И близко к дому не подходи, Катерина!

— Мне НАДО...

— Послушай меня, Катерина. Не подходи к дому!

Катерина замолчала, встревоженная его тоном.

— Если ты боишься за меня, — сказала она, — то не стоит. Я разговаривала с психиатром и начала кое-что понимать. Это не из-за Дэмьена, это все из-за меня самой.

— Катерина...

— Послушай меня. Я сейчас принимаю литиум. Это против депрессии. И мне помогает. Я хочу домой. Я хочу, чтобы ты вернулся. — Она замолчала, голос ее вдруг охрип. — И я хочу, чтобы все было хорошо.

— Кто дал тебе это лекарство? — спросил Торн.

— Доктор Гриер.

— Оставайся в больнице, Катерина. Не уходи, пока я не вернусь.

— Я хочу домой, Джерри.

— Ради Бога...

— Я чувствую себя хорошо!

— Нет, не хорошо!

— Не беспокойся.

— Катерина!

— Я пойду домой, Джерри.

— Нет! Я вернусь.

— Когда?

— Утром.

— А вдруг дома что-то случилось? Я туда звонила...

— Да, дома ЧТО-ТО случилось, Катерина.

Она снова замолчала, от этих слов ее затрясло.

— Джерри? — спросила она тихо. — Что случилось?

— Не по телефону. — умоляюще произнес Торн.

— Что случилось? Что произошло у нас дома?

— Жди меня на месте. Не уходи из больницы. Я буду дома утром и все тебе объясню.

— Пожалуйста, не надо...

— Это не из-за ТЕБЯ, Катерина. С тобой все в порядке.

— Что ты говоришь?

Дженнингс взглянул на Торна и мрачно покачал головой.

— Джерри?

— Это не наш ребенок, Катерина. Дэмьен принадлежит не нам.

— Что?

— Не ходи домой,— предупредил Торн.— Жди меня.

Он повесил трубку. Потрясенная Катерина сидела, не шевелясь. Вдруг она почувствовала, что панический ужас отпускает ее. Лекарство действовало, и голова у нее была ясная. Катерина сняла трубку и набрала домашний номер. Ответа не было. Тогда она повернулась к селектору над кроватью и с усилием нажала кнопку.

— Да, мэм? — раздался голос.

— Мне нужно уйти из больницы. Я должна с кем-нибудь переговорить по этому поводу?

— Вы должны получить разрешение от врача.

— Найдите мне его, пожалуйста.

— Попробую.

Голос замолчал, и Катерина снова очутилась в полной тишине. Няня принесла обед, но у нее не было аппетита. На подносе стояло маленькое блюдечко с желе. Катерина случайно дотронулась до него, оно показалось ей прохладным и подействовало успокаивающее, она медленно растерла его между пальцев.

За сотни миль от больницы, на кладбище Черветери все было спокойно, небо хмурилось, безмолвие прерывалось лишь тихим звуком, будто кто-то копал землю. У разрытых могил две собаки скребли землю, механически работая лапами и заваливая открытые склепы. Земля мягко падала на останки шакала и ребенка. Позади на железном заборе безжизненно висело изуродованное тело. Один из псов запрокинул морду и издал низкий скорбный вой. Этот собачий стон зазвучал по всему кладбищу, постепенно набирая силу, и другие звери присоединились к нему, пока все вокруг не наполнилось их нестройным завывающим хором.

В палате Катерина снова протянула руку к селектору, в ее голосе звучало нетерпение.

— Кто-нибудь есть? — спросила она.

— Вас слушают, — ответил голос.

— Я просила найти мне врача.

— Боюсь, что это невозможно. Он в операционной.

На лице Катерины отразилось раздражение.

— Вы не могли бы прийти сюда и помочь мне?

— Я пошлю кого-нибудь.

— Побыстрее, пожалуйста.

— Постараюсь.

Катерина с трудом встала с постели и подошла к шкафу, где сразу же отыскала свою одежду. Платье было с запахом и легко

надевалось, но ночная рубашка была застегнута у шеи, и, взглянув на себя в зеркало, Катерина подумала, что с загипсованной рукой ей вряд ли удастся снять рубашку, сшитую из пурпурной газовой материи. Она потянула за пуговицы, они расстегнулись сами собой, и Катерина, пытаясь снять рубашку через голову, совершенно запуталась в этой пурпурной ловушке. Она сражалась с газовой материей, все туже закручивая ее вокруг шеи, и чувствовала, как паника охватывает ее. Внезапно открылась дверь, и женщина вздохнула с облегчением — наконец-то подоспела помощь.

— Эй, — пройзнесла Катерина, пытаясь разглядеть через тонкий пурпур вошедшего.

Но ответа не последовало.

— Здесь есть кто-нибудь?

И тут она застыла.

Перед ней стояла миссис Бэйлок. Ее лицо было сильно напудрено, на губах алой помадой была нарисована страшная улыбка. Катерина молча наблюдала, как миссис Бэйлок медленно прошла мимо нее, распахнула окно и посмотрела вниз на улицу.

— Вы не могли бы помочь мне... — прошептала Катерина. — По-моему... я немного запуталась.

Миссис Бэйлок только ухмыльнулась, от этой усмешки Катерина похолодела.

— Прекрасный день, Катерина, — сказала женщина. — Хороший денек для полета.

Она шагнула вперед, крепко схватив Катерину за ночную рубашку.

— Прошу вас, — взмолилась Катерина.

Их глаза встретились в последний раз.

— Вы такая красивая, — сказала миссис Бэйлок. — Пополните же нам воздушный поцелуй.

Она навалилась на Катерину и, придавив ее к подоконнику, мощными руками вытихнула в окно.

К приемному отделению подъехала машина «скорой помощи» с вращающейся красной лампочкой и тудящей сиреной. В этот момент из окна седьмого этажа выпала женщина, лицо ее было закутано в пурпурный газ. Она падала очень долго, но никто не успел заметить ее, пока она не ударила о крышу «скорой помощи». Потом тело ее еще раз дернулось и успокоилось навсегда.

В ту же минуту на Черветерском кладбище наступила тишина. Могилы были засыпаны, и собаки убрались в кусты...

Торн ужасно устал и сразу же заснул. Его разбудил телефонный звонок. Было темно, Дженнингс еще не вернулся.

— Да? — сонным голосом ответил Торн.

Звонил доктор Беккер, тревожный голос выдавал его состояние.

— Я рад, что застал вас, — сказал он. — Название гостиницы было записано на ночном столике у Катерины, но я с трудом разыскал...

— Что случилось?

— Катерина выбросилась из окна больницы.

— ...Что? — еле выговорил Торн.

— Она умерла, мистер Торн. Мы сделали все возможное. Комок застрял в горле у Торна, он не мог говорить.

— Мы не знаем точно, что произошло. Она хотела уйти из больницы, а потом мы нашли ее на улице.

— Она умерла? — с трудом произнес Торн.

— Сразу же. У нее был разбит череп.

Торн застонал и прижал трубку к груди.

— Мистер Торн...

Но Торн уже повесил трубку. Он плакал.

В полночь вернулся Дженнингс, его неуклюжая фигура была сгорблена от усталости. Он взглянул на Торна, лежащего на кровати.

— Торн?

— Да, — прошептал Торн.

— Я ходил в библиотеки, в автоклуб, а потом справился в Королевском Географическом Обществе.

Торн не ответил, и Дженнингс тяжело опустился на кровать. Он увидел, что кровавое пятно на рубашке Торна увеличилось.

— Я выяснил насчет города Мегтидо. Название взято от слова «Армагеддон». «Конец света».

— Где он? — безучастно спросил Торн.

— Боюсь, что это порядка пятидесяти футов под землей. В пригороде Иерусалима. Там сейчас идут раскопки. По-моему, от какого-то американского университета.

Ответа не последовало, Дженнингс лег и расслабился. Он выглядел очень усталым.

— Я хочу поехать туда, — шепотом сказал Торн.

Дженнингс кивнул и протяжно вздохнул.

— Если бы вспомнить имя старика...

— Бугенгаген.

— Бугенгаген?

— Да. И стихи я тоже вспомнил.

Дженнингс недоуменно взглянул на Торна.

— Имя человека, с которым вы должны были встретиться, — Бугенгаген?

— Да.

— Бугенгаген — это человек, изгоняющий из людей дьявола, он жил в семнадцатом веке и упоминался в одной из наших книг.

— Именно это имя, — безучастно ответил Торн. — Я вспомнил все, что он говорил.

— Аллилуия! — выдохнул Дженнингс.

— Когда еврей в Сион придет... — почти шепотом начал Торн. — И небеса пошлют комету... И Рим познает свой восход... Мы больше не увидим света».

Дженнингс напряженно слушал его в темноте. Потом, завороженный безжизненным тоном Торна, он понял, что в нем что-то резко и бесповоротно изменилось.

— «Из Вечного Моря Зверь тот восстанет... — продолжал Торн. — И войско придет, чтобы биться до смерти... Убьет брата брат и свой меч не оставит... Пока не умолкнет последнее сердце».

Он замолчал. Дженнингс переждал, пока стихнет сирена полицейской машины, проезжающей внизу, и подошел к окну.

— Что случилось? — спросил он.

— Катерина погибла, — безразлично ответил Торн. — И я хочу, чтобы ребенок тоже умер.

Они прислушивались к звукам на улице, так и не уснув до самого рассвета. В восемь часов Торн позвонил по номеру EI-AI и заказал билеты на дневной рейс в Израиль.

Торн часто путешествовал, но в Израиле никогда не был. Все его знания об этой стране сводились к новостям из газет, а также к его недавним поискам цитат из Библии. Он удивился, что Израиль оказался современным государством. Страна, существовавшая еще во времена фараонов, но родившаяся вновь только сейчас, в век асфальта и бетона, была похожа на огромный кусок штукатурки, брошенный посреди сухой пустыни. Это небо было когда-то свидетелем бегства евреев из Египта; теперь же его сплошь и рядом протыкали высотные здания и гостиницы.

Отовсюду доносился шум строек. Огромные краны наступали, словно механические слоны, перенося грузы в своих «хоботах». Город как будто стремился побыстрее разрастись во всех направлениях. Асфальт во многих местах был разбит, и дороги, выстроенные совсем недавно, но уже устаревшие, теперь заново перестраивались. Повсюду висели объявления, зазывающие на экскурсии по Священной Земле. У полиции тоже хватало работы: они проверяли чемоданы и сумки, выискивая потенциальных диверсантов.

Торна и Дженнингса задержали в аэропорту, их ссадины и синяки вызывали подозрение. Торн предъявил свой гражданский паспорт, чтобы скрыть принадлежность к американской администрации.

На такси они добрались до гостиницы Хилтон, потом в магазине мужской одежды купили себе легкие костюмы. Жара усиливалась. Пот проникал в рану Торна и вызывал сильную боль. Рана до сих пор кровоточила, и Дженнингс, заметив это, предложил Торну обратиться к врачу. Но Торн горел единственным желанием — найти старика Бугенгагена.

Торн и Дженнингс направились в сторону рынка, спрашивая всех подряд, слышал ли кто имя «Бугенгаген». Это имя никому ничего не говорило, и они продолжали поиски. Торн был на краю отчаяния, он еле передвигал ноги. Дженнингс, напротив, был бодр и носился по городу, забегая в магазины, на фабрики, проверяя телефонные справочники и даже один раз побывав в полиции.

— Возможно, он сменил фамилию, — со вздохом сказал Дженнингс на следующее утро, когда они с Торном уселись на лавочке в парке. — Может быть, теперь он Джордж Буген. Или Джим Гаген. Или Иззи Гагенберг.

Через день они переехали в Иерусалим и сняли там комнату в небольшой гостинице. Снова и снова пронирались они сквозь толпы людей в поисках того, кто хотя бы раз слышал это странное имя. Но все было тщетно.

— Похоже, пора сдаваться,— сказал Дженнингс, выглядывая из окна гостиничной веранды.

В комнате было жарко. Торн, обливаясь потом, лежал на кровати.

— Если здесь всего один-единственный Бугенгаген, то у нас нет ни малейшего шанса его отыскать. А пока мы стоим перед фактом, что его вообще не существует.

Он прошел в комнату и стал искать сигареты.

— Черт побери, этот маленький священник все время кололся морфием, а мы все его слова принимаем на веру. Слава Богу, он не посоветовал тебе отправиться на Луну, иначе бы мы уже отморозили себе задницы.

Он тяжело опустился на кровать и посмотрел на Торна.

— Я не понимаю, Торн. Еще несколько дней назад я был уверен в необходимости наших поисков, а теперь все это кажется мне безумием.

Торн кивнул и, сморщившись от боли, сел на кровати. Он снял бинт, и Дженнингс скривился, увидев открытую рану.

— Эта штуковина мне не нравится.

— Все нормально.

— Похоже, начинается заражение.

— Все нормально,— повторил Торн.

— Почему ты не хочешь, чтобы я нашел врача?

— Найди лучше старика,— огрызнулся Торн.— Он единственный, кого я хочу найти.

Дженнингс собрался ответить Торну, но его остановил тихий стук в двери. Распахнув ее, он увидел нищего. Это был невысокий пожилой араб, голый до пояса. Араб улыбнулся, обнажив при этом золотой зуб, и чересчур вежливо раскланялся.

— Что вы хотите? — спросил Дженнингс.

— Это вы ищете старика?

Дженнингс и Торн быстро переглянулись.

— Какого старика? — осторожно спросил Дженнингс.

— Мне сказали на рынке, что вы ищете старика.

— Да, мы ищем одного человека.

— Я вас поведу к нему.

Торн с трудом поднялся и многозначительно посмотрел на Дженнингса.

— Быстрей-быстрей,— подгонял их араб.— Он говорит, что вы пришли как раз вовремя.

Они отправились пешком по переулкам Иерусалима. Шли быстро и молча. Маленький араб указывал им путь. Он был удивительно проворен для своего возраста. Торн и Дженнингс пытались не упустить его из виду, а он ловко нырял в кривые закоулки и подворотни. Араб улыбался, как Чеширский кот, когда Торн с Дженнингсом, задыхаясь, наконец-то догнали его. Очевидно, здесь был конец их путешествию, но перед ними высилась кирпичная стена. Дженнингс и Торн внезапно пришли к мысли, что их просто надули.

— Вниз,— сказал араб, приподнял решетку и жестом указал, куда им лезть.

— Это еще что за чертовщина? — возмутился Дженнингс.

— Живо-живо.— Араб снова ухмыльнулся.

Торн и Дженнингс переглянулись и молча повиновались. Араб спустился вслед за ними. Внизу было темно, и араб зажег факел. Он торопливо семенил впереди, увлекая их все глубже и глубже в подземелье. При слабом свете путешественники успели разглядеть скользкую лестницу из грубого камня. Рядом проходила канализационная система, и все вокруг было покрыто скользкими коричневатыми растениями, которые отвратительно пахли и мешали идти. Они спускались медленно и осторожно, но, когда ступени кончились, араб снова трусцой припустился вперед. Торн с Дженнингсом попытались бежать, но не могли при этом удержаться на скользких камнях. Араб удалялся, и его факел стал похож на крошечную светящуюся точку. Спутников окружал полумрак, туннель впереди сужался, и они с трудом умещались в узком проходе. Этот туннель походил на часть ирригационной системы, и Дженнингс вдруг подумал, что они, возможно, как раз путешествуют по тем самым «сложным и запутанным системам каналов», о которых говорили археологи в пустыне. Они пробирались наугад, окруженные темнотой и камнями. Шаги гулко отдавались в напряженной тишине. Светящаяся точка факела исчезла окончательно, и, замедлив шаг, они вдруг осознали свое одиночество, ощущая взаимное присутствие лишь по тяжелому дыханию.

— Дженнингс,— задыхаясь, произнес Торн.

— Я здесь.

— Я не вижу...

— Этот негодяй...

— Подожди меня.

— Нет смысла,— отрезал Дженнингс.— Мы уперлись в стену.

Торн двинулся вперед, дотронулся до Дженнингса и коснулся стены. Тупик. Араб исчез.

— Он не мог уйти другим путем,— пробормотал Дженнингс.— Я уверен.

Он зажег спичку, и она осветила небольшое пространство вокруг них, похожее на склеп: каменный свод почти придавил их, влажные трещины кишили тараканами.

— Это что — сточная труба? — спросил Торн.

— Здесь сырьо,— заметил Дженнингс.— Какого черта здесь сырь?

Спичка потухла, и они снова очутились в темноте.

— Это сухая пустыня. Откуда, черт побери, здесь вода?

— Наверное, где-то должен быть подземный источник... — размышлял Торн.

— Или резервуары. Я не удивлюсь, если узнаю, что мы находимся рядом с водопроводом.

Торн не отвечал, он не мог справиться со своим дыханием.

— Пойдем,— выговорил он.

— Через стену?

— Назад. Давай выбираться отсюда.

Они возвращались на ощупь, скользя ладонями по влажным каменным стенам. Путешественники еле передвигались в темноте, и каждый дюйм выматывал похлестче целой мили. Вне-

запно рука Дженнингса повисла в воздухе: он ощутил пустое пространство.

— Торн?

Дженнингс взял Торна за руку и притянул поближе к себе. Рядом с ними под прямым углом к туннелю обнаружился проход. Очевидно, они не заметили его в темноте и проскочили.

— Там внизу свет,— прошептал Торн.

— Наверное, это наш остроумный проводник.

Торн и Дженнингс медленно плелись по проходу. Через некоторое время он влился в пещеру; пол здесь был выложен булыжником, стены не доходили до потолка, а были похожи скорей на зазубрины. Они разглядели, что пространство впереди освещалось не одним факелом. Это был светлый каменный зал, в центре которого стояли два человека, наблюдавшие за ними и, очевидно, ожидавшие их появления. Один из них был тот самый нищий араб. Его затушеванный факел валялся поодаль. Вторым был пожилой человек, одетый в шорты цвета хаки и рубашку с короткими рукавами. Он был серъезен, лицо его выглядело изможденным, рубашка, пропитанная потом, прилипала к телу. Позади старика Торн и Дженнингс разглядели деревянный стол, на котором валялись кипы бумаг и свитков.

Дженнингс и Торн вошли внутрь пещеры. Они стояли молча, шурясь от неожиданно яркого света. Зал освещался десятками висящих светильников, на стенах обозначились тусклые контуры зданий, лестниц, впаянных, казалось, прямо в скалы. Под ногами была простая земля, но в некоторых местах явно проглядывались фрагменты булыжной мостовой, свидетельствующие, что в древности здесь пролегала улица.

— Двести драхм,— сказал араб и протянул руку

— Вы можете заплатить ему? — спросил человек в шортах и покал плечами, как бы извиняясь.

— Вы... — Дженнингс запнулся, потому что старик утвердительно кивнул.— Вы... Бугенгаген?

— Да.

Дженнингс подозрительно взглянул на него.

— Бугенгаген — это человек, изгонявший дьявола и живший в семнадцатом веке.

— Это было девять поколений назад.

— Но вы...

— Я последний,— снова перебил старик,— и самый из них неудачливый.

Он прошел за свой стол и с трудом сел за него. Свет от лампы озарил его лицо: оно было настолько бледным, что казалось прозрачным, сквозь кожу просвечивали вены.

— Что это за место? — спросил Торн.

— Джезриль, город Меггиго,— безучастно ответил тот.— Моя крепость, моя тюрьма. Здесь начиналось Христианство.

— Ваша тюрьма?.. — спросил Торн.

— С точки зрения географии это и есть сердце Христианства. Поэтому, покуда я нахожусь здесь, ничто не может причинить мне вреда.

Он замолчал, ожидая, видимо, их реакции. На лицах Торна и Дженнингса отразилось крайнее удивление.

— Вы могли бы заплатить моему гонцу? — спросил старик.

Торн сунул руку в карман и вынул оттуда несколько банкнот. Араб взял деньги и тут же исчез, оставив их втроем. В комнате было холодно и сырьо. Торн и Дженнингс, оглядываясь вокруг, дрожали.

— По этой деревенской площади, — продолжал Бугенгаген, — когда-то маршировали римские войска, а старики, сидя на каменных скамейках, судачили о рождении Христа. То, о чем они говорили, было записано здесь, — указал он рукой на стены, — в этом здании, очень тщательно, и собрано в книги, которые известны нам под названием Библии.

Дженнингс уставился на темную пещеру позади них, и Бугенгаген перехватил его взгляд.

— Здесь находится весь город. Тридцать пять километров с севера на юг. Большая часть пока проходима. Там, наверху, идут раскопки, и от этого случаются обвалы. Когда они сюда докопаются, здесь останутся одни обломки. Но это так похоже на человека, считающего, что все видимое должно быть на поверхности.

Торн и Дженнингс стояли молча, пытаясь понять все увиденное и услышанное здесь.

— А тот маленький священник? — спросил Бугенгаген. — Он уже умер?

Торн повернулся к нему, с ужасом вспомнив о Тассоне.

— Да, — ответил он.

— Тогда садитесь, мистер Торн. Нам лучше сразу приступить к делу.

Торн не шевелился, старик перевел взгляд на Дженнингса.

— Вы извините нас. Но это должен знать только мистер Торн.

— В этом деле мы с ним ВМЕСТЕ, — ответил Дженнингс.

— Боюсь, что нет.

— Это я привез его сюда.

— Я уверен, что он благодарен вам за это.

— Торн...

— Делай, как он говорит, — отрезал Торн.

Мышцы на лице Дженнингса напряглись от обиды.

— И где же, черт побери, мне его ждать?

— Возьмите одну лампу, — сказал Бугенгаген.

Дженнингсу пришлось повиноваться. Бросив злобный взгляд на Торна, он взял с полки лампу и направился в темноту.

Последовала неловкая пауза. Старик поднялся из-за стола и подождал, пока стихнут удаляющиеся шаги Дженнингса.

— Вы доверяете ему? — спросил Бугенгаген.

— Да.

— Не доверяйте никому.

Он повернулся и стал рыться в шкафу, выбурленном в скале, потом достал оттуда матерчатый сверток.

— А должен ли я доверять вам? — спросил Торн.

Старик вернулся к столу и развернул сверток. Там лежало семь стилетов, холодно блеснувших на свету. Они были очень

узкими, рукоятки были вырезаны из слоновой кости, каждая из них являла собой фигуру распятого Христа.

— Доверяйте вот им,— сказал он.— Только они могут спасти вас.

В пещерах стояла гробовая тишина. Дженнингс, пригнувшись, пробирался вперед. Прямо над ним нависал неровный скалистый потолок. Дженнингс со страхом взглядался в пространство, освещенное лампой, которую он нес в руках. Он видел стены зданий, заключенные в камни, замурованные в скалы скелеты, казалось, они вот-вот выступят из сточных каменных канав, которые когда-то окаймляли древнюю улицу. Дженнингс брел дальше, и коридор впереди начал сужаться...

Огни в квадратном зале уже померкли, Торн с ужасом глядел на стол. Семь стилетов были разложены в форме креста.

— Это надо сделать на священной земле,— шептал старик.— На церковной земле. А его кровью надо оросить божий алтарь.

Слова отчетливо слышались в тишине, но старик внимательно наблюдал за Торном, чтобы убедиться, правильно ли тот его понимает.

— Каждый нож нужно вонзать по рукоять. До ног Христа на каждой ручке ножа... и так, чтобы они составили фигуру креста.— Первый кинжал — самый важный. Он отнимает физическую жизнь и образует центр креста. Следующие ножи отнимают духовную жизнь, и втыкать их надо в таком порядке...

Он замолчал и опять взглянул на Торна.

— Вы должны быть безжалостны,— объяснил он.— Это не сын человека.

Торн попытался заговорить. Когда голос вернулся к нему, он был каким-то чужим, грубым и срывался, выдавая состояние Джереми.

— А вдруг вы ошибаетесь? — спросил он.— А вдруг он не...

— Ошибки быть не может.

— Должно быть какое-то доказательство...

— У него есть родимое пятно. Три шестерки.

У Торна перехватило дыхание.

— Нет,— прошептал он.

— Так сказано в Библии, этим знаком отмечены все апостолы Сатаны.

— Но у него нет знака.

— Псалом Двенадцатый, стих шестой. «Имеющий разум число сосчитает Презренного Зверя, несущего смерть. Число с человеком всегда совпадает. Шесть сотен оно, шесть десятков и шесть».

— Я говорю вам, у него нет этого знака.

— Знак ДОЛЖЕН быть.

— Я КУПАЛ его. Я знаю каждый сантиметр его кожи.

— Его не видно на теле. Вы найдете знак под волосами. Ведь мальчик родился с пышными волосами, не так ли?

Торн вспомнил тот момент, когда впервые увидел ребенка. Он вспомнил свое удивление при виде густых и длинных волос.

— Сбрейте волосы,— посоветовал Бугенгаген.— И вы увидите под ними этот знак.

Торн закрыл глаза и уронил голову на руки.

— С самого начала вы должны исключить малейшее колебание. Вы сомневаетесь в моих словах?

— Я не знаю,— вздохнув, ответил Торн.

Старик откинулся назад и посмотрел на него.

— Неродившийся ребенок был убит, как предсказано. Ваша жена погибла.

— Это ребенок!

— Вам нужны еще доказательства?

— Да.

— Тогда ждите их,— сказал Бугенгаген.— Но знайте, что вам необходима вера. Иначе вы не справитесь. Если вы будете сомневаться, они одолеют вас

— Они?

— Вы говорили, что в доме есть еще женщина. Служанка, которая ухаживает за ребенком.

— Миссис Бэйлок...

Старик кивнул, будто вспомнив что-то.

— Ее настоящее имя Баалок. Это регент дьявола. Она костьми ляжет, чтобы не дать вам свершить необходимое.

Они замолчали. В пещере послышались шаги. Из темноты медленно появился Дженнингс, на лице у него было написано крайнее удивление.

— ...Тысячи скелетов...— прошептал он.

— Семь тысяч,— уточнил Бугенгаген.

— Что здесь случилось?

— Меггио — место Армагеддона. Конец света.

Дженнингс шагнул вперед, его до сих пор трясло от увиденного.

— Вы хотите сказать... Армагеддон уже был?

— О да,— ответил старик.— И будет еще много раз.

С этими словами он передал сверток с ножами Торну.

Торн попытался отказаться, но Бугенгаген буквально всучил ему пакет. Глаза их встретились.

— Я жил очень долго,— сказал Бугенгаген срывающимся голосом.— И я молюсь, чтобы жизнь моя не оказалась напрасной.

Торн последовал вслед за Дженнингсом в темноту, туда, откуда они пришли. Он лишь раз оглянулся, но комната уже исчезла. Огней не было видно, и все растаяло в темноте.

По Иерусалиму они шли молча. Торн крепко сжимал в руке сверток. Настроение у него было подавленное, он шел, как автомат, не обращая ни на что внимания, глядя прямо перед собой. Дженнингс задал ему несколько вопросов, но Торн не ответил. Они вошли в узкий переулок, где шло строительство, и фотограф подошел к Торну вплотную, пытаясь перекричать шум работающих кранов.

— Послушай! Я только хочу узнать, что сказал старик. У меня ведь тоже есть на это право, так или нет?

Но Торн упрямо шел вперед, ускоряя шаг, словно пытался отделаться от попутчика.

— Торн! Я хочу знать, что он сказал!

Дженнингс кинулся вперед и схватил Торна за рукав.

— Эй! Я не посторонний наблюдатель! Ведь это Я НАШЕЛ его!

Торн остановился и взглянул Дженнингсу прямо в глаза.

— Да. Верно. Это ты нашел ВСЕХ НАС.

— Что ты хочешь сказать?

— Ты уверяешь, что все это правда. Ты вбивал мне этот бред в голову!..

— Подожди минутку...

— Ты наснимал все эти фотографии!

— Погоди...

— Ты привез меня сюда!

— Что с тобой?

— А я даже не знаю, кто ТЫ на самом деле!

Торн вырвался из рук Дженнингса, но Дженнингс снова привлек его к себе.

— А теперь подожди минутку и выслушай, что я скажу.

— Я уже достаточно слушал.

— Я пытаюсь помочь!

— Хватит!

Они смотрели в упор друг на друга. Торна трясло от ярости.

— Подумать только, что я мог на самом деле поверить в это! ПОВЕРИТЬ!

— Торн...

— Этот твой старик всего-навсего очередной факир, торгующий дешевыми ножами!

— О чём ты говоришь?

Торн взмахнул свертком.

— Вот здесь НОЖИ! ОРУЖИЕ! Он хочет, чтобы я заколол его! Он считает, что я должен убить этого ребенка!

— Это не ребенок!

— Это ребенок!

— Ради бога, какое еще доказательство...

— За кого ты меня принимаешь?

— Успокойся...

— Нет! — закричал Торн. — Я не буду этого делать! Я больше в этом неучаствую! Убить ребенка? За КОГО же вы меня все принимаете?!

Торн в ярости размахнулся и далеко зашвырнул сверток. Он ударился о стену дома и исчез. Дженнингс замолчал и повернулся, чтобы уйти, но Торн остановил его.

— Дженнингс...

— Сэр?

— Я не хочу больше вас видеть. Я больше в этом неучаствую.

Стиснув зубы, Дженнингс быстро перешел улицу, пытаясь отыскать у стены пожар. Земля была усеяна мусором. В воздухе раздавался рев работающих кранов и машин. Дженнингс ногами разбрасывал мусор в надежде отыскать маленький сверток. Он заметил его возле грязного ведра и наклонился, чтобы взять сверток в руки, не обратив внимания на стрелу крана, двигавшуюся прямо над его головой. Она словно споткнулась на долю

секунды, и от толчка из огромной оконной рамы вылетело стекло.

Стекло сработало с точностью гильотины.

Оно отсекло голову Дженнингса как раз по воротнику и разлетелось на миллион осколков.

Торн услышал звон, потом крики, увидел людей, бросившихся на ту улицу, где скрылся Дженнингс. Он пошел за ними и проторкался сквозь толпу.

На земле лежало обезглавленное тело, кровь толчками вытекала из горла, как будто сердце еще продолжало работать. Женщина, стоящая на балконе прямо над ними, истерически хохотала и указывала вниз. В мусорном ведре лежала отрубленная голова и смотрела в небо невидящими глазами.

Пересилив себя, Торн прошел вперед и поднял сверток с ножами, который лежал около безжизненной руки Дженнингса. Не видя ничего перед собой, он выбрался из переулка и побрел по направлению к гостинице.

### Глава двенадцатая

Обратный перелет в Лондон занял восемь часов. Торн сидел и тупо молчал — мозг его отказывался работать. Не было больше ни страха, ни горя, ни колебаний — только бездумное осознание того, что необходимо совершить.

В Лондонском аэропорту стюардесса вернула ему пакет с ножами, который был изъят у него при посадке в целях безопасности. Она заметила, что они очень красивые, и спросила Торна, где ему удалось приобрести ножи. Он пробормотал что-то несвязное, запихнул их в карман пиджака и прошел мимо. Было уже за полночь, аэропорт закрывался — это был последний рейс, разрешенный по стандартам допустимой видимости. Город погрузился в густой туман, и даже таксисты отказывались везти его в Пирфорд. Торн почувствовал, что его обволакивает тоскливо одиночество.

Наконец он сел в такси, машина, казалось, зависла в тумане. Это почему-то помогало Торну не думать о том, что ждет его впереди. Прошлое ушло навсегда, а предсказать будущее было невозможно. Был только настоящий момент, сиюминутность, которая длилась целую вечность. Машина въехала в Пирфорд. Торн вылез из такси и остановился, в оцепенении глядя на дом, где еще совсем недавно они так счастливо и безмятежно жили, и Торна начали одолевать видения прошлых событий. Он видел в саду Катерину, играющую с Дэмьеном, смеющуюся Чессу, гостей на веранде. Внезапно видения оставили Джереми, и он почувствовал, как колотится его собственное сердце и пульсирует в жилах кровь.

Собрав все свое мужество, Торн двинулся к входной двери и ледяными руками вставил ключ в замочную скважину. Сзади донесся какой-то звук. Ему показалось, что кто-то выскочил из Пирфордского леса. У Джереми перехватило дыхание; войдя в дом, он захлопнул дверь и немного постоял в темноте, прислушиваясь к звукам в доме. Миновав гостиную, Торн добрался до кухни, открыл дверь в гараж, подошел к «мерседесу» и вставил

ключ в замок зажигания. Бак был заполнен на четверть, этого бензина было вполне достаточно, чтобы добраться до Лондона. Затем он вернулся назад в кухню, закрыл дверь и прислушался.

На кухне все было как прежде, будто хозяин вернулся домой после рабочего дня. На плите в термостате стоял горшочек с кашей на утро. Это потрясло Торна.

Подойдя к стойке, Джереми достал сверток и выложил содержимое перед собой. Все семь ножей были на месте. Разглядывая их сверху, Торн увидел в отточенных клинках свои глаза — холодные и решительные. Джереми снова завернул ножи и дрожащими руками засунул сверток в карман пальто.

Он вошел в кладовую и направился вверх по узкой деревянной лестнице.

Торн дошел до площадки, ведущей на второй этаж, и вступил в темный коридор. Смятение, овладевшее им перед смертью Дженнингса, опять проникло в душу. Он молился о том, чтобы Дэмьена не оказалось в детской, чтобы миссис Бэйлок успела увезти его из этого дома. Но Джереми уже слышал их дыхание, и его сердце сильно забилось от отчаяния. Храп женщины заглушал легкое дыхание ребенка. Раньше у Торна часто возникало ощущение, что в этих комнатах во время сна их жизни как бы объединялись. Он прижался к стене и прислушался, затем быстро пошел в свою комнату и зажег свет.

Постель была разобрана, как будто его ждали. Он подошел к кровати и тяжело опустился на нее. Взгляд его упал на фотографию, стоящую в рамке на ночном столике. Какими молодыми и счастливыми выглядели Джереми и Катерина. Торн лег и почувствовал, что глаза его полны слез.

Внизу часы пробили два раза. Торн поднялся, прошел в ванную, включил свет и в ужасе отшатнулся. Тумбочка Катерины была перевернута, вся ее косметика была разбросана вокруг, как будто здесь происходила дикая оргия. Баночки с кремами и пудрой были раздавлены на полу, стены исчерканы губной помадой, унитаз забит расческами и бигуди. Вся картина говорила о страшном гневе, и, хотя Торн ничего не мог понять, он ясно видел, что гнев этот был направлен против Катерины. Устроить этот вертеп мог только взрослый человек: баночки раздавлены страшной силой, а следы от губной помады слишком высоко. Здесь орудовал сумасшедший. Но сумасшедший, переполненный чувством ненависти. Торн оцепенел и взглянул на свое отражение в разбитом зеркале. Черты лица заострились еще сильнее, стали жестче. Джереми нагнулся и открыл шкафчик. Он рылся в нем до тех пор, пока не отыскал электрическую бритву. Торн нажал на выключатель, и бритва зажужжала в его руке. Когда он ее выключил, ему вдруг опять показалось, что он слышит шум. Скрип половиц над головой. Торн замер и, затаив дыхание, прислушался. Звук больше не повторился.

На верхней тубе Торна выступили капельки пота, он смахнул их дрожащей рукой, потом вышел из ванной и, скрипя половицами, направился в темный коридор. Спальня ребенка находилась за комнатой миссис Бэйлок, и, проходя мимо ее двери, Торн остановился. Дверь была приоткрыта, и Джереми увидел жен-

щину. Она лежала на спине, одна рука свесилась вниз, ногти были намазаны ярко-красным лаком, лицо миссис Бэйлок было снова размалевано, как у шлюхи. Она хрюпала, и ее громадный живот то поднимался, то опускался.

Дрожащими пальцами Торн прикрыл дверь и заставил себя идти дальше к спальному приемного сына. Дэмьен спал, лицо его было спокойным и невинным. Торн отвел глаза, напрягся, глубоко вздохнул и двинулся вперед, крепко скимая бритву в руке; бритва зажужжала, и звук разлился по комнате. Ребенок спал. Торн нагнулся, и руки у него задрожали. Он поднял жужжащую бритву, щелчком выдвинул из корпуса приспособление для стрижки и коснулся шевелюры ребенка. Прядь волос упала рядом, и Торн передернуло: белый скальп был похож на отвратительный шрам в гуще темных волос. Он снова прижал бритву, и она пробежала по голове еще раз, оставляя за собой обнаженную кожу. Волосы мягко падали на подушку. Ребенок застонал во сне и зашевелился. Задыхаясь от страха и отчаяния, Торн заработал бритвой еще быстрее; еще несколько прядей упало с головы, веки ребенка затрепетали, он начал двигать головой, инстинктивно пытаясь увернуться. Дэмьен просыпался. Торн почувствовал прилив панического страха и начал прижимать его голову к подушке. Испуганный ребенок попробовал высвободиться, но Торн прижал его еще сильнее и застонал от напряжения, продолжая орудовать бритвой и состригая все больше и больше волос. Теперь Дэмьен вертелся и бился у него в руках, его приглушенный крик становился все отчаянней. Но Торн продолжал удерживать его. Почти весь череп мальчика был обнажен. Торн задыхался, пытаясь удержать ребенка, тельце которого дергалось и изгибалось — мальчику тоже не хватало воздуха. Торн провел бритвой по затылку Дэмьена. Вот оно. Родимое пятно. Похоже на бугорок. Бритва врезалась в него, оно кровоточило, но тем не менее родинка отчетливо виднелась на фоне белой кожи. Шестерки! Три шестерки, расположенные в форме листка клевера, хвостиками соединялись в центре.

Торн отшатнулся. Мальчик плакал и задыхался, в ужасе глядя на отца. Его руки ощупывали бритую голову. Увидев свои ладони в крови, Дэмьен закричал. Он бросился к отцу и разрыдался. Торн оцепенел, заметив беспомощный страх в его глазах. Он расплакался сам, видя, как окровавленные ручки ребенка тянутся к нему, моля о помощи.

— Дэмьен!

В этот момент дверь позади него распахнулась, и в комнату ворвалась миссис Бэйлок. Ее красные губы были широко растянуты в яростном крике. Торн хотел схватить ребенка, но женщина отсхихнула его, и он рухнул у двери. Дэмьен взвизгнул от страха и спрыгнул с кровати. Женщина навалилась на Торна, а он пытался схватить ее за руки, которыми она старалась вцепиться ему в глаза и горло. Вес женщины был слишком велик для него, ее мясистые руки уже нащупали его шею и начали скиматься на горле так, что глаза полезли у него из орбит. Торн в иступлении вывернулся, но миссис Бэйлок успела вцепиться зубами в его руку. Совсем рядом с ними со столика

упала лампа, Торн дотянулся до нее и изо всех сил ударил миссис Бэйлок по голове. Основание лампы раскололось, и женщина бессильно упала на бок. Торн ударили ее еще раз. Череп треснул, и кровь потекла по напудренным белым щекам. Торн вскочил на ноги, шатаясь, подошел к стене, у которой стоял ребенок, с ужасом наблюдавший за происходящим, схватил его, вытолкнул из комнаты, протащил по коридору к черному ходу и захлопнул за собой дверь. Дэмьеен ухватился за дверную ручку, и Торн с силой вывернул ему руки. Тогда ребенок вцепился ногтями ему в лицо, и они чуть не скатились с лестницы вниз. Пытаясь сохранить равновесие, мальчик схватил электропровод. Торн изо всех сил пытался разжать его руки, и тут их ударило током...

Очнувшись на полу в кладовой, Торн встал на четвереньки и огляделся. Ребенок лежал рядом без чувств. Торн попробовал поднять его, но это ему не удалось. Он зашатался, свалился на бок и вдруг услышал скрип открываемой кухонной двери. Торн с трудом повернул голову. Перед ним стояла миссис Бэйлок. С ее головы струилась кровь. Она ухватила Торна за пальто и повалила. В отчаянии он попытался удержаться за ящики шкафа, но они вывалились, их содержимое рассыпалось по полу. Женщина навалилась на него и тянула окровавленные руки к его горлу. Лицо миссис Бэйлок было покрыто розовой кашей из пудры и крови. Рот был приоткрыт, она рычала от напряжения.

Торн задыхался. Он видел безумные глаза миссис Бэйлок и приближающееся страшное лицо; ее губы вот-вот должны были коснуться его губ. Вокруг валялась кухонная утварь. Торн беспомощно шарил руками по полу. Вдруг он нашупал две вилки, зажал их в руках и с силой вонзил миссис Бэйлок в виски. Она взвизгнула и отпрянула. Торн с трудом поднялся на ноги. Женщина с воем металась по комнате, тщетно пытаясь вытащить вилки, торчащие у нее из головы.

Торн кинулся в кладовую, поднял ребенка, который еще не пришел в себя, и рванулся через дверь кухни к гаражу. Дверца машины была открыта, но неожиданно рядом с собой он услышал грозное рычание. Черная фигура мелькнула в воздухе и сбила его с ног ударом в плечо. Торн повалился прямо в машину. Громадный пес яростно рвал его клыками за руку, стараясь вытащить из машины. Ребенок лежал рядом на сиденье. Свободной рукой Торн изо всех сил ударил собаку в морду. Закапала кровь, пес взвыл от боли, выпустил руку. Дверца захлопнулась.

Торн судорожно искал ключи, а снаружи бесился пес. Он прыгал на капот и с огромной силой бил о ветровое стекло. Стекло тревожно дребезжало. Дрожащей рукой Торн нашупал, наконец, ключи. Ребенок пошевелился и застонал, а пес все продолжал кидаться на стекло, которое уже дало трещину. Торн глянул вперед и застыл в ужасе. Он увидел миссис Бэйлок. Она была жива и, собрав остатки сил, ковыляла к машине, волоча огромную кувалду. Торн включил зажигание, и в тот момент, когда машина тронулась, миссис Бэйлок швырнула кувалду, пробившую в ветровом стекле порядочную дыру. Тут же в отвер-

стии показалась собачья голова. Пес щелкал зубами, из пасти текла слюна. Торн откинулся на спинку сиденья и скривился, а собачьи зубы клацали в нескольких дюймах от него. Одной рукой Торн достал из кармана пальто стилет и изо всей силы вонзил его в собачью голову между глазами. Стилет ушел по самую рукоятку. Пасть раскрылась, собака издала рык — скорее львиный, чем собачий, — рванулась назад, сползла с капота и заплясала на задних лапах. Предсмертный вой огласил гараж. Торн переключил заднюю скорость и рванул машину. Миссис Бэйлок, шатаясь, стояла у окна и в ужасе размазывала по лицу кровавую кашу.

— Моя крошка... — всхлипывала она. — Моя крошка...

Машину тронулась с места, женщина выскочила на дорогу и в отчаянии пыталась преградить ей путь. Торн мог объехать женщину, но не сделал этого. Стиснув зубы, он дал полный газ, на мгновение разглядев в свете фар ее отчаянное лицо. Машину врезалась в миссис Бэйлок, и она подлетела вверх. Джереми взглянул в зеркальце заднего обзора. Он увидел тело женщины — безжизненную громадную массу, застывшую на асфальте, на лужайке в бледном свете луны лежал пес, дергаясь в предсмертных конвульсиях.

Торн снова дал полный ход и выехал на дорогу, обогнув каменный угол дома, машина понеслась в сторону шоссе. Рядом лежал ребенок, все еще находившийся без сознания. Торн выскочил на шоссе, ведущее в Лондон. Приближался рассвет, туман начал рассеиваться. Машина Торна неслась по пустому шоссе, и мотор гудел от нарастающей скорости.

Мальчик начал приходить в себя, попевелился и застонал от боли. Торн переключил все внимание на дорогу, пытаясь не думать, что ребенок находится с ним рядом.

— Это не человеческий ребенок! — шептал он сквозь стиснутые зубы. — Это не человеческий ребенок!

Машину мчалась вперед, а мальчик, так и не очнувшись окончательно, продолжал стонать.

Поворот на дорогу оказался слишком крутым, Торну не удалось справиться с машиной, его занесло, и Дэмьян свалился на пол. Теперь они направлялись к Церкви Всех Святых. Торн уже видел впереди ее возвышающиеся шпиши, но от резкого торможения мальчик пришел в себя и смотрел на Джереми испуганными глазами.

— Не смотри на меня... — прорычал Торн.

— Я ушибся... — заплакал ребенок.

— Не смотри на меня!

Ребенок послушно уставился на пол. Шины заскрипели; они уже подъезжали к церкви, когда Торн, взглянув наверх, поразился, как неожиданно потемнело над ними небо. Мрак стутился, казалось, ночь возвратилась на землю. Почерневший небосвод стремительно опускался, и вот уже его прорезали молнии, вонзившиеся в землю.

— Папа... — хныкал Дэмьян.

— Замолчи!

— Меня тошнит.

Ребенка начало рвать. Торн громко закричал, чтобы не слышать Дэмьена. Разразился жуткий ливень, ветер швырял уличный мусор прямо в лобовое стекло. Торн затормозил у церкви и распахнул дверцу. Вцепившись Дэмьену в воротник пижамы, он протащил его через сиденье. Мальчик начал кричать и пинаться, сильно ударяя Торна ногами в живот, пока не отбросил его от автомобиля. Торн снова кинул его к машине, схватил ребенка за ногу и вытащил его наружу. Дэмьен вывернулся и бросился бежать. Торн кинулся за ним, ухватил за пижаму и швырнул на асфальт. В небе прогремел гром, молния полоснула совсем рядом с машиной, а Дэмьен завергся на земле, пытаясь выплыть из рук Торна. Джереми навалился на ребенка, зажал его и крепко обхватил за грудь. Дэмьен продолжал пинаться и вопить, пока Торн волок его к церкви.

На противоположной стороне улицы распахнулось окно, и какой-то мужчина громко окликнул Торна, но Джереми пребирался сквозь сплошную дождевую завесу, ни на кого не обращая внимания. Лицо его было похоже на страшную маску. Ветер бил Торна в лицо, валил с ног, и он еле-еле продирался вперед. Ребенок извивался в его руках, вцепился зубами в шею, Торн кричал от боли, но продолжал идти. Сквозь гром послышалась вой полицейской сирены, а высунувшийся мужчина отчаянно кричал Торну, чтобы тот отпустил ребенка. Но Джереми ничего не слышал, он приближался к порогу церкви. Ветер взревел, и Дэмьен вцепился руками Торну в лицо. Один палец попал в глаз, Джереми упал на колени и почти вслепую потащил ребенка к высоким ступенькам. Молния рванулась вниз и ударила совсем рядом, но Торн был уже на пороге и собирая последние силы, втаскивая ребенка по ступеням.

Дэмьен продолжал остервенело царапать ногтями лицо и моттить Торна ногами в живот. Нечеловеческим усилием удалось Джереми повалить ребенка, он сунул руку в карман и стал искать ножи. Дэмьен дико заорал и выбил пакет у него из рук. Стилеты рассыпались по ступенькам. Торн схватил один из них, пытаясь другой рукой удержать Дэмьена. Еще раз взвыла полицейская сирена и замолчала. Торн взмахнул стилетом.

— Стой! — С улицы донесся голос, и из дождя вынырнули двое полицейских. Один из них на ходу вытаскивал револьвер из кобуры. Торн глянул на них, потом на ребенка, и, закричав от ярости, стремительно опустил вниз руку со стилетом. Вскрик ребенка и пистолетный выстрел раздались одновременно.

Наступила тишина — полицейские словно окаменели. Торн застыл на ступеньках, тело ребенка распростерлось перед ним. Потом распахнулись двери церкви и оттуда вышел священник, глядя сквозь завесу дождя. Он в ужасе уставился на страшную неподвижную картину.

### Глава тринадцатая

Сообщение о трагедии разнеслось по всему Лондону. Рассказ принимал причудливые формы, подробности противоречили одна другой, и сорок восемь часов репортеры осаждали приемную в городской больнице, пытаясь разузнать у врачей, что же

все-таки произошло. На следующее утро в одной из комнат собрались врачи, и, прежде чем они сделали заявление, телекамеры уже назойливо жужжали. Специальный хирург Грут Шуур, прилетевший из южноафриканской больницы, выступил с заключительным сообщением.

— Я хочу объяснить, что смерть наступила в восемь часов тридцать минут утра. Мы сделали все, чтобы спасти его жизнь, но ранение не оставляло надежды на выздоровление.

Горестные вздохи пронеслись по толпе репортеров, и врач дождался, пока они стихнут.

— Больше сообщений не будет. Служба пройдет в Церкви Всех Святых. Затем тело будет перевезено в Соединенные Штаты для захоронения.

...В Нью-Йорке на катафалке, за которым выстроилась длинная очередь лимузинов, стояли рядом два гроба. Впереди на мотоцикле ехал полицейский. Когда похоронная процессия добиралась до кладбища, там уже собралось много народа. Охрана из отдела безопасности сдерживала любопытных, а официальная группа подошла к свежевырытым могилам. Священник в длинной белой рясе стоял у колонны с американским флагом. Зазвучала музыка, и гробы поставили перед священником. Рабочий проверял механизмы, с помощью которых гробы должны были опустить в могилы.

— Мы скорбим сегодня,— нараспев начал священник,— о безвременной кончине двоих из нас. В путешествие навстречу вечности они взяли с собой и частицу наших душ. Давайте же скорбеть не о них, нашедших свой покой, а о нас самих. Какой бы короткой ни была их жизнь, эта жизнь закончена, и мы должны быть им благодарны за то короткое время, которое они разделили с нами.

Мы говорим сегодня «прощай» сыну большого человека, который был рожден в богатстве и благополучии, имевшему все земные радости, о которых только может мечтать человек. Но на его примере мы видим, что одних земных благ недостаточно...

Снаружи у ворот кладбища толпились репортеры и щелкали фотоаппаратами. Небольшая группа людей стояла поодаль и обсуждала происшедшие события.

— Как все это дико, а?

— Ничего дикого. В первый раз, что ли, людей убивают на улице?

— А как тот парень, который видел их на лестнице? Тот самый, что вызвал полицию?

— Он был пьян. У него брали кровь на анализ и выяснили, что он изрядно принял.

— Не знаю,— отозвался третий.— Странно как-то. Что они могли делать у церкви в такой час?

— У посла умерла жена; возможно, они приходили молиться.

— Какой идиот будет совершать преступление на ступенях церкви?

— Да полно таких. Поверь мне.

— Не понимаю,— вмешался третий.— Похоже, что от нас многое скрывают.

— Это не в первый раз.

— И не в последний.

Два гроба медленно опускались в могилы, и священник простирая к небу руки. Среди скорбящих выделялась стоявшая в стороне пара. Она была окружена телохранителями и переодетыми полицейскими, которые тайком осматривали толпу. Статный мужчина имел величественный вид, рядом с ним стояла женщина в черном и держала за руку четырехлетнего мальчика. Его вторая рука была забинтована и висела у груди.

— Провожая Джереми и Катерину Торн в мир вечного покоя,— продолжал священник,— мы обращаем свой взор к их ребенку Дэмьену, последнему из живых в этой великой семье. Ребенок сейчас переходит в другую семью. Пусть он процветает в любви, которую получит от своих новых родителей, пусть он примет наследство отца и станет вождем всего человечества.

Дэмьен стоял рядом и наблюдал, как опускаются гробы. Он вцепился в руку женщины.

— И наконец, пустя тебе, Дэмьен Торн,— выразительно простирая к небу руки, говорил священник,— Бог дарует свое благословение и милость... Пусть дарует Христос тебе свою вечную любовь.

Из глубин безоблачного неба послышался отдаленный рокот грома, и толпа начала понемногу расходиться. Новые родители Дэмьена терпеливо ждали, пока все разойдутся, потом подошли к могилам, и ребенок склонился над ними, шепча молитву. Люди оглянулись и застыли на месте. Многие из них разрыдались. Наконец ребенок поднялся и медленно отошел со своими приемными родителями от могил. Телохранители окружили их со всех сторон и проводили до президентского лимузина.

Четверо полицейских на мотоциклах сопровождали автомобиль сквозь толпу репортеров, снимавших ребенка. Дэмьен сидел на заднем сиденье лимузина и пристально глядел на них сквозь заднее стекло. Однако все фотографии оказались испорченными. На них явно выделялось пятно, видимо, эмульсионный брак на пленке. Пятно своими размытыми контурами напоминало дымку.

Эта дымка неумолимо зависала над президентским лимузином.

**Перевод с английского  
АЛЕКСАНДРА ЯЧМЕНЕВА и МАРИИ ПАВЛОВОЙ.**

# ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

Г Не хочу быть мошенником...

Г В роковом треугольнике

Г Тронуло меня письмо Славы, который поделился с нами своими мыслями в № 20 за прошлый год.

Я противник всякой спекуляции, но когда вижу, что хорошо живут у нас не честные труженики, а паразиты всяких сортов, грабящие государство далеко не на копейки, спрашиваю себя: «А чем Слава хуже?» Тем, что нет у него дяди — ministra или партийного секретаря? Он ведь тоже вкусно есть хочет!

У меня есть мечта: забросить подальше свой красный диплом инженера, который ничего не дает, и организовать мини-ферму: четыре-пять коров в личной собственности, а молоко сдавать государству! Я получу от работы радость, больше денег, хотя это будет нелегкий труд. Конечно, спекулянтом быть легче, тем более что вся наша административно-командная система способствует несправедливой оплате труда. Но если я не хочу и не могу быть мошенником, то почему, ежедневно добросовестно работая, я не могу выбраться из нужды? Почему можно мало платить за тяжелый труд, а партийным работникам повышать зарплату? У них производительность труда повысилась?

Квалификация стала выше?

Так станет ли реальностью моя мечта? Не знаю, это не только от меня зависит. Хочется, чтобы наш человек был сыт духовно да и просто сыт. Чтобы люди желали друг другу только добра!

**СЕРГЕЙ КОЛОМЫЦЕВ,**

**пгт Козулька**

**Красноярского края**

Г Толкнуло меня на это письмо предательство близкого человека: хочется поделиться с кем-нибудь своим горем.

Познакомилась со своим будущим мужем чуть более двух лет назад. Он освободился из заключения, я разошлась с мужем. У меня трое детей. У него сын — жена его погибла несколько лет назад. Я не собиралась замуж, но эта женская жадность... Думала: мальчик остался без матери, а сам он и жену потерял, и срок отсидел — памучился в жизни, теперь будет беречь то, что есть. Так и он говорил, а я верила. Думала, что его сыну, пусть не матерью, но хорошей мачехой смогу стать. А он о моих детях будет заботиться.

Стали жить одной семьей. Вначале действительно было все нормально, но потом Нико-

лай стал потихоньку попивать, менять места работы. Мне бы задуматься над его выходками. Но я все ждала, вдруг опомнится. Он настоял на том, чтобы мы расписались. Стал, правда, пить намного меньше, не бегал с одного места работы на другое. В шестером мы жили в маленькой квартире. Решили взять ссуду на покупку дома. Так как я проработала десять лет на почте, то ссуду взяла на себя. Нашли большой дом со всеми удобствами, с огородом и садом. Мечтали иметь свое подсобное хозяйство — семьято большая. Дом был оценен в 11126 рублей. Такую ссуду я и взяла. Оформили документы. И тут я узнала, что опять стану мамой. Но как я не хотела этого ребенка! Муж же очень хотел дочь. У нас ведь было три сына и дочка. Да и я в душе-то хотела еще одну дочку.

Весной посадили огород, муж и дети старались беречь меня. Но ближе к декретному отпуску заметила, что Николай стал меньше уделять мне внимания. Часто уходил из дома, задерживался на работе. Мне говорил, что подрабатывает: мол, скоро будем сидеть на одной зарплате.

Я верила. А он нашел другую женщину. Как-то прибежал с работы, говорит, что уезжает на несколько дней в командировку. А на другой день я узнала, что он уехал с той женщиной, с которой встречался. Все вокруг видели, давно знали, и никто их не остановил, зато когда я пришла к нему на работу, мне стали давать советы, даже подсказали адрес, где она снимала квартиру. Как я дошла до дома, не помню. Все было как во сне. Первой мыслью было покончить

с собой. Но вокруг ходили дети. Они, оказывается, уже давно все знали, но молчали, боялись рассстроить меня. Не было сил что-либо делать, только одна мысль мучила: как он мог? После прожитых лет, после цветов, что он дарил мне, после всех слов. Думала, что это чья-то злая шутка, какое-то недоразумение.

И вот они вернулись. Увидев их вместе, подумала, что они растеряются, смутятся, но ничего подобного. Она мне сказала: «Ну и что, что ты беременная, ну и что, если тебе скоро рожать? Понравился он мне, вот я и увела его. А ты выходи замуж или сходись с первым мужем, тебе ведь еще надо за дом выплачивать!» А он молча улыбался. Жить не хотелось, но надо было жить для детей. Они старались не отходить от меня, помогали, пытались отвлечь меня от моих мыслей. Мне казалось, что своим предательством он из меня душу вынул. А мне скоро рожать. Он мне был нужен, как воздух, и я каждую минуту ждала, что дверь откроется, он войдет и скажет: «Прости меня и пойми. Я буду с тобой, с детьми и никуда от вас не уйду. Гони не гони, я останусь с вами». Ждала я зря. Их видели счастливыми, веселыми. Как мне было больно это слушать! И я тайком от детей бегала к их дому, боясь, что меня кто-нибудь увидит. Но его я больше не встречала, детям говорила, что иду погулять перед сном. Но дети скорее всего догадывались, куда я хожу, и ждали меня, не ложась спать. Страшные дни ожидания и надежды потянулись для меня. Да и дети ждали его возвращения. И он пришел. Упал на колени, стал просить,

чтоб простила его ради детей, ради нашей будущей доченьки. «Я буду жить с вами, я не могу без вас, я сам не знаю, как все это получилось...» Пробыл он с нами два дня. И два дня та женщина бегала к нам, не давала покоя. Говорила, что любит его, что он мечта всей ее жизни, что она якобы ждет ребенка от него, что отравится, если он не вернется. Я не выдержала и сказала ему: «Нам ты нужен, даже очень, но я не могу так, решай, с кем тебе останаться». Я была уверена, что он останется с нами. Мне он ответил: «Куда я от вас уйду? Я остаюсь с вами». Но это была ложь. Врагу такого пережить не пожелаешь. У меня сильно поднялось давление, появились отеки. На третий день рано утром опять пришла она. Я не выдержала, стала кричать, но она мне сказала: «Замолчи, я за Колиными вещами». Тут подошел он и говорит: «Я передумал, я остаюсь с ней. Дай мне вещи и домовую книгу, я выпишу из дома». Я думала, что умру, что не выдержит сердце. Мне стало плохо. Они уехали... Я чуть живая легла в роддом, а сама ждала, может, он все-таки приедет. Тем более что получила от него письмо и телеграмму: он обещал приехать. Но ждала я зря. Во время родов потеряла сознание, мне сделали кесарево сечение. Девочка погибла, я чудом осталась жива. Чужие люди давали кровь, врачи до последнего боролись за мою жизнь. Приходили друзья, знакомые, дети. Он не приехал. Надо было жить, хотя и не утихала боль по утешенной дочери. Ведь девочку ждали все. Из роддома забрали меня дети. Вскоре Игорю, его сыну, пришла повестка в суд. Он, оказывается, связался

с компанией, лазили по квартирам. Стала я бегать в милицию, по адвокатам. Но ничего не помогло, его посадили. Был суд, была я, но не было с нами отца мальчика. Я не выдержала, написала ему письмо. Про дочь, что погибла, про сына, которого посадили, про то, что сама чуть не умерла. Но он мне ответил: «Не пиши мне. Дети у тебя есть, дом есть. Что тебе еще надо?»

А как жить дальше? Своим предательством он отнял у меня силы, веру в людей.

В. БАБИНА,  
Актюбинск

Пишу именно вам, потому что журнал называется «Смена». И, хотя слово это имеет не одно значение, думаю, что издание однозначно является глашатаем нашей смены, молодежи, которой жить после нас, думать, творить, руководить...

Я мать двух сыновей и бабушка трех внуков. Вся моя смена — мужчины двух поколений. Нетрудно догадаться, что пик моей жизни и творчества (я научный работник, кандидат наук, занимаюсь международной экономикой) пришелся на расцвет так называемого застойного времени. Примерно то же, что и у нас, я видела и в соцстранах, где неоднократно бывала в командировках. И, хотя там я видела жизнь несколько лучшую, чем у нас, уже тогда чувствовала ложь, бюрократический нажим, разницу в жизненном уровне различных слоев населения, нежизнеспособность многих позиций СЭВа и так далее.

Но это сейчас общезвестно. Я же хочу напомнить, как невероятно сложно было воспиты-

вать сыновей, убеждать их в том, в чем не была убеждена сама, прививать им определенные духовные ценности, отвечать на их не всегда простые вопросы.

И вот первое поколение моей смены теперь взрослые, умные, критичные, умеющие анализировать и многое понять мужчины. И если старший сын уже успел встать на ноги после долгого полунищенского состояния в качестве студента, отца двух детей, затем младшего научного сотрудника, в течение многих лет влажащего с семьей жалкое существование на свои 130 рублей (хотя окончил Физтех с красным дипломом), то младшему сыну (разница между ними 10 лет) приходится во много раз труднее. Ему выпало на долю становиться на ноги в период нашей перестройки.

Скажите, какая смена может вырасти даже из хорошего, крепкого парня, если он, поступив после службы в армии в медицинский институт, живет с женой и восьмимесячным ребенком на 75 рублей в месяц (40 рублей стипендия плюс 35 рублей пособие на ребенка до 1 года)? Если молодая семья ютится в комнате 13,7 кв. м., в коммунальной двухкомнатной квартире, а в другую комнату вместо одной соседки сейчас по обмену вселяется такая же молодая семья с пятимесячным ребенком? По инструкции это, вероятно, не возбраняется, а по-человечески? Чего стоят все слова о заботе о человеке, о детях, о стремлении обеспечить к двухтысячному году каждую семью отдельной квартирой? Не распадутся ли эти молодые семьи? Будут ли здоровыми их дети?

Так вот и растят нашу сме-

ну наши равнодушные бюрократы, воспитывая в молодых отчаяние, беспробудную нужду, всяческое отсутствие веры в справедливость, ненависть к бесправному положению. И придет нам смена — нищая, ущемленная во всех правах, ощащающая себя никем перед вышестоящими и вышесидящими, песчинкой перед непробиваемыми инструкциями...

**Н. К. СТРАХОВА,  
ветеран труда,  
член КПСС с 1957 года**

Г Прочитала статью «Жизнь по талонам» в № 19 и подумала: «Какие же вы, москвичи (киевляне, рижане и т. д.), счастливые люди!

Для вас придумали какую-то «распродажу» дефицитных товаров, о которой нам, не проживающим в столицах, приходится только мечтать...»

Моя семья и многие наши знакомые, живущие только на зарплату, давно забыли, что такая государственная цена обуви, нижнего белья, парфюмерии, косметики и многого другого.

Переплатил вдвое — значит, повезло, а в основном — в трех- или четырехкратном размере. И переплачиваешь, ведь не будешь ходить по снегу босыми ногами, мы пока еще не «снежные люди».

Вот и посудите, кто из нас находится в лучшем положении.

И самое печальное в том, что я не верю в улучшение условий нашей жизни.

**ОЛЬГА ПОПОВА,  
г. Дружковка  
Донецкой области**

# ЖЕНСОВЕТ

Все чисто женские ансамбли возглавляются, как правило, мужчинами. «Женсовет» не исключение. За тремя довольно изящными силуэтами скрывается организатор коллектива композитор Харитон Витебский.

Именно он в 1988 году создал женское трио. На нашей эстраде, рассуждал Харитон, есть солисты, дуэты и даже целые группы, состоящие из представительниц прекрасного пола, а вот трио нет. Решено было заполнить этот пробел.

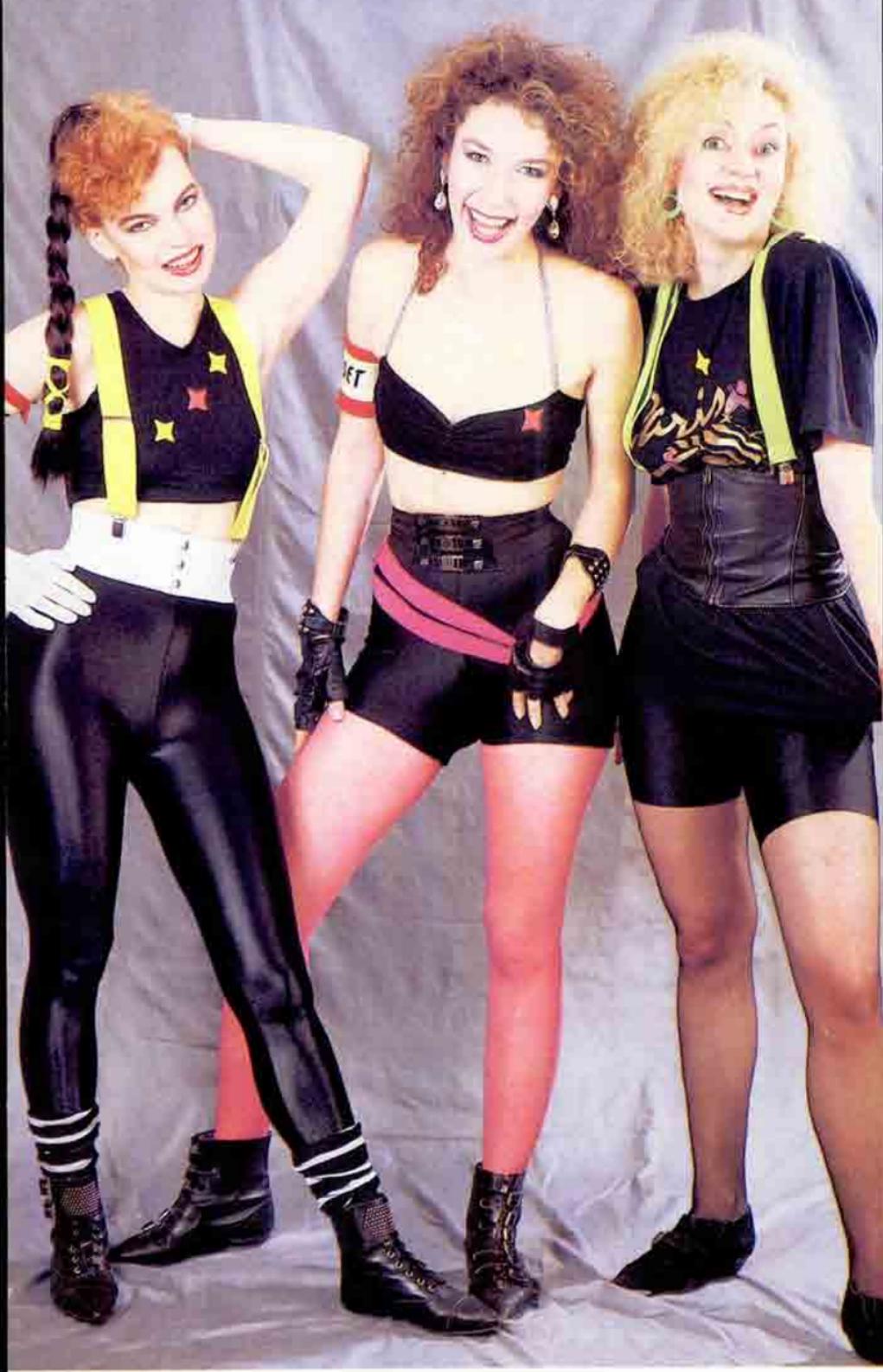
Сверхзадача этой вокально-танцевальной группы, считает Витебский, — поднять уровень диско-течной музыки, ибо «плантации бело-розовых роз» уже порядком надоели. Название группы вполне соответствует содержанию песен, так как Женсовет — это именно та организация, которая ни за что не отвечает и ни на что серьезно не влияет...

Поэтому для группы очень важно удерживаться на грани текстов о «ни о чем». Что, надо сказать, довольно сложно. Неприятие любовной тематики активистки «Женсовета» объясняют, с одной стороны, аллергией к «карамельно-песенной лирике, выработанной за годы отрочества, а с другой — невозможностью петь втроем о любви от первого лица».

Кстати, две участницы «Женсовета» — Жанна Ольшанская и Лада Рашевская — на выданье. А группа очень нуждается в «своем» поэте. Так что, молодые холостые поэты (не ниже 176 см и без вредных привычек), дерзайте! Ну, а третья — Алина Витебская, как вы понимаете, супруга Харитона.

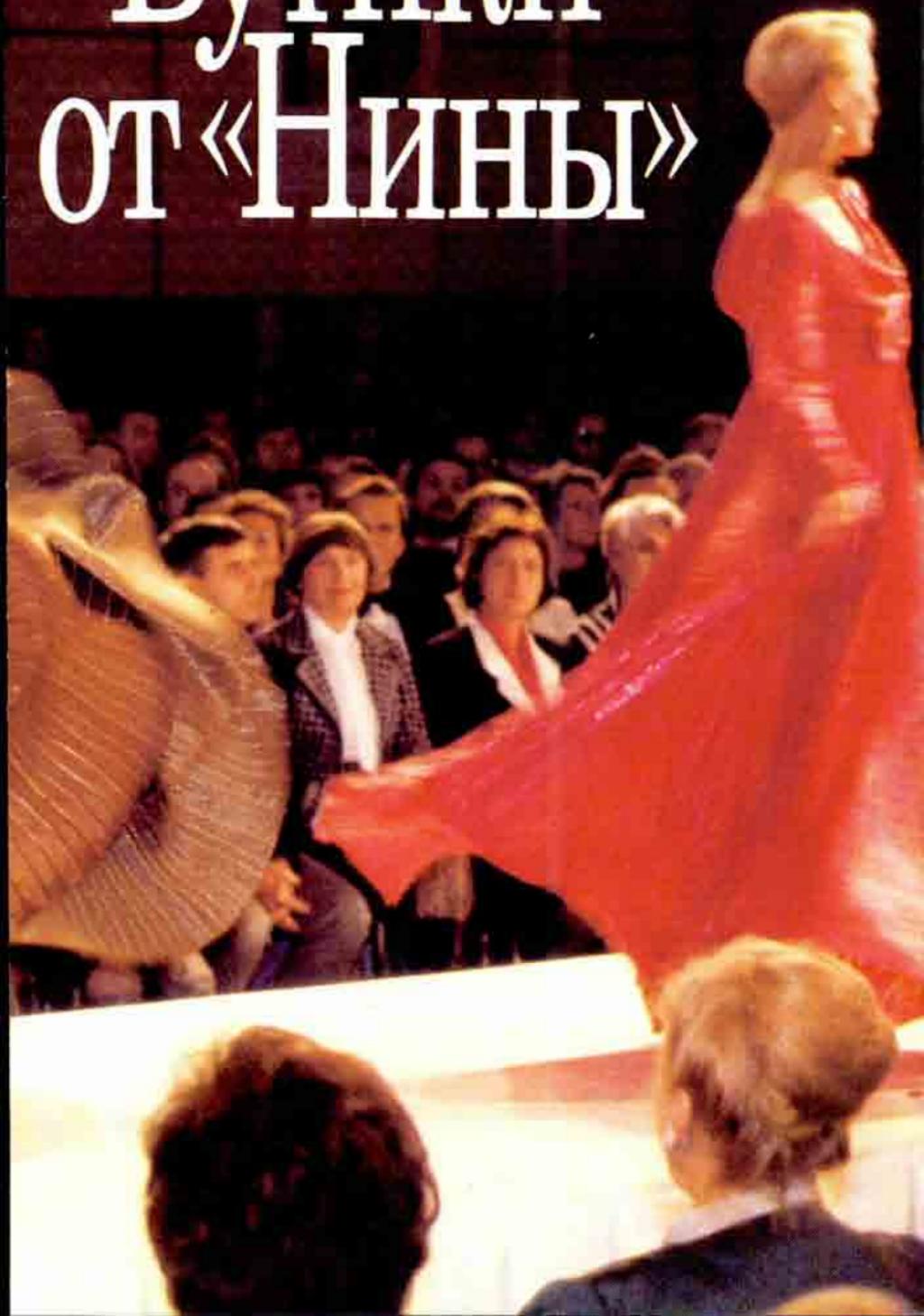
Работает «Женсовет» по канонам поп-исполнителей евродиско, то есть живые голоса под фонограмму. Предпринимаются отчаянные попытки сделать из концерта настояще поп-шоу. Но в нашем, с позволения сказать, шоу-бизнесе всегда приходится двигаться на ощупь — нет опытных балетмейстеров, гримеров, менеджеров... «Женсовет» в этой ситуации на равных со всеми. Поэтому приятно, что группу заметили — заключен контракт о сотрудничестве с импресарской фирмой из Австрии; группа участвует в советско-американском мюзикле «Ранвей»... И вдвойне отрадно, что праздник песен «Женсовета» захватывает наших зрителей.

**ЕЛЕНА ФИНЬКО**  
Фото ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА





# «Бутики» от «Нины»





# С

акой быть моде?

Осенью прошлого года в Москве состоялись показ мод известной фирмы «Нина Риччи» и международный конкурс молодых модельеров «Новые имена», организованные Фондом культуры и французской авиакомпанией «Эр Франс». Советские лауреаты конкурса были приглашены на заключительный тур в Париж со своими моделями, чтобы померяться силами с коллегами из восемнадцати стран, и завоевали два приза из семи.

«Нина Риччи» — это готовая одежда, духи, разнообразные аксессуары: очки, обувь, детская одежда.

— У нас много проектов по созданию совместных предприятий с Советским Союзом, — говорит одна из директоров фирмы, княгиня Маша Мегалофф. — Объем торговых операций вырос за прошлый год в три раза — у фирмы контакты со всеми республиками.

Мы рассчитываем открыть в Москве и Ленинграде свои «бутики» — фирменные магазины, где будут продаваться

ФОТО  
АНАТОЛИЙ  
МЕЛИХОВА



бижутерия, аксессуары, косметика и парфюмерия «Нини Риччи», сначала на валюту, но в дальнейшем, возможно, и на рубли.

В Москве я познакомилась со многими модельерами. Потрясающе! Русские показали, что они могут создавать красоту. На 2-м Международном конкурсе модельеров было много молодых талантов. Им надо помочь, ведь молодым всегда труднее. Еще лет десять назад такой конкурс в Советском Союзе был бы невозможен, но с каждым днем у вас все меняется, открываются новые имена.

Хочу сказать следующее. Например, платья «Нини Риччи» делаются не для того, чтобы на них смотреть — они для жизни. К сожалению, когда смотришь на модели советских художников, возникает вопрос: где, как и с чем их носить? У русских модельеров масса проблем — нет тканей, порой не могут найти даже пуговицы...

Каждые три года мы приезжаем в Советский Союз с показами мод. Впереди новые идеи, новые планы...  
**КИРИЛЛ ИОРДАНСКИЙ**



# НА ВРЕ



260

...Он исчез. Был везде и непременно, и вдруг — канул. И только его песни продолжали звучать по инерции, как граммофонная пластинка совершает еще несколько оборотов после того, как кончился завод. Ну, конечно, были слухи — самый оперативный вид информации, пара бестолково отрицательных статей в прессе... вот в общем-то и все. Ну, а время несется со скоростью гитарных пассажей в «спид-метале», и многие знатоки поп-музыки поставили крест на имени «Юрий Антонов». На имени, которое, казалось бы, прочно пригвождено к доске пожизненного почета передовиков советской эстрады.

Но совсем недавно, смотрю, что-то начало меняться — знакомое лицо в «ящике», имя на афише, знакомый голос в эфире. Опала кончилась? Второе дыхание открылось?

— В моей жизни уже бывали ситуации, когда я на время уходил в тень — объясняет Юрий Антонов. — Просто жизненные обстоятельства сплелись таким образом, что нужно было сделать передышку, прийти в себя.

# РОК ДЛЯ ЖАНРИ

— Если можно, поподробнее об этом «хитросплетении»...

— Понимаете, появилось очень много разных рок-групп, которые молниеносно всех вытеснили, приковав к року внимание молодежи. Нужно было понять ситуацию. Второе: я занимался очень важным делом — создавал собственную студию звукозаписи, ибо качество пластинок на «Мелодии» меня не удовлетворяло. Оно, по моему, никого не удовлетворяет. Нужен был качественный скачок. Сейчас записал альбом в своей студии, где я сам и продюсер, и звукорежиссер, и композитор. Короче, студия дала мне творческую свободу, а для артиста, сами понимаете, что это такое.

Кроме того, хотелось подкопить материал к тому моменту, когда музыкальная ситуация стабилизируется и все станет на свои места.

— Что вы имеете в виду под стабилизацией ситуации? Возврат к «песням советских композиторов»?

— Нет, я говорю о том, чтобы каждое музыкальное направление занимало свое место в нашей культуре. Во всем мире самая популярная музыка — это поп. У нас же рок на лестнице популярности занимает сразу несколько ступенек — свою и еще соседних жанров, той же поп-музыки. Вот сейчас все возвращается на свои законные места, а многие это-

го не понимают, и давай бить в барабаны: «Рок в кризисе!», «Рок не собирает аудитории!» А как он будет собирать, если им так перекорили молодежь, что аж из ушей лезет! Вы посмотрите, как суперзвезды мирового уровня (до которых нам еще как до Луны) работают: один концерт в Мюнхене, один — в Париже, один — в Барселоне и т. д. И, конечно же, на один концерт соберутся все их поклонники, и будет успех, и будет праздник! А у нас — десять дней в городе, да по три концерта в день. Где же столько народа наберешь. Да еще и без рекламы! А почему так работают? Потому что получают мало. Вот еще говорят, что у нас билеты на концерты дорогие... Да у нас самые дешевые билеты в мире! Стыдно сказать, но бутылка водки в два-три раза дороже билета на концерт. Ну куда это годится?

— Может, просто водка дорогая?

— Дорогая? Может... Ну, это первое, что мне пришло в голову для сравнения... Не суть важно. Все равно парадокс получается...

— Но ведь многие рок- и поп-музыканты (и это ни для кого не секрет) именно сейчас получают довольно приличные деньги...

— И замечательно, что получают. Чем человек обеспеченнее, тем он добре, независимее: он рассматривает творчество других му-

зыкантов с совсем иных позиций. Я привык к тому, что мои успехи многие коллеги по жанру рассматривали как свою личную беду. Я человек совершенно иной — меня успехи других либо не волнуют, либо радуют...

Бытует мнение, что Антонов в эпоху застоя заработал столько, что ему на всю жизнь хватит, поэтому и со сцены ушел.

— Неправда. Люди, как известно, злы. И завистливы... Действительно, в какие-то далекие времена я зарабатывал очень приличные деньги, но не по сегодняшним меркам! За прошлый год, скажем, я мог заработать в десятки раз больше, чем за годы застоя. Каждый день раздаются звонки с самыми заманчивыми предложениями, но для меня сейчас деньги — не основное...

Вы говорили, что, кроме причин, так сказать, объективных, вашему уходу с большой сцены способствовали и субъективные факторы... Видимо, вы имели в виду скандальную историю в Куйбышеве...

— В общем, можно сказать, что я еще и обиделся. Я, знаете, очень болезненно переживаю любую несправедливость и по отношению к себе, и к другим... Можно сказать, что я стал первой жертвой перестройки. Жертвой наизнанку...

Честно говоря, я подзабыл, в чем же была суть инцидента. Не напомните?

— В то время перестройка уверенно шагала только по Москве, периферии она еще не коснулась... Короче, у меня было где-то 12 концертов в Куйбышеве, точно не помню. Ну, конечно, как всегда, аншлаги, билеты с рук, принимали «на ура»... Хотя на каждом концерте в первых рядах партера сидела очень специфическая публика — сидела до конца, но особо

не реагировала, не аплодировала. А концерт был сделан добротно, хорошая аппаратура, классный свет. В общем, меня это удивило, и на одном из выступлений я сказал, что, мол, понимаю «замороженность» людей в партере — они за билетами в очередях не стояли, они, мол, элита, и хлопать им по статусу не положено. Сказал подобному, с юмором... не для того, чтобы обидеть, а чтоб хоть как-то их расшевелить. Пошутил, в общем... А это был предпраздничный концерт 6 марта, атмосфера в зале в целом приподнятая, хорошая... Начал я петь «На улице Каштановой» и вдруг слышу злобный, оскорбительный выкрик какой-то женщины в свой адрес. Я петь перестал и говорю: «Я прошу того, кто кричал, выйти из зала, иначе я не смогу продолжить концерт». И ушел со сцены.

Простите, но получается, что на ваших концертах все зрители просто обязаны веселиться и аплодировать...

— Да никто ничего не обязан! А в данном случае речь идет об уважении к артисту... Короче, ребята из группы отыграли свои произведения, а у меня за кулисами начинается нервный стресс: руки трясутся, кровь к голове, горло свело — потому что я только там осознал, что эта женщина в мой адрес кричала. Вышел конферанс на сцену и объявил: «В связи с тем, что артист почувствовал себя плохо, концерт отменяется».

Первое, что сделал директор Дворца спорта, где мы работали, побежал к городскому начальству и заявил, что Антонов хулиганит.

— И что? Этим все и кончилось?

— Если бы! На следующий день приходит ко мне директор филармонии с просьбой, чтобы я отыграл последние три концер-

та. Я говорю, что, конечно, контракт есть контракт. Начинаю готовиться к концерту, но тут узнаю: городская власть мои концерты отменила под предлогом, что это я, мол, отказываюсь играть. Я думаю: «А как же зрители? Нет, выступать нужно». В тот же день подъезжаем ко Дворцу спорта, а там подходы к зданию перекрыты милицией, которая сдерживает шеститысячную толпу. И милиционская машина через мегафон вещает: «Из-за ненормального поведения артиста Антонова концерты отменяются!» Мой героический директор Слава Бейлин тоже начал через мегафон говорить, что мы готовы выступать и т. д. Толпа напряглась, но его быстро скрутили...

В итоге мы уехали из города, а внештатные корреспонденты центральных газет, которые были допущены к общей «кормушке» куйбышевской элиты, накатали под начальственную дудочку статейки и послали их в «Советскую культуру» и «Советскую Россию». Где они благополучно и появились. И хотя в этих заметках не было ни слова правды, дело завертелось... Я ушел из Москонцерта — организации, которая мне очень помогла вначале, но душила своей атмосферой. Вот так я столкнулся с «гласностью и демократией».

— То есть, можно сказать, что перемены в нашем обществе вышли вам боком?

— Да никогда в жизни! Просто я не понимаю приказную «гласность» или администраторскую «демократию». Уверен, так быть не должно. А в целом мое отношение к переменам положительное. Я почувствовал изменения в концертной жизни, в своей личной работе. Обострилась конкуренция, и мне как композитору стало очень непросто работать. Но ведь

конкуренция — это в принципе замечательно! Другое дело, что она не всегда бывает здоровой, честной.

Или — раньше житье не было от цензоров: все перестраховывались... Да что говорить, я сам для себя был худшим цензором. А как человек может самовыражаться, если он боится?

— А чего вы больше всего боялись раньше, чего боитесь теперь?

— Я не могу сказать, что боялся. Поэтому у меня и происходили постоянные конфликты то с Министерством культуры, то с Управлением культуры Мосгорисполкома, то с Москонцертом. Если бы удалось меня запугать, то жизнь была бы спокойнее: я был бы более хитрым, более гибким... А сейчас я не то чтобы боюсь, а есть внутри какое-то чувство тревоги, неуверенности — не знаешь, чего можно ожидать завтра.

— Насколько я знаю, этот год у вас юбилейный: 25 лет на эстраде! Вы специально приурочили свое «второе рождение» к этой дате?

— Просто совпало так. И если говорить вообще о моей музыкальной карьере, то она еще длиннее. Я начал сам зарабатывать на жизнь музыкой, когда учился в училище, и было мне 14 лет. Жили мы тогда под Минском. Я руководил хором в депо за 60 рэ в месяц. В хоре были пожилые люди, а я, подросток, приходил с аккордеоном и учил их петь. И они меня уважали. Так я начал свою трудовую деятельность и очень горжусь этим. Мне никогда никто не помогал, но вредили с избытком. Поэтому я себя привык к тому, что в этой жизни нужно рассчитывать только на себя.

...А как профессионал я начал работать в Белорусской филармонии в 1964 году. Руководил

ансамблем, играл на аккордеоне. Еще трое музыкантов — на контрабасе, гитаре и кларнете. Играли американскую музыку... Это был очень полезный этап моей карьеры.

В 1969 году меня пригласили в Ленинград, в ансамбль «Поющие гитары», там я начал основательно заниматься композицией. Мне, конечно, повезло, что первая же моя песня стала очень популярной в стране... Нам даже удалось записать миньон (о дисках-гигантах тогда могли мечтать только члены Союза композиторов) с четырьмя песнями, одной из которых была «Для меня нет тебя прекрасней».

В 1971 году с ансамблем «Добры молодцы» я уехал в Москву; в первом отделении — русские народные песни, во втором — хиты того времени... Потом пошли разные другие ансамбли, оркестры... Очень хорошую практику получил в оркестре под управлением Кролла, где я был солистом-вокалистом. Жаль, что сейчас биг-бэнды не в моде! Работал в московском мюзик-холле, потом создавал группы «Магистраль», «Аэробус»... Сейчас собрал группу из музыкантов, которые достаточно прилично играют — это очень важно, потому что требования у меня всегда высокие. Записали новый альбом. Посмотрим, что дальше будет.

— Ожидаете ли вы нового всплеска внимания к вашему творчеству?

— Я не думаю, что по силе «взрывной волны» это будет тот же интерес, что и в семидесятые — восьмидесятые годы. Но, думаю, повод для некоторых раздумий будет. Я всегда трезво оценивал свои возможности и был далек от маниловщины. Я чувствую новый приток вдохновения, новый приток сил, так что посмотрим.

В дальнейшем я откажусь от стилевой эклектики и в записях буду придерживаться какого-нибудь одного музыкального течения. Займусь продюсерством — мне присыпают молодые музыканты довольно много кассет со своими записями, и, знаете, есть очень любопытные... Вот я и упредил ваш вопрос о дальнейших творческих планах.

— Вообще-то я об этих самых планах спрашивать не собирался... Меня больше интересует, как вы относитесь к рок-кумарам конца восьмидесятых?

— Дело в том, что я профессиональный музыкант, проработал на сцене много лет. У девяноста девяти процентов наших групп есть все: желание работать, стиль, какие-то оригинальные тексты, иногда мелодия (хотя, как правило, она отсутствует), бывают даже элементы аранжировок, но почти всегда страдает индивидуальное мастерство владения инструментом. Ужасно низкий уровень игры, просто нижайший! И сразу вся оригинальность становится никому не нужна. Прорыв рок-музыки на сцену заставил эти группы «печь» новые шлягеры с максимальной скоростью, отсюда — невнимание к качеству записи. Мне кажется, лучше (при возможности) записать одну партию гитары, но чтобы она звучала широкнее, чем десять новых вещей. Сейчас появились студии записи, но даже там группы не могут записаться нормально: более-менее звучит бас, более-менее гитара... Но в целом это же ужас! Только, так сказать, для внутреннего потребления.

...И главное, музыканты не хотят совершенствовать свое мастерство! Только 2—3 группы уделяют этому внимание. Все это очень печально... Ну, а вообще я рок люблю, поэтому и переживаю так.

— Ваш уход совпал с выходом на сцену таких пол-музыкантов, как Игорь Николаев, Вячеслав Добрынин... Как вы относитесь к их творчеству?

— Славу Добрынина я знаю давно. Не могу сказать, что мы друзья, потому что в нашей жизни очень трудно назвать кого-нибудь не только другом, но и просто товарищем. Но мне приятно, что у Славы есть популярные песни, что он снова «на коне». Игорь Николаев — это другое поколение, но к его творчеству я отношусь с уважением; может быть, мне не всегда нравятся его аранжировки, но мелодист он хороший, а для композитора это главное.

— Многие ваши шлягеры звучали (а некоторые и продолжают звучать) буквально везде — на свадьбах, в ресторанах, на «массовых гуляньях»... Я от кого-то слышал, что вы специально упрощали мелодии, чтобы их мог напеть и сыграть каждый.

— Я считаю, ничего плохого нет, если твои песни на слуху, если их поют у костра, в кругу семьи, в ресторане. Главное — чтобы песня народу нравилась, правильно?

— Вам виднее... Тема любви — тема многих ваших песен. Это тоже дань «народному» вкусу или результат личных переживаний?

— В моей жизни, как в жизни любого нормального мужчины, женщины играли и играют очень большую роль. Иначе и быть не может. Были разные любовные истории в молодости, но, к сожалению, как-то по-настоящему не получилось. Однако, должен признаться, слабый пол всегда стимулировал меня в плане написания песен. Без него было бы очень трудно сочинить красивую мелодию: грустные писал, когда поблизости не было любимого человека,

веселые — когда жизнь была украшена чьим-то присутствием.

— А почему вы говорите о женщинах все время в прошедшем времени? Возраст?

— Просто я рассказываю то, что было, а что будет — кому известно? Я развелся со своей женой — она гражданка Югославии. Прожили мы вместе восемь лет. Так что теперь я холостяк и, надо сказать, чувствую себя очень неплохо и очень независимо.

— Можно ли вас отнести к оптимистам?

— По-моему, только недалекие люди могут быть круглыми оптимистами или пессимистами. На жизнь нужно смотреть реально.

Всегда должна быть у человека надежда, но иногда и доля скептицизма не помешает... А вообще-то послушайте мои песни — в них вся моя жизнь, все мои мысли.

Беседу вели

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ.

АНДРЕЙ БАТАШЕВ  
ФОТО ВЛАДИМИРА САФРОНОВА

# ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБАЧ

266

Она говорит, что победа в Сеуле не принесла ожидаемой радости.

— Думала, что теперь все преобразится, станет другим, — рассказывает победительница первого олимпийского турнира по художественной гимнастике Марина Лобач. — Но ничего не изменилось. Ни во мне, ни в окружающих. И хоть я прекрасно понимаю, что иначе быть не могло, мне это почему-то кажется неестественным...

За несколько месяцев до Олимпиады, на чемпионате Европы-88, двукратная чемпионка СССР, победительница многих международных соревнований 18-летняя Марина Лобач заняла лишь четвертое место.

Специалисты говорят, что она была достойна победы. И если бы хоть одна судейская оценка была на десятую долю балла выше — стоять ей на верхней ступеньке пьедестала. Этого не случилось. О десятой доле забыли. Помнили

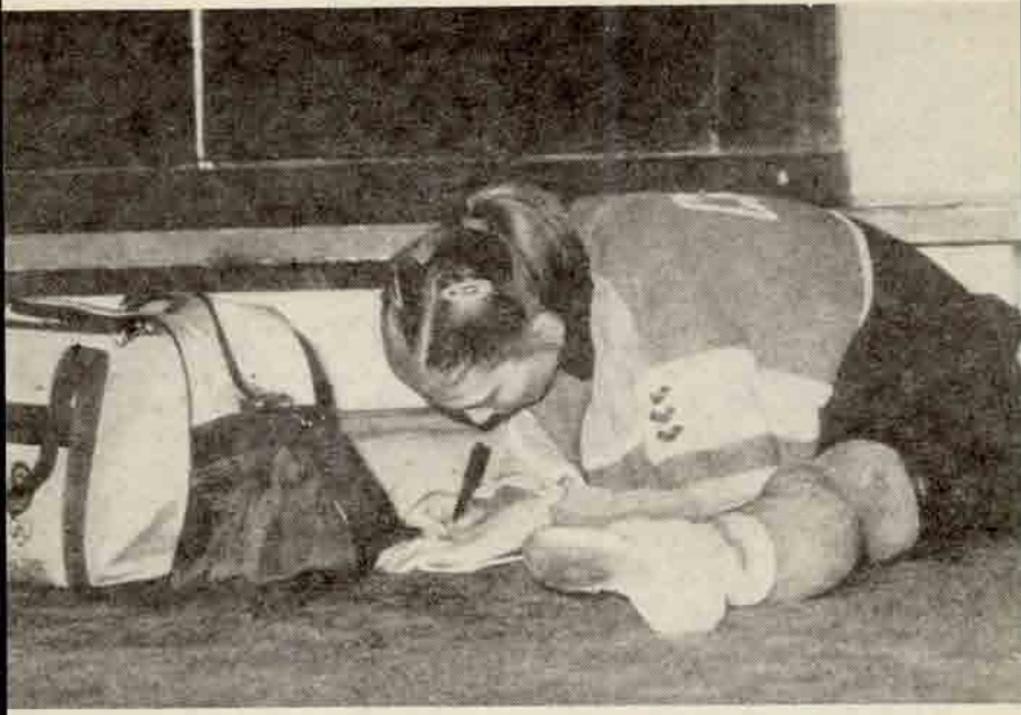
другое: Лобач всего лишь четвертая в Европе. Она шла к Играм в полосе неверия. Было очень непросто накопить радостные эмоции, которые так нужны в художественной гимнастике.

В Сеуле, будто в награду за долготерпение, все переменилось. Лобач лидировала с первого дня соревнований, уверенно получая «десятку» за «десяткой». Ее итоговый результат — 60 из 60 возможных!

...Родилась Марина в белорусском городке Смолевичи. Отец — столяр, мать — кондитер; старшие сестры тоже работают: одна — медсестрой, другая — закройщицей...

Почему ты решила заниматься именно художественной гимнастикой?

— Ничего другого мне никто никогда не предлагал. А о художественной гимнастике я услышала в первом классе. К нам пришла



тренер, отобрала несколько девочек и... забыла о нас. И только когда я училась в третьем классе, в Смолевичи приехала Ирина Юрьевна Лепарская заниматься с нами. Через несколько месяцев я уже выступала в соревнованиях. И однажды Ирина Юрьевна сказала, что хочет показать меня Галине Александровне Крыленко.

Будущая наставница Марины Лобач, известная в недавнем прошлом двукратная чемпионка мира в групповых упражнениях, только-только начинала свою тренерскую карьеру. Десятилетняя Марина ей «показалась». Высокий прыжок, гибкость, удлиненные пропорции, соответствующие классическим стандартам,— все говорило о том, что девочка создана для художественной гимнастики.

— Но меня поразили не столько ее данные,— вспоминает Крыленко.— сколько внутренняя сила и решительность, представ-

ляете, такая кроха твердо заявила: «Я останусь в Минске и буду тренироваться у вас».

А родители были против. Марина сумела настоять на своем. Кстати, с тех пор я не встречала спортсменки, которая так же рано и с такой же уверенностью, как Марина, выбрала бы свою судьбу...

В Минске, в спортивной школе-интернате, у нее не было подруг. Юных минчанок смешивал ее язык — смесь белорусского с русским — и ее «деревенские» манеры. Маринассорилась с ними, плакала и даже подумывала о том, чтобы уехать в Смолевичи. К счастью, Галина Крыленко быстро догадалась обо всем и взяла ее к себе домой. И до самого последнего времени та жила у Крыленко, словно старшая дочь...

Рассказывая мне о детстве, Ма-

рина все же опустила некоторые драматические подробности. О них я узнал от Галины Крыленко.

— У Марин было очень много травм, а в 12 лет началась болезнь Шляттера. Она проявляется в том, что под коленными чашечками образуются нарости. Болезнь Шляттера — это постоянная боль... Я и сейчас вижу ее лицо, когда на тренировке нужно было, например, встать на колени и оттолкнуться... Врачи обещали, что улучшение наступит в 16 лет. Ошиблись — Марина выздоровела на два года раньше... Марина — человек настроения. Если идет дождь, появляется в зале мрачная, если взошло солнечко — сияет. Любит в одиночестве побродить по лесу. Весной обязательно найдет первые цветы, осенью обнаружит удивительно окрашенные листья, которые другому человеку и на глаза-то не попадутся. А заодно и корзинку грибов наберет...

Марина собирает в лесу не только цветы и листья. Она ищет и находит там образы своей гимнастики...

— Иной раз иду по лесу и в движении листьев, стеблей вижу то, что может пригодиться. Ну, например, березка как-то особенно качается и сразу же становится живым существом со своей судьбой. И ты уже думаешь о том, как передать и это настроение, и эту пластику...

В изменчивости настроений Марины я убедился, попросив гимнастку рассказать о том, что предшествовало Олимпиаде в Сеуле.

— За несколько дней до отъезда на Игры мне на ногу упала булава, — вспоминает Марина. — Прыгать не могу, ходить не могу. Диагноз — ушиб голеностопа. Тренеры волнуются, я плачу... Ведь столько тренировалась, в таком напряжении!

Лечили меня, лечили, вроде бы стало полегче. Но не успела забыть о ноге — заболела спина, да так, что не наклониться. Есть, конечно, всякие мази, растирки. Но можно ли их применять? А вдруг в состав таких препаратов входят стимуляторы? Но все же какими-то самыми простыми средствами врачи мне помогли. И тогда... у меня заболел зуб.

После этого я уже покорно ждала новых бед. Поэтому даже почувствовала успокоение, когда у меня началась акклиматизация: закружилась голова, и все стало валиться из рук. В последние годы мне нередко приходилось испытывать такое, и я знала, как с этим бороться. Надо заставить себя как следует потренироваться, тогда на другой день все будет нормально. Знать-то знала, а вот преодолеть себя оказалось невероятно трудно. Галина Александровна, не в состоянии вынести этого зрелища, даже ушла из зала... Но какой-то тренировочный минимум я все же выполнила...

Марина задумалась, улынулась, и теперь уже ей не терпелось рассказать о другом — о счастливых предчувствиях и приметах, которые поддерживали в ней «гордую уверенность в себе».

— Вообще я не верю в приметы. Но чем ближе соревнования, тем больше начинаю обращать на них внимание. А за день, за два до старта становлюсь суеверной... Это началось несколько лет назад, когда я в Ленинграде выиграла Кубок СССР. Кто-то сказал: если найдешь, мол, копейку, обязательно повезет. И я тут же стала находить «счастливые» монетки. В гостинице, в троллейбусе, даже в зале... Причем лежали они всегда орлом кверху, то есть на удачу. И, вы знаете, везло! Представьте себе, уже во время Олимпиады иду по деревне и... нахожу копейку!

В тот день Марина Лобач и в самом деле словно попала в полосу удачи. Она слушала музыку Генделя, Рахманинова, Чайковского и совершенно не думала о том, первой она будет или десятой...

Наступил день финалов.

— Я пришла на тренировку и почувствовала: сил больше нет. Ничего не могу, плачу только... С трудом сделала четыре прогона. Еле-еле прыгаю, двигаюсь словно в полусне.

Это был ее десятый день в Сеуле...

— Галина Александровна — в трансе. Я вернулась в гостиницу, легла и до вечера не могла встать. А вечером все переменилось, как будто бы во мне моторчик заработал какой-то.

Финалы. За скакалку Марина получила десять баллов. А затем...

— ...Когда она выполняла упражнение с булавами, я едва не умерла! — восклицает тренер.

Что же произошло?

— Марина вышла на помост, словно на поединок с судьбой, — рассказывает Крыленко. Лишь на пять сотых балла опережала она болгарку Дунавску, и потому старалась с предельной точностью вычертить каждую деталь композиции, не допустив ни малейшей погрешности. Но, тщательно заботясь о технике исполнения, Марина забыла о секундомере, о том, что финальный гонг прозвучит ровно через минуту и тридцать секунд...

— Я сознавал это, но шел за Мариной, не пытаясь изменить темп, так как боялся сбить ее, — вспоминает пианист Анатолий Векшин. — Единственное место, где я мог поторопить спортсменку, — в самом конце упражнения. Я дождался его и только тогда заиграл быстрее.

Но вот прозвучал последний ак-

корд. Марина взглянула на пианиста.

— Его вид меня поразил. Лицо какое-то странное, на лбу пот. Я шла в раздевалку и думала: может, он заболел? А тут меня все окружили и говорят: «Твое выступление длилось минуту 29 секунд!» Значит, если бы я закончила упражнение через несколько сотых секунды, судьи сняли бы десятую и не видать мне золота...

Последний вид — лента. Выхожу, радостная такая, внутри все дрожит... И сама себе говорю: «Ну вот, теперь все». А какой-то другой голос мне отвечает: «Нет, дорогая, еще не все». И пока я не вышла на ковер, слышала этот внутренний диалог: «Все» — «Не все!» — «Все» — «Не все!»

— В конце упражнения я делаю бросок и два кувырка, — продолжает Марина, — но бросок получился неточным и лента полетела в сторону. И снова в моем сознании зазвучали два голоса. Первый: «Исправить это невозможно». Второй: «Ты должна поймать ленту. Должна! Слышишь?» И я поймала ее, закрутила и развернулась...

Но упражнение было закончено.

Поднялась. Слезы градом. Бегом в раздевалку, все меня поздравляют, а я не знаю, не понимаю, что происходит. В раздевалке спрашивают: как себя чувствуешь в роли олимпийской чемпионки?

Как же ответить? Что это такое? Представьте себе: вы о чем-то мечтаете и в то же время знаете — этого никогда не будет. И вдруг то, чего не может быть, все же свершается. Перед тобой была бездна, а ты перелетела через нее. Что это — чудо? Вот таким чудом и был для меня выигрыш олимпийского «золота». Ничего не изменилось. Ни во мне, ни в окружающих... — Марина произнесла эти слова, не задумываясь, под

влиянием чувств. И тем не менее не забыла об «окружающих». Что же, может быть, в самом деле взаимоотношения с ними как раз и являются главным фактором, определяющим для каждого из нас продолжительность счастья?

Если человек с раннего детства постоянно отстаивает свое достоинство, индивидуальность, он, естественно, многое приобретает в этой борьбе. Но и немало теряет, в том числе способность безоглядно радоваться. А без нее трудно надеяться, что в миг твоей удачи «все преобразится и станет другим»...

Думаю, что продолжению чуда, о котором мечтала Марина, помешало многое из пережитого в прошлом: в спортивном интернате, где старшие девочки слишком бесцеремонно вели себя по отношению к «новенкой из деревни»; на соревнованиях, где судьи далеко не всегда были к ней справедливы; в дни подготовки к Олимпиаде, когда ответственные специалисты нашей художественной гимнастики, не скрывая этого, заранее отводили Марине только вторые роли...

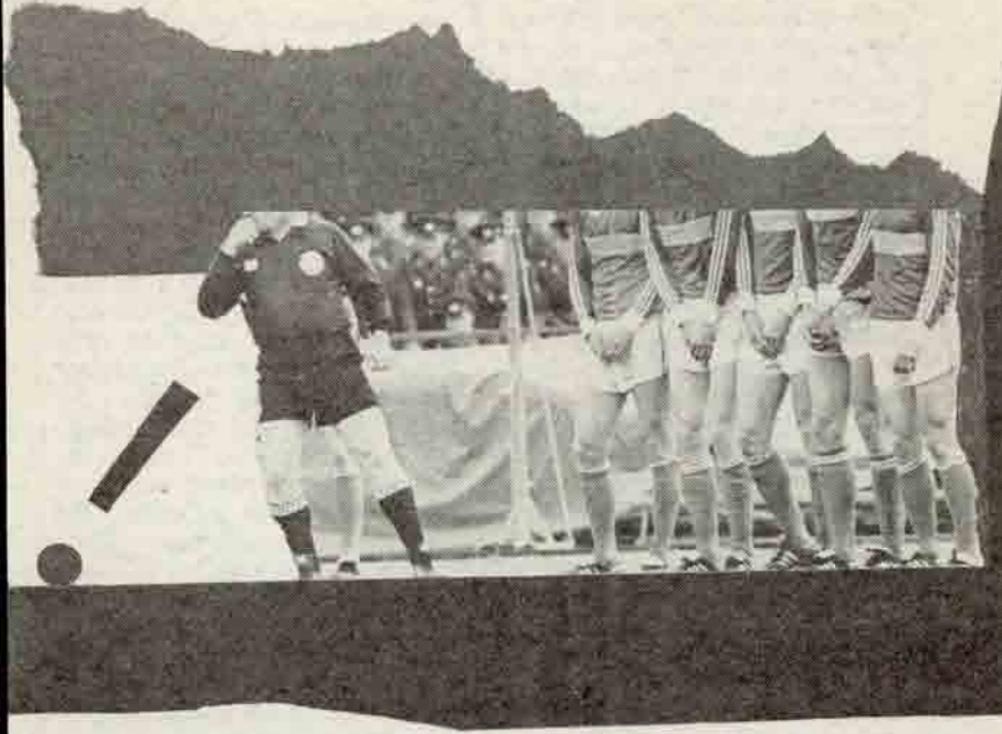
Думаю, что все это подрезало ей крылья, хотя она и сумела пролететь над пропастью...

— На одном из занятий мы ставили упражнение с обручем на музыку Генделя, — вспоминает Крыленко. — Объясняли Марине, что по своей сути эта композиция — гимн любви. И потому нужно ощутить себя очень нежной, незащищенной проницаемой для всех импульсов, которые посыпает человеку Вселенная.

Марина долго не могла войти в это настроение, а потом то ли в шутку, то ли всерьез спросила:

— Что же мне делать? Выходит, чтобы хорошо исполнить эту композицию, я должна влюбиться?

Я не смогла сразу ответить на этот вопрос, а когда после паузы взглянула на Марину, поняла, что отвечать не надо: она задала его не мне, а самой себе...



МАРК РАФАЛОВ,  
судья всесоюзной категории

271

# НАМЕСНИКИ и СМОЛЫ

Оформление  
ВЛАДИМИРА БУРКИНА

ПОДДЕРЖКА

Минувший сезон для судей оказался провальным. Едва ли не в каждом туре грубые ошибки искали ход борьбы. Апофеозом явился финал Кубка СССР. Хотя виновность главного арбитра матча Вадима Жука в той ситуации для меня сомнительна. Но это тема отдельного разговора.

Стоят ли удивляться нынешнему положению в судейском корпусе? Мы ведь получили то, что долго и планомерно готовили годами. Технология подготовки послушных и покорных судей у нас внедрена повсеместно. Арбитров едва не с «ясельного возраста» приучают слушаться «дядю», сидящего в начальственном кресле.

В результате многие судьи, которым удается прорваться на республиканский или всесоюзный уровень, уже так обстругены и отшлифованы, что порой задумываешься: где им сподручнее располагаться — на футбольном поле или на скамье подсудимых? Разумеется, рядом с «дядями».

А пока во всех лигах, не исключая и высшую, арбитры подвергаются бесстыдной обработке со стороны высокопоставленных спортивных (а иногда и не спортивных) дельцов. И нет ничего удивительного, что некоторые служители Фемиды не выдерживают прессинга, теряют нравственные ориентиры и ступают на скользкий путь стяжательства.

И еще об одном парадоксе. За спиной ВКС уже много лет стоят своеобразные наместники Управления футбола. Они самым непосредственным образом влияют (зачастую не лучшим образом) на всю работу судей. Но вот что примечательно. Как только случаются судейские провалы, наместники оказываются ни при чем. Так, в провальном 1987 году за судейство отвечал А. Парамонов. Сняли председателя ВКС, а Алексей

Александрович не услышал в свой адрес даже слова упрека. История повторилась и в минувшем сезоне. Отвечающий за судейство А. Печаткин тоже не получил ничего: ни ордена, ни медали, ни... выговора.

В январе 1988 года ВКС возглавил Спирина. Знаю, что принимал он этот пост под давлением. Долго отказывался. Тогда нам казалось, что новый президент, как мы иногда величаем руководителя ВКС, потянет. У него были хорошие задумки и желание работать. Он даже позволял себе полемизировать с начальством, пытался защищать интересы коллегии. Но его быстро поставили на место. Он оказался в «команде Колоскова». И сразу же вкусила все радости бытия. Сейчас уже трудно точно сказать, сколько стран успел посетить наш молодой коллега за короткий срок своего правления. Он с таким упоением взялся «покорять пространство и время», что ему мог позавидовать сам Тур Хейердал. Стремительный зарубежными визами, Спирин утратил способность (да, видимо, и желание) что-то исправить, улучшить, изменить.

Роль Геракла оказалась ему явно не по плечу. Августовские конюшни футбола придется чистить новому руководству Ассоциации футбольных арбитров, избранному на конференции в канун нового, 1990 года.

В романах Агаты Кристи в сюжетную канву обычно вплетены три-четыре трупа. А у нас в минувшем сезоне были «убиты» все лучшие судьи. Полный разгром. В числе «репрессированных» не один раз оказывался и сам председатель ВКС. Серия курьезов началась с игры земляков-торпедовцев и динамовцев. Один из братьев Савичевых зацепил другого, а судья назначил пенальти в ворота... «Динамо». Осеннюю Спирина су-

дил международный матч в Венгрии. Местная пресса дала нашему коллеге кличку «А'спирин». Под занавес сезона Спирин «привез» еще протест из Одессы. Такого мы еще не знали.

Теперь о президиуме. Он был наполовину укомплектован действующими судьями. Кому-то это было нужно — так удобнее держать арбитров в заложниках. Подобная практика ставила шлагбаум на пути гласности, препятствовала творческой обстановке в коллегии. Не случайно большинство членов руководящего органа ВКС вели себя на заседаниях как глухонемые. Критика была не самой популярной гостьей в президиуме.

Набрался смелости Сергей Хусаинов — выступил на страницах «Строительной газеты», где без обиняков заявил: «Коррупция, взяточничество имеют давние корни в нашем футболе». Утром следующего дня автор уже оказался «в партере» — на ковре в кабинете Колоскова. В полном соответствии с последними веяниями нашей уголовной хроники свидетель обвинения превратился в обвиняемого и, от всех своих показаний отказался. Почему? На этот вопрос, мне кажется, отвечает журналист В. Асаулов в еженедельнике «Футбол — хоккей» 24.12.89. Арбитры «сами попали в беду, которая заставляет их приспособливаться, кривить душой, заискивать, выполнять поручения, жульничать... чтобы и самому остаться сытым, и порядочность ведомства, от которого зависит судейская судьба, оставить незапятнанной. Но такого не бывает...»

Уместно напомнить, что после интервью Хусаинова в «Строительной газете» выступили судья международной категории И. Лукьянов (5.09.89), мастер спорта меж-

дународного класса Е. Ловчев (12.09.89), автор этих строк (29.09.89). Во всех публикациях речь шла о том же: о духовном распаде нашего футбола, о коррупции, о безнравственности в ВКС. И что же? Федерация футбола окунулась в разбирательство фактов, изложенных Хусаиновым. Выступления других авторов Федерации, исправно выполняющая функции фигового листочка для прикрытия срама управления, своим вниманием не удостоила. Почему? Потому что мы, в отличие от сотрудника Управления Хусаинова, независимы и от своих «показаний», конечно же, не оказались бы. И тогда уважаемый орган вынужден был бы не копаться в отдельных фактах, а заставить себя возвыситься до понимания всей глубины разрушительных процессов, в которые оказался втянутым наш футбол. Но это совсем не входило в планы аппаратчиков, оказавшихся у кормила футбольной власти. Это опасно — можно лишиться доступа к «питательному пункту», в который они превратили подвластный им футбол.

А пока с плохо скрываемым лицемерием иные руководители команд практикуют преступные методы добывания очков любой ценой, а вслед за этим позволяют себе бичевать судей. Кстати, в последнее время взяткодатели стали внедрять в свою деятельность некие новации. Заметно возросли размеры «субсидий». Порой называются суммы, способные привести в смятение преуспевающих кооператоров. Банкноты порой не втискиваются в карманы обыкновенных штанов. Поэтому дельцы накануне решающих игр совершают вояжи в города, где живут арбитры, и там пытаются склонить их к грехопадению.

Пока не прекратится диктат ап-

паратчиков и весь судейский корпус не обретет независимости, не освободится от вельможного, а зачастую преступного вмешательства в деятельность арбитров, мы не добьемся полнокровной жизнедеятельности и здоровья футбольного организма.

Даже объем журнала не в состоянии вместить описание всех махинаций дельцов от футбола. Напомню лишь о событиях конца минувшего сезона.

Заслуженный мастер спорта Виктор Понедельник в интервью «Московскому комсомольцу» 28 ноября прошлого года сообщает читателям: «В кулуарах последних скандальных событий с матчами, в которых участвовали «Уралмаш» (Свердловск), «Локомотив» (Горький), «Цемент» (Новороссийск), «Иртыш» (Омск), назывались суммы с пятизначными цифрами, которые пошли на подкуп судейских бригад».

О так называемых финальных пульках, в которых выявляются путевки в первую лигу, о том, как «убивали» ферганский «Нефтяник», поведали тот же «Футбол — хоккей» (17.12.89) и «Ферганская правда» (28.11.89). «Кому это нужно?» — задают вопрос авторы корреспонденций — Теперь, после завершения очередной пульки, можно сказать. Это нужно Управлению футбола Госкомспорта СССР во главе с его незыблемым начальником В. Колосковым. И далее: «Сразу по начавшейся игре «Нефтяник» — «Динамо» стало ясно — Хусаинов прибыл с «ответственным» поручением В. Колоскова во что бы то ни стало помочь грузинским футболистам. Десятки тысяч ферганских болельщиков были просто одуречены».

Перед ответной игрой этих же команд в Сухуми инспектор матча М. Болотинский просил В. Коло-

скова не назначать на эту игру Хусаинова, скомпрометировавшего себя в Фергане. И услышал в ответ непрекаемое: «Судить будет Хусаинов!»

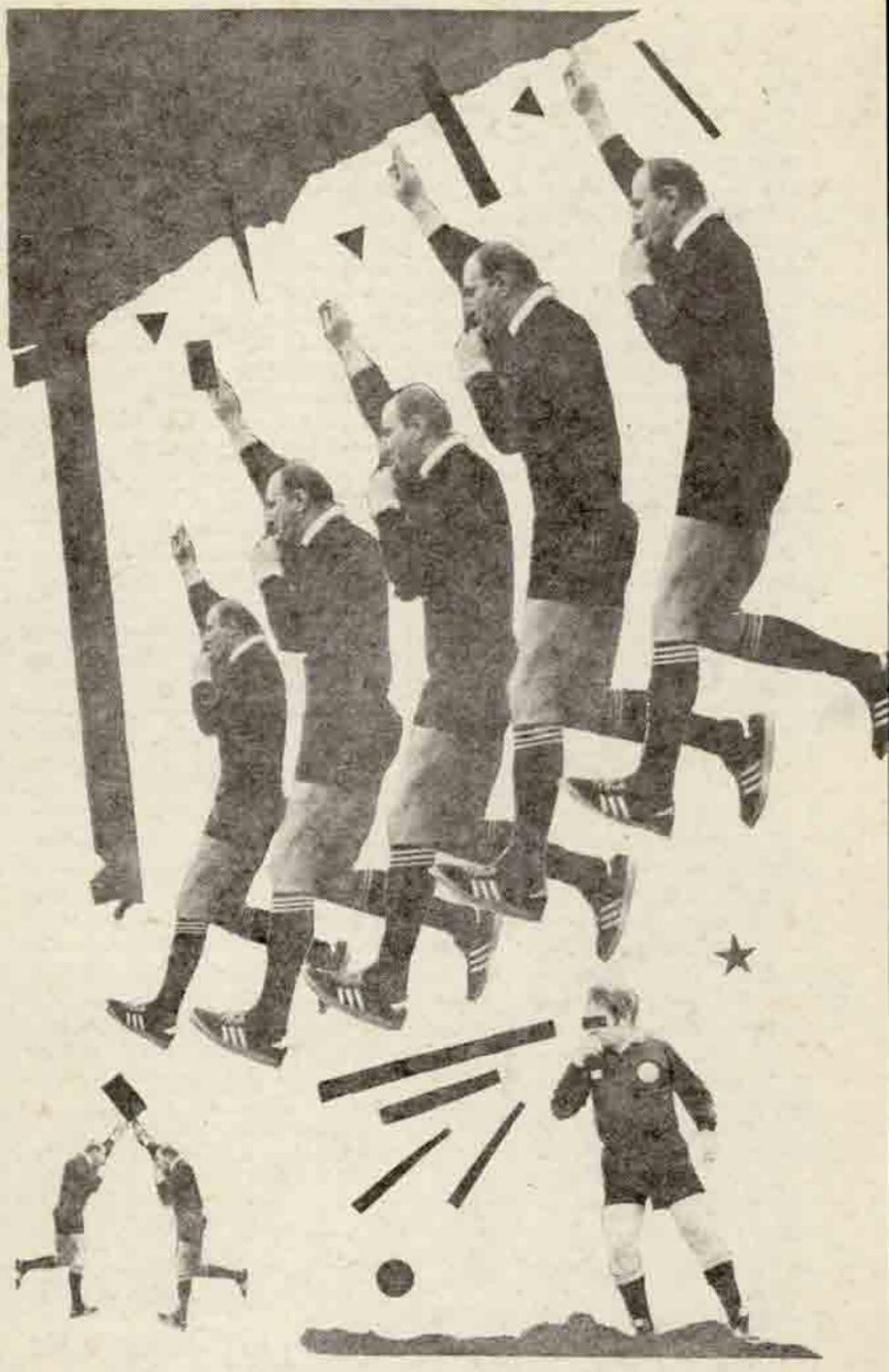
Начальник ферганской команды Л. Вахтин, с грустью рассказывая мне о происшедших событиях, заключил: «С «Динамо» мы бы поборолись, но когда за них еще играет все Управление во главе с Колосковым, мы, конечно, бессильны. Мы вынуждены обратиться с иском в Прокуратуру СССР. Материалов для этого у нас вполне достаточно».

Разговоры о договорных матчах уже у всех навязли в зубах. Исписаны горы бумаг, произнесено много гневных заклинаний, и... тишина во владениях футбольных чиновников. А ведь с этой скверной можно было бы успешно бороться. Но только в том случае, если люди, отвечающие за все наше футбольное хозяйство, осознают, как далеко мы зашли. Уверен — подавляющее большинство футболистов и тренеров не приемлют договорный футбол.

К. И. Бесков как-то сказал: «Договорной бизнес — очень серьезная проблема. Пожалуй, ничто не принесло футболу столько вреда». Не менее категоричен Ринат Дасаев, заявивший, что «ничего не поможет, если мастерам безразлична честь футбола».

А пока никто не пытается овладеть ситуацией и начать борьбу с дельцами. Более того, люди пытающиеся хоть что-то сделать, зачисляются в инакомыслящие. Мой, да и не только мой, печальный опыт — тому подтверждение. Смелость и мужество мысли по-прежнему приводят в тревожное смущение начальственные головы. Все течет, но, увы, ничего не меняется.

Вы, наверное, обратили внимание, что Бесков, обозначая явле-



ние, назвал его «договорным бизнесом». В. Перетурин в футбольном обозрении 10 декабря 1989 года, подводя итоги ушедшего сезона, сообщил, что только в высшей лиге было проведено около сорока договорных игр. И тут же добавил, что, возможно, они не только договорные, но и продаваемые.

Настало время признать, что наш футбол активно насыщает темновую экономику и пополняет армию организованной преступности. Поймем ли мы это когда-нибудь? И не будет ли запоздалым это прозрение?

В 1989 году было, наконец, низвергнуто «гениальное» творение чиновников — лимит на ничьи. Этот памятник нашему позору и бессилию простоял много лет, но пользы не дал. И не мог дать. Дефицит совести и порядочности никакими кабинетными конструкциями восполнить нельзя.

Договорный футбол в минувшем сезоне продолжал свой торжественный марш. Волны безнравственности выносят нас уже и в международную сферу. Попытки заигрывания с зарубежными арбитрами стали проявляться на кануне Московской Олимпиады 1980 года. Тогда со всех судей и инспекторов собирали по 30—50 рублей. Сумма набиралась внушительная. Деньги шли на «сувениры» и угощения иностранных судей.

Ситуация в точности повторилась и в 1985 году, в канун чемпионата мира среди юниоров. Те же поборы с судей. Опять «сувениры» — отнюдь не матрёшки. Я лично на своей машине подвозил в гостиницу «Украина» работника Управления, которому Колосков поручил доставить судьям электросамовары и еще какие-то вещи.

За пять лет перестройки ни Гос-

комспорт, ни союзная федерация не осмелились прекратить игру в прятки с футболом. Режим умолчания строго соблюдается людьми, прошедшими «сусловскую школу». Долго так продолжаться не может.

У штурвала такого мощного корабля, как советский футбол, должны стоять высококомпетентные, известные в стране, а потому и авторитетные специалисты, знающие игру не понаслышке, а прочувствовавшие ее каждой клеточкой своего тела.

В конце 50-х и в 60-х годах федерацию возглавляли три заслуженных мастера спорта: В. А. Гранаткин, А. П. Старостин и В. В. Мошкарин. Они много лет защищали цвета лучших клубов, выходили на поле в форме сборной команды страны. Наверное, и они ошибались. Но это были люди Большого футбола. Поэтому мы им верили и относились к ним с неизменным почтением, можно даже сказать — с благоговением.

А что сейчас? Еще недавно в Управлении работали известные всей стране Яшин, Николаев, Киселев, Рогов, Казаков, Руднев, Лядин, Меньшиков... Одни ушли на пенсию, другие — по болезни, третьи — по «собственному желанию» Колоскова. Возможно, они не могли работать в полную силу. Но как же беспардонно с ними расставались! Чтобы не очень роптали, учредили своеобразную компенсацию: уйдешь без шума — сделаем инспектором.

Кто же пришел на смену ветеранам? Сегодня в ведомстве Колоскова несколько известных в футбольном мире специалистов. Но таких единицы. Остальные... Приведу только один пример. Недавно на пенсию ушел судья международной категории В. С. Руднев. Теперь вместо него судейскими делами занимается сотрудник, рабо-

тавший до этого в... парткабинете Госкомспорта.

Как это ни покажется парадоксальным, я не считал Колоскова плохим руководителем. Здесь далеко не все однозначно. Колосков пришел к руководству футболом в 1979 году. До этого он небезуспешно, как мне представляется, возглавлял Управление хоккея. К началу 80-х годов он уже не мыслил себя вне номенклатуры. И это одна из причин того, что затем последовало. Уверовав в свою непогрешимость, Вячеслав Иванович не дал себе труда разобраться в специфике футбола. Он плохо знал людей, с которыми нужно было делать новое дело. Ему все казалось простым и понятным. Тем более что задатками организатора Колосков действительно не обделен. Однако...

Сколько уже лет врачи наставляют нас, призывают не передавать, ограничивать свой рацион от калорийной пищи! Как часто мы пренебрегаем этими мудрыми советами. Футбол в отличие от многих других видов спорта страдает «высокой калорийностью». И если вовремя не понять этого, можно испортить не только здоровье. Биографию тоже.

Вячеслав Иванович уже не первый год страдает от «переедания», от необузданного аппетита, который вызрел у него вскоре после перехода в футбольное ведомство. Да и окружение, которое он себе тщательно подбирал, немало способствовало развитию склонностей к «усиленному питанию».

В качестве иллюстрации предлагаю ознакомиться с любопытным документом. «На Олимпийских играх систематически выплачивается инвалюта В. Колоскову, который на время проведения соревнований назначается либо тренером по хоккею (зимняя Олим-

пиада в Калгари), либо начальником сборной СССР по футболу (летняя Олимпиада в Сеуле). По итогам двух Олимпиад В. Колоскову выплачено 5350 канадских долларов и 2280 долларов США». Это из акта проверки Минфином СССР «отдельных вопросов внешнеэкономической деятельности Госкомспорта СССР».

Уместно заметить, что в официальных справочниках Колосков никогда не значился тренером по хоккею, а начальником Олимпийской сборной в Сеуле был А. Тукманов.

И еще. Из курсового валютного бюллетеня («Известия» 13.12.89) читатели могут узнать, что сегодня, выезжая за рубеж, советские люди вправе приобрести для личных нужд один канадский доллар за 5 рублей 34 копейки, а один доллар США — за 6 рублей 20 копеек. Другими словами, валютные «вливания» Вячеслава Ивановича, относящего себя к «скромным персонам», только за один 1988 год, в пересчете на сегодняшний курс, оказались бы эквивалентны 42 705 рублям! От такой суммы даже завзятые рэкетиры могут впасть в уныние.

Смирение и покорность едва не самые почитаемые руководством Управления качества. Вкусовые притязания начальника Управления по части кадров особой изысканностью не отличаются. Видимо, не случайно в начале восемидесятых годов один за другим «прогорали» ответственные работники ведомства Колоскова. На спекуляциях автомобилями, которые, кстати, добывались с помощью команд, попался и был уволен заместитель Колоскова. В 1984 году за крупные хищения спортивного инвентаря был арестован и осужден на девять лет тренер-методист Управления. Не прояви начальник ведомства ха-

латности и поразительной бесконтрольности, возможно, удалось бы предотвратить трагедию. Через некоторое время еще один тренер-методист овладевает преступной «методикой» и уличается в поборах с командой. Видимо, для поддержания «престижа фирмы» и сам начальник оказывается не в ладах с правилами ввоза зарубежной продукции. Особая приверженность начальника Управления к тысячным валютным инъекциям, о которых поведал акт Минфина,— тоже не лучшее украшение портрета руководителя.

После затянувшихся «кабинетных игр» летом 1989 года неожиданно для многих сработала «домашняя заготовка» Валерия Лобановского. Был создан независимый орган — Союз футбольных лиг, призванный принять на себя все заботы о профессиональных футболистах всех трех дивизионов нашего футбола.

Прожив всего полгода и бросив прощальный взгляд в сторону ошарашенной футбольной общественности, канул в историю футбольный Союз. Будоража новыми надеждами, побежал в футбольное завтра новорожденный Союз футбольных лиг (СФЛ).

Как поется в известной песне: «Первый тайм мы уже отыграли». Но едва ли сумели понять, что мы время напрасно теряли и теперь его трудно догнать. Этот слегка переиначенный текст песни, по моему, отражает складывающуюся ситуацию. Самый строгий судья — народ, любящий футбол, уже смотрит на нас с укором и недоверием. Однако в кабинетной казуистике приняты свои правила игры. И «команда Колоскова» освоила их значительно лучше активистов СФЛ. Подтверждением может служить беспрецедентное решение коллегии Госкомспорта ССР от 23.10.89, которое сродни

диверсионному акту. Избранный Всесоюзной конференцией и получивший ее безоговорочную поддержку, СФЛ уже начал новую жизнь. У него свой Устав, счет в банке, свое помещение... Наконец, у него статус независимой организации. И вдруг... Госкомспорт решает подчинить СФЛ Федерации футбола, давно доказавшей свою производственную импотенцию. Мало этого. В федерацию вознамерились перетащить свои штаты, канцелярские принадлежности, а главное, все пороки Управление футбола...

Твердокаменную позицию функционеров, оказывается, так же трудно поколебать, как получить жалобную книгу в шашлычной «Пингвин».

Можно заранее предвидеть, какой «продукцией» собирается осчастливить наш футбол «совместное предприятие», образованное в результате «скрещивания» Управления и федерации, которых Понедельник метко назвал сообщающимися сосудами.

Союз только начал движение, а на его путях уже установлены фугасы. Один мощнее другого. Заложив мины под рельсы, выдернув несколько шпал, диверсанты быстро отползают в кусты. А их идеиные наставники так и вовсе укрываются за кордоном. Помните: в 1988 году, когда готовилась первая Всесоюзная конференция, Колосков отбыл на месяц в Сеул; перед второй конференцией начальник покорял пустыни Саудовской Аравии, а едва успев приземлиться в столице, вновь упорхнул на чемпионат хоккеистов в Стокгольм. Услышав в октябре угрожающий перестук набирающего скорость Союза, бдительный начальник прервал сладкий отпуск в Сочи и прибыл в столицу. Соорудив мощное «взрывное» устройство, он доставил его, чтобы запа-

лить в зале коллегии, и... тут же вновь оказался «за бугром».

Пока никто не в состоянии остановить эту «рельсовую войну». Как будут развиваться события дальше — предсказать не беда. Налицо явная несовместимость целей. Одни борются за лучшее будущее футбола, другие — за свое выживание в нем. Помните, как великолепно оценил ситуацию В. Лобановский: «Для нас футбол — работа. Для них — ковер-самолет и скатерть-самобранка».

### Вместо эпилога

Я заканчиваю эти заметки, когда уже наступил 1990 год. Каким он будет для страны, для всех нас, для футбола? Как хочется, чтобы этот год был новым не только по своему порядковому номеру, но и по темпам обновления жизни и футбола.

И в заключение хочу сослаться на нашего знаменитого хоккеиста, народного депутата СССР Анатолия Фирсова. Давая интервью «Советскому спорту» 14 октября 1989 года, он сказал: «Если новый председатель Госкомспорта Николай Иванович Русак не заменит тех руководителей, кто не соответствует требованиям нового времени, то ему будет очень тяжело. Это уже застоявшиеся люди, они привыкли расходовать средства только на большой спорт, за счет него ездить, обогащаться».

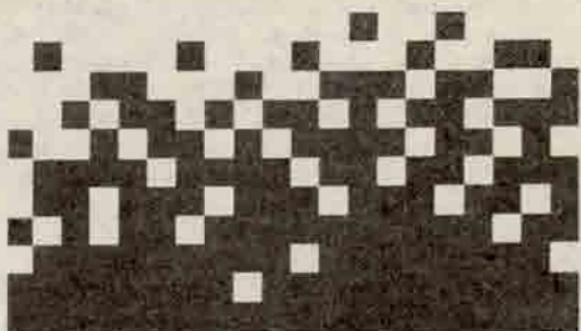
Зная Фирсова много лет, я обратился к нему с вопросом: «Призыва к замене руководителей, «не соответствующих требованиям нового времени», не имели ли вы в виду и В. И. Колоскова?» Ответ народного депутата был предельно лаконичен: «Безусловно!»

P. S. Когда статья уже была подготовлена к печати, пришло сообщение, что председателем Феде-

рации футбола СССР открытым голосованием избран В. Колосков.

Там же, на конференции, стало известно, что в ФИФА создан комитет по безопасности и честной игре и В. Колосков стал членом этого комитета.

Комментарии, как говорится, излишни.



# 32

-я

## ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Под редакцией  
гроссмейстера  
**ВИКТОРА  
ЧЕПИЖНОГО**

280

Продолжаем публикацию заданий 32-й шахматной олимпиады «Смены». В нашем заочном соревновании могут принять участие все желающие.

Ответ на каждое задание следует посыпать на отдельной открытке. За правильно выполненное задание участник получает соответствующие баллы. При подведении итогов будут учитываться также обнаруженные читателями дефекты в конкурсных заданиях: дуали, побочные решения и т. п.

Ответы на задания олимпиады следует присыпать только на открытках (без конвертов!) с пометкой «32-я шахматная олимпиада. Второй тур». Последний срок отправки писем (по почтовому штемпелю) — 1 мая. Ответы, посланные позднее этого срока, не рассматриваются.

## ВТОРОЙ ТУР

I

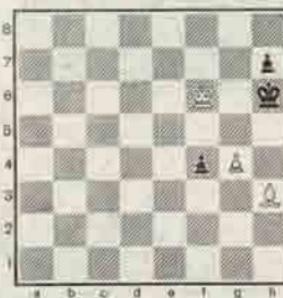


Белые: Kpg6, Lf3, Cc7, Cc8 (4)

Черные: Kpe8, п.d2 (2)

**Мат в 2 хода (1 балл)**

IV



Белые: Kpf6, Ch3, п.g4 (3)

Черные: Kph6, pp.f4, h7 (3)

**Мат в 4 хода (3 балла)**

II



Белые: Kpe1, La1, Cc7, п.c6 (4)

Черные: Kpa8, Ka3, п.b4 (3)

**Мат в 3 хода (2 балла)**

V

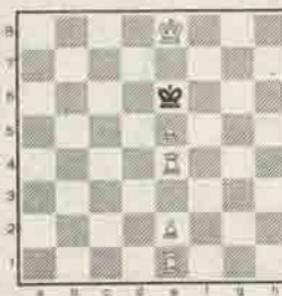


Белые: Kph8, Ld6, Lg4, п.c5 (4)

Черные: Kpb5 (1)

**Мат в 5 ходов (3 балла)**

III



Белые: Kpe8, Le4, Le1, п.е5, e2 (5)

Черные: Krf6 (1)

**Мат в 4 хода (3 балла)**

VI



Белые: Kpf6, Cc4, Kc8, Kf6, п.g3(5)

Черные: Kph8, п.h7 (2)

**Мат в 5 ходов (3 балла)**



Рисунок ОЛЕГА ТЕСЛЕРА

282



Рисунок ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА

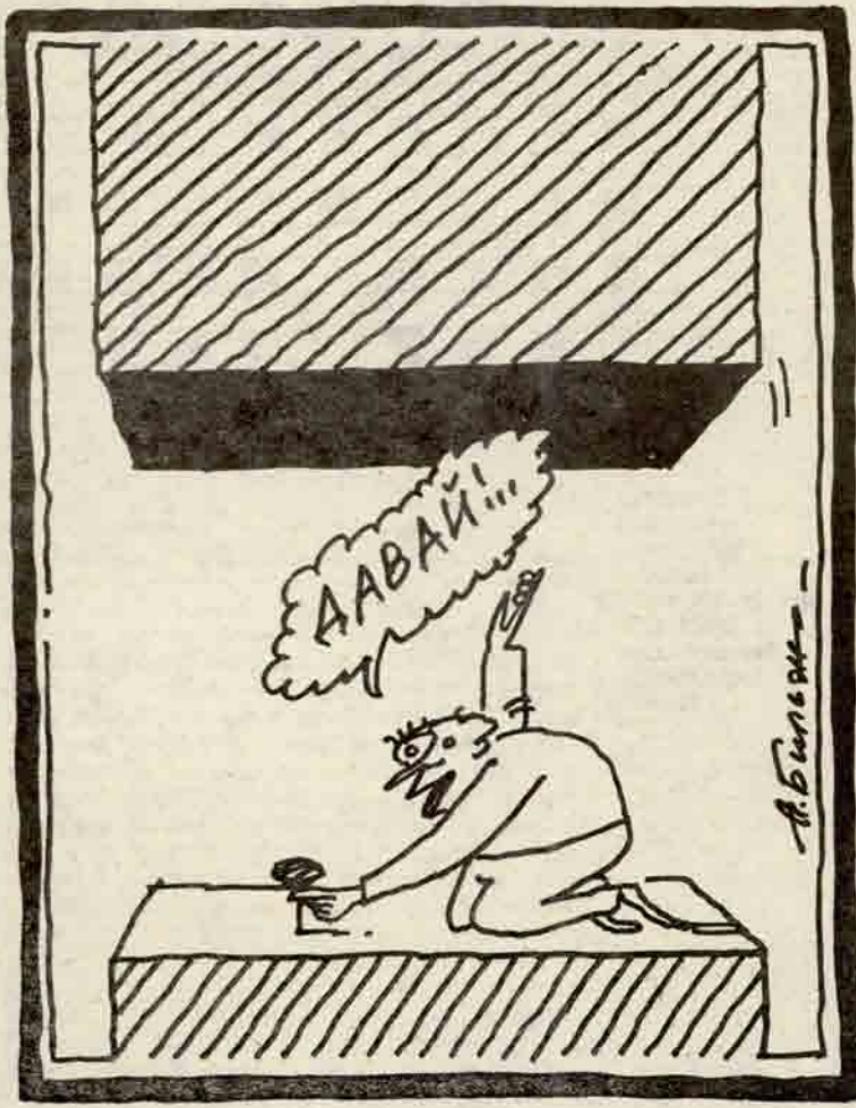
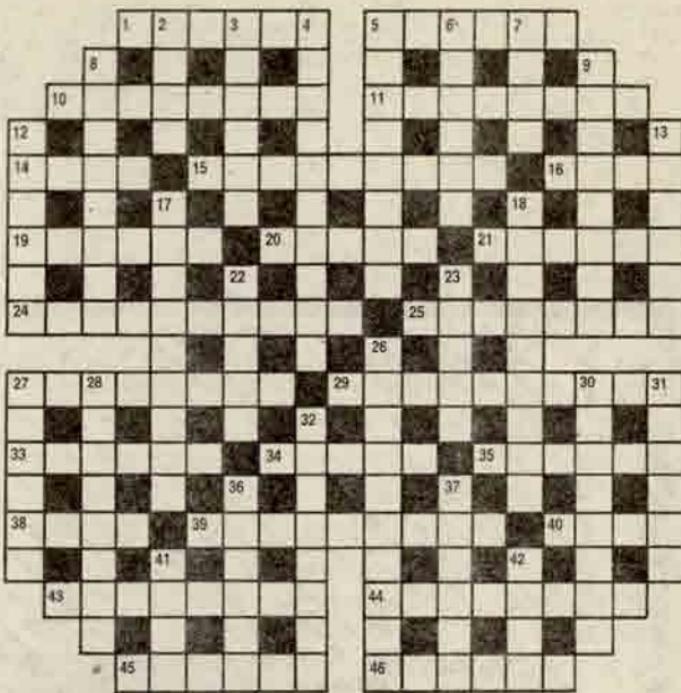


Рисунок АНДРЕЯ БИЛЬКО



**Кроссворд**  
составил  
победитель  
конкурса  
**кроссвордистов-89**  
**А. СУХОРОСОВ,**  
**Верхняя Салда**  
**Свердловской**  
**области**

**ПО ГОРИЗОНТАЛИ:**

1. Ученый, обязанный знать, что в шее воробья в два раза больше позвонков, чем у жирафа.
5. Вокальное произведение на французский текст в России XVIII века.
10. Аквариумная рыбка родом из Китая. Молодь можно кормить размельченным яичным желтком.
11. Прибор с бегающим пузырьком воздуха.
14. Битва, сражение.
15. Балет, в музыку которого П. Чайковский впервые ввел челесту и детский хор.
16. Самый искусный строитель среди пушных зверей.
19. Декабрист, сказавший: «Я не Поэт, а Гражданин».
20. Часть кремлевской башни, увенчанная рубиновой звездой.
21. Французский художник XX века, чьи картины жизнерадостны и по-восточному декоративны.
24. «Князь Потемкин-Таврический», известный участием в революции 1905 года (тип корабля).
25. Карело-финский эпос, повлиявший на американского поэта Г. Лонгфелло.
27. Собиратель грампластинок.
29. Ночной зверь лесов Юго-Восточной Азии, способный в планирующем полете преодолеть 150 метров.
33. Точка планетной и кометной орбиты, самая удаленная от Солнца.
34. Самое частое музикальное «украшение».
35. Навигационный прибор.
38. Потеря, ущерб.
39. На знаменитой башне почтамта в Клайпеде установлен музикальный инструмент карillon из 48 колоколов. Самому верхнему из них дали распространенное в Литве имя. Впишите его в клетки.
40. Орган, у некоторых растений превратившийся в ко-

лючки, усики, чешуйки 43. Бумажная полоска, которой аккуратные читатели отмечают нужное место в книге. 44. Каждое из произведений Эсхила или Софокла. 45. Место корабельной стоянки. 46. Металл, участвующий более чем в трех тысячах сплавов.

**ПО ВЕРТИКАЛИ:**

2. «Сок из народа давила подлых подьячих ...» (Н. Некрасов, «Дедушка»). 3. Предшественник скальпеля в хирургии. 4. Самолет — аэроплан, вертолет — ... 5. Растущая на Мадагаскаре веерная пальма, которую европейцы называют деревом путешественников. 6. Инструмент для нарезки внутренней резьбы. 7. Место охоты таксы на барсуков, лисиц и енотовидных собак, ради чего она и была выведена в Германии в XVIII веке. 8. Имя итальянского киноактера Мастроянни. 9. Шершавое место на гладко обструганной доске. 12. Зобастый морской ... — одно из гигантских изображений на перуанском плато Наска. 13. Живопись красками по сырой штукатурке. 17. Вручение олимпийских наград как официальный акт. 18. Длительный период в истории Земли. Начинается со времени, когда на ней появились скелетные животные. 22. Страховой документ. 23. Колдун, чернокнижник, «русский ...» — так называли в народе Я. Брюса, сподвижника Петра I, за его неуемную тягу к знаниям. 26. Самое крупное высокогорное озеро Северной Америки на территории самого первого в мире национального парка. 27. Кавалерист в русской армии. 28. Кружение в воздухе белых частиц. Древние греки считали их идеальным примером симметрии. 30. Тритон, уж, черепаха (общее название). 31. «Африканская Швейцария», «крыша континента», «Альпы Африки» (страна). 32. Самое прозрачное стекло. 36. Родившийся на Кубе знаменитый французский поэт, потомок испанского конкистадора. 37. Естествоиспытатель, автор первой научной сводки по флоре Франции. 41. Крымский курорт с музеем «Поляна сказок». 42. Украшенная трость, символ власти.

285

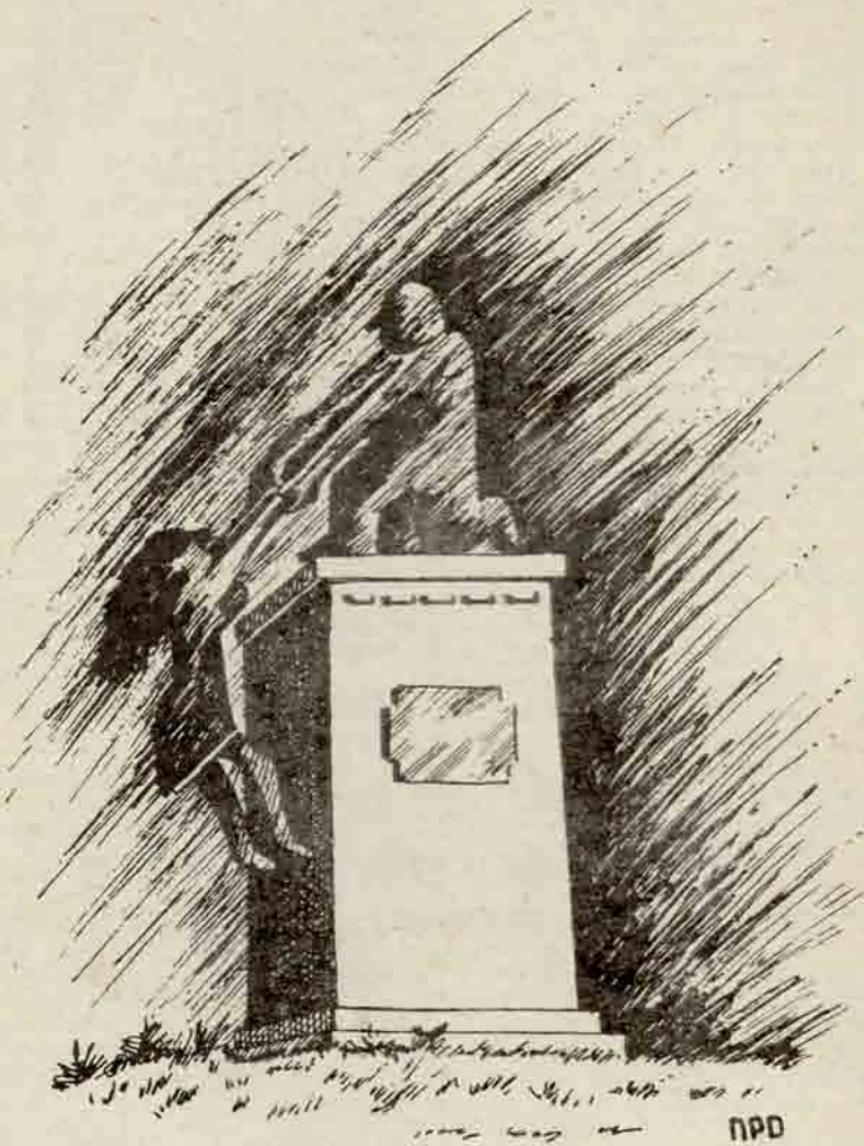
**ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 1**

**ПО ГОРИЗОНТАЛИ:**

1. Радиус. 6. Зяблик. 10. Венок. 12. Бруск. 13. «Наутилус». 14. Центр. 15. Неодим. 17. Естество. 18. Зурнист (другое написание — зурнач). 19. Икона. 24. Фракасс. 25. Вьетнамец. 27. Контрабас. 28. Эргатив. 32. Ивняк. 36. Пшеница. 38. Сааремаа. 39. Аракан. 40. Тверь (Калинин). 41. Ирландия. 42. Теннис. 43. Оникс. 44. Аптека. 45. «Жизнь».

**ПО ВЕРТИКАЛИ:**

1. Рубенс. 2. Двуколка. 3. Укоризна. 4. Черешня. 5. Монтеэль. 7. Ястреб. 8. «Лолита». 9. Кастрор. 11. Карст. 16. Муассан. 19. Ирмос. 20. Окута. 21. Старица. 22. Сазан. 23. Левик. 26. Варшавяне. 29. Гварнери. 30. Тявканье. 31. Антракт. 33. ...ослица. 34. Гамлет. 35. Чеснок. 36. Патио. 37. Юность.



206

Рисунок АЛЕКСАНДРА ПРОНИЧКИНА



Рисунок ВЛАДИМИРА УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО

287

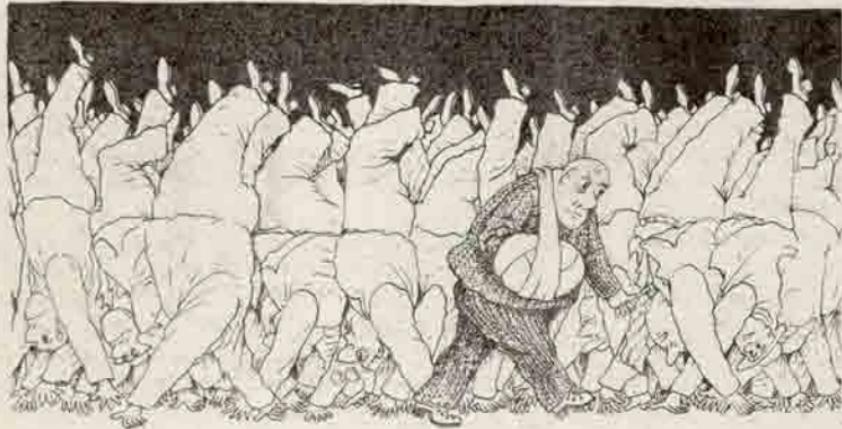


Рисунок ВЛАДИМИРА КАЗАНЕВСКОГО

ТАТЬЯНА ПАПИСАШВИЛИ:

# МУДРОСТЬ НАИВНОСТИ

Если говорить о творческой судьбе художницы-примитивистки Татьяны Паписашвили, с работами которой мы вас знакомим, то она во многом типична. Татьяна выросла в Севастополе, училась в детской художественной школе. Ее преподаватель, Михаил Михайлович Гурьев, развивал у нее фантазию, чувство красоты, знакомил с мастерами прошлого, с историей изобразительного искусства.

Она не пыталась стать профессиональным художником, а отправилась в Астрахань поступать в Институт рыбной промышленности. И вовсе не от неуверенности в своем предназначении. Она уже знала, что с живописью не расстанется. Но «профессиональное» искусство, в особенности живопись, в том виде, в котором оно процветало у нас последние десятилетия, ее не привлекало.

— С Астраханью мне повезло, — говорит Татьяна. — Именно здесь, в Кустодиевской, сохранившей неповторимое лицо Астрахани, я увидела тот мир, который хочу сохранить, передать.

Позднее Татьяна Паписашвили смогла увидеть, почувствовать и Тбилиси. Они с мужем, тоже молодым инженером-рыбником, поначалу снимали комнатку в полуподвале в старом районе города. Люди, дома и деревья, собаки и кошки «чрева Тбилиси» — вот герои ее картин. Эти работы отли-

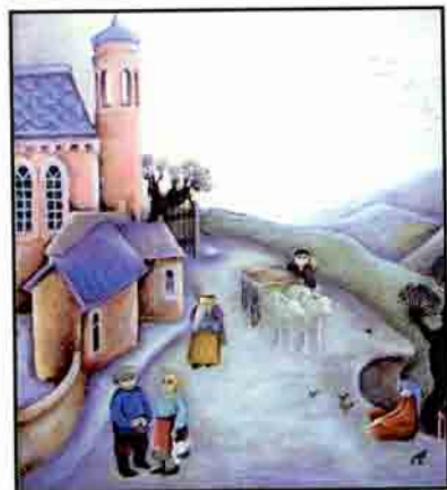
чает зоркость к деталям и лаконизм, свежесть взгляда и одновременно глубокое проникновение в мир Тбилиси, уважение к нему и тревога за него.

Здесь, в Тбилиси, к Татьяне пришел и первый успех. Ее персональную выставку заметили. Художница стала лауреатом Всеобщего смотра народного творчества, ее работы получили медали на ВДНХ, несколько картин отправилось на аукцион в Париж...

Казалось бы, все хорошо. И свою профессию инженера-рыбника Татьяна Паписашвили любит, бросать пока не собирается. Но, по существующему уставу, она никогда не сможет стать членом Союза художников СССР, поскольку не имеет высшего художественного образования.

Вот почему нам хочется еще раз напомнить профессионалам Союза художников СССР об их собратах — тех, кто продолжает работать в традиционных народных промыслах, кто, подобно Татьяне Паписашвили из Тбилиси, творит народное искусство сегодняшнего дня, то наивное искусство, для обозначения которого «до сих пор не существует одного общего термина», но которое, по-своему объясняя мир, радует свежестью и красотой.

АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ



Роза.  
Пейзаж с розовой башней.  
Кот.

ИНДЕКС 70820 70 коп.



ТАТЬЯНА ПАПИСАШВИЛИ. Ночь над Тбилиси.